

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ь

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. — Два рассказа (I. Воробьи. II. Благополучие)	5
2. БОР. ПАСТЕРНАК. — Три стихотворения	18
3. М. СВЕТЛОВ. — Большая дорога, <i>стихотворение</i>	22
4. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. — Партизаны (из романа «Россия, кровью умытая»)	24
5. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Подкидные дураки, <i>рассказ</i>	59
6. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — Здорово! <i>стихотворение</i>	72
7. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева, окончание	73
8. ВЕРА ИНБЕР. — Место под солнцем, <i>лирическая хроника</i>	97
9. П. ПАВЛЕНКО. — Два короля, <i>рассказ</i>	140
10. МИХ. ГОЛОДНЫЙ. — Сон, <i>стихотворение</i>	153
11. Н. НЕЗЛОБИН. — На кордоне, <i>стихотворение</i>	154
12. А ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой	156
13. ЕВГ. КРИВОШЕЙНА. — Михаил Николаевич Покровский (к 60-летию дня рождения)	185
14. МИХ. ГОРЕВ. — Безбожник-большевик (из воспоминаний об И. И. Скворцове-Степанове)	193
15. OUTSIDER. — Англо-французское соглашение	206

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

16. Д. ГОРБОВ. — Оправдание зависти	218
17. КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ. — Переходник (об Эдуарде Багрицком)	231
18. Б. СКВОРЦОВ. — Опустошенная душа.	238
19. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Листки из блокнота	242
20. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Кафедра халтуры.	248
21. Г. РЫКЛИН. — Деньги пишут	251
22. Б. ПЕСИС. — Французские писатели и Америка	254
23. В. АРСЕНЬЕВ. — В тундре	258
24. А. МАРИИНСКИЙ. — Поповщина и сектантство	267
25. Г. ГАУЗНЕР. — Гинчвишский лес	275

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. — П. Логинов-Лесняк «Дикое поле»	282
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — А. Зорич «Ровно в четыре»	283
НИК. БОГОСЛОВСКИЙ. — П. Львов-Марсианин «Победа»	283
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Конст. Вагинов «Козлиная песнь»	284
АННА ШАФИР. — Петр Орешин «жизнь учит»	285
В. ШИШОВ. — Петр Орешин «Откровенная лира»	285
В. ШИШОВ. — Павел Дружинин «Черный хлеб»	286
МИХ. РУДЕРМАН. — В. Кириллов «Вечерние ритмы».	287
Я. ФРИД. — Э. Баррингтон «Сердце поэта». . . , ,	287

Два рассказа

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

І. ВОРОБЬИ

І

По пути к северу ледокол «Малыгин» зашел в город Александровск—самый северный и самый удивительный город СССР. Черные гранитные горы толпой стоят здесь вокруг гавани, а гавань, как глубокая чаша, поблескивает далеко внизу, под горами, вечно спокойная, без единой волны, никогда не замерзающая, глубокая, как человеческое сердце.

Ледокол встал у пристани, где возле берега горами лежал черный уголь, привезенный сюда из далекой Англии. Члены экспедиции и кое-кто из команды пошли на берег в черные холодные горы. О-о, как бесплодны и суровы эти гигантские камни! Нигде никакой растительности: морозы и ветры, прилетая с океана, мертвят здесь все живое. Лишь кое-где в долинах на припеке робко зеленеет морошка, и серыми пятнами пестреет мох. В одном месте зеленел березовый «лес». Этот «лес» был человеку по щиколотку. Бывалый капитан, смеясь, сказал, показывая на березки:

— Вот в таком бору перед осенью вырастает много грибов, и тогда грибы бывают вдвое выше леса.

С гор люди пошли в город. Дома и избы города приютились между огромными камнями. А камни больше домов и изб — суровые камни, обточенные ледниками, сползавшими здесь когда-то. Тротуары во всем городе деревянные, неровные, они то поднимаются, то опускаются, следуя изгибам горы. И странно видеть, что во дворах здесь ходят куры, что две козы стоят у стожка сена, поспешно жуют, а сено черное, черное. На неуклюжем плетне гирляндой висят рыбы головы,— так в благодатном черноземном краю вешают иной раз на заборах плетеницы лука или подсолнухи, или мелкие дыни-горлянки.

В белесом небе пролетит над городом и горами чайка, тоскливо крикнет,—ей нечего взять на этих скалах, она летит к гавани, к морю.

Но что это? Маленькие серые птички пролетели стайкой, чирикая. Это были воробьи! Совсем такие же, как везде. Они пролетели над дворами, спустились вниз к гавани, к воде. Здесь, в этом каменном городе, все живет водой и возле воды,—даже воробьи.

Воробьи прилетели на ледокол, уселись высоко на вантах у стенки. Потом, чирикая, стали спускаться вниз, наконец, запрыгали по палубам, заглянули в двери кухни, где возился белый повар. Порой они испуганно отлетали, садились на поручни палубы, взлетали на ванты. Они внимательно осматривали каждый закоулок, нет ли где чего поесть. Повар, распаренный жаром плиты, на минуту выскочил на палубу с решетом в руке, суровый, красный, заросший до глаз черной щетиной. Он мельком глянул на воробьев, и в углах губ у него мелькнула улыбка. Он опять скрылся в двери кухни и через минуту на палубу полетели две горсти белых круп. Воробьи, чирикая, прыгнули на палубу, наперегонки начали клевать крупы, а повар время от времени выглядывал из темной двери, смеялся, что-то бурчал.

II

Целые сутки на корабле стоял грохот. По длинным доскам рабочие тащили тачками уголь и с грохотом ссыпали его в угольные ямы корабля. Черная пыль поднималась столбом. Капитан время от времени принимался ворчать:—Медленно идет погрузка,—и его ворчание тяжелым облаком накрывало других. Все были недовольны, все торопились, бегали сердито. Лишь воробьям было привольно в этот день на корабле. Горсть за горстью повар выбрасывал им крупу и крошки, сытые воробьи прыгали лениво, мирным поселком расположились на вантах корабля, посматривали вниз на суетящихся сердитых людей. Здесь же, на вантах корабля, они спали.

Перед полночью вдруг страшно загудела сирена. Дремавшие на вантах воробьи испуганно взлетели стайей, полетели прочь к городу, но сирена скоро смолкла, и воробьи один за другим вернулись назад, к кораблю, где их так гостеприимно кормили.

На корабле теперь суетились сильнее, чем прежде. Матросы поспешно убрали мостки, портовые рабочие—черные от угольной пыли—стояли на пристани, готовясь отдать тросы. Корабль медленно поворачивался, отодвигался от пристани к середине бухты. Начальник порта—приятель капитана—снял фуражку с большим морским знаком на околыше, высоко взмахнул над своей лысой головой, улыбался всем морщинистым лицом, кричал капитану:

— Счастливый путь, друже! Желаю успеха!

Две женщины махали платочками. С кормы им ствечали матросы, смеющиеся, белозубые.

Вот корабль отодвинулся на средину гавани, медленно повернулся и стал уходить в проход между горами, туда, к океану. Воробьи перелетели с кормы на нос корабля, усиленно чирикали, точно спорили

о чем-то или совещались, не поплыть ли им на этом корабле далеко, далеко, в сердитый океан, или остаться здесь, в каменном городе, ждать прихода нового гостеприимного корабля.

Сирена опять взвыла, воробьи взметнулись всей стаей, покружились над кораблем и полетели к городу, к каменным горам. Только два из них вернулись назад, сели на ванты высокой мачты, мирно чирикали. Корабль пошел из гавани в океан. Он шел возле самого берега. Высокие горы нависли над ним черными страшными громадами. Каждую минуту новая и новая суровая картина разворачивалась перед глазами людей, стоявших на палубах и на капитанском мостике. Это был исключительный по красоте фиорд с высокими причудливыми берегами, с глубокой водой, с белесым небом там вверху, над каменными горами.

Была полночь, а солнце стояло высоко над горизонтом. Чайки белыми точками виднелись на черных скалах. Они спали, втянув голову глубоко между крыльями.

Извилистым проходом корабль вышел в океан. Здесь еще раз зазвонил сигнал в машину,—полный ход. Черный столб дыма гуще взвился над кораблем, полногрудый ветер засвистал в мачтах и вантах, корабль быстро стал уходить от берегов в бесконечные океанские просторы. Воробьи еще почирикали, будто еще раз совещались, вернуться или плыть с этим кораблем, и, должно быть, решили, что надо плыть. С вант они спустились вниз на бак, попрыгали между канатами и якорями и, выбрав уголок над дверью носового камбуза, уселись здесь рядом. В уголке было тихо и уютно. Воробьям светило солнышко, здесь не было холодно, ветер сюда не попадал. Люди еще долго стояли на палубах, смотрели на удаляющиеся берега. Черные скалы становились синими, сливались, и уже нельзя было отличить, где вход в фиорд.

Скалы с каждой минутой становились меньше, меньше, точно погружались в воду. Вот уже только одна синяя воздушная линия поднималась над зеленым, бурным морем. Потом скрылась и она.

III

В утренние часы на палубах было пусто. Только на капитанском мостике маячили две человеческие фигуры. Воробьи видели, как из-за брезента, висящего над поручнями капитанского мостика, выглядывали две головы.

В четыре часа на полубаке пробили склянки: звонкий колокол четырежды пропел медную песенку. Матрос, стуча сапогами, пробежал по железному трапу, другой матрос вылез из камбуза, потянулся, и оба они пошли к корме, глухо о чем-то переговариваясь. Воробьи тревожно слушали звон склянок, слушали человечьи шаги по железному трапу, недалеко от себя они видели людей, но, сморенные сном, они не захотели улететь.

Утром они опять запрыгали по палубам. Людей теперь уже было больше. Человек в очках смотрел на них со спардэка, смеялся и говорил другим:

— Смотрите, с нами едут воробьи.

И еще замелькали люди, бородатые и безбородые, — все они, поглядывая на воробьев, улыбались. Со спардэка полетели на нижнюю палубу горсти крошек. Сердитый ветер разнес крошки в разные стороны, воробьи прыгали по палубам, по канатам и якорям, торпливо ловили крошки, тащили их туда, в свой уголок, и там клевали. Еще много крошек было на палубе, а воробьи уже были сыты. Они лениво посматривали сверху на палубу и на людей, лениво нахохлились и лениво разговаривали о чем-то между собой.

К вечеру ветер покрепчал, с севера надвинулись низкие густые облака, мачты и ванты на корабле уныло запели. Океан запестрел белыми гребешками волн. Волны начали звонко стучать по бортам корабля, а белая пена, отброшенная кораблем, кипела, как вода в котле. К полночи разыгрался шторм. Встречные волны теперь с силой пушечного выстрела били в нос и в железные борта корабля, мелкими брызгами перелетали через бак, дождем падали на палубу, а время от времени какая-то волна—двадцатая или тридцатая—горой обрушивалась на корабль, потоком заливала палубы, брызги летели высоко вверх через капитанский мостик, серыми солеными пятнами покрывали черную трубу.

Воробьи поглубже забились в свой угол, круглыми глазами испуганно смотрели, как перед ними сеткой летели брызги. Время от времени поток воды закрывал от них свет. Палубы в эти часы были пусты, а на капитанском мостике виднелся лишь штурман, закутанный в зеленый брезентовый плащ с зеленым брезентовым капюшоном. Иногда вахтенный матрос пробегал по палубе, громко стуча сапогами, штурман давал свисток, матрос бежал на корму, к лагу, чтобы узнать, сколько верст в последний час прошел корабль. Воробьи притаились, молчали, крепко прижавшись один к другому, точно два серых комочка, сжавшиеся воедино. Корабль то вздымался высоко на волнах, то с шумом и грохотом обрушивался вниз, в пропасть между волнами, а ветер все свистал, рвал, и теперь уже казалось: каждая доска, каждая веревочка поет на корабле своим голосом, неистовым и печальным.

Волны все чаще и чаще стучали по бортам корабля, мачты тяжело махали из стороны в сторону. Черный дым длинным хвостом вырывался из трубы и тотчас падал на воду, словно низкие, серые, быстро бегущие облака не позволяли ему подняться вверх, придавливали его к бурливым седым волнам. Ветер рвал дым в мелкие клочья.

Через каждые четыре часа вахтенный матрос поднимался по железному трапу на полубак, отбивал склянки, и всякий раз воробьи испуганно настораживались, большими глазами смотрели на проходящего мимо них человека и слушали медную песню колокола. Они уже давно—почти сутки—не спали. Они боялись вылететь из угла,

потому что их страшил ветер. Голод уже начал их мучить. Теперь они отодвинулись один от другого, повертывали головы из стороны в сторону, недоумевающие, испуганные.

Вечером в восемь часов, когда шторм с особенной силой налетал на корабль, вахтенный матрос поднялся на полубак, зазвонил в колокол. И в этот момент страшная волна обрушилась на корабль. Она брызгами и потоками перекатилась через бак, залила палубу. Дверь из камбуза вдруг отворилась, хлопнула как раз в стену, где в углу сидели воробьи. Матрос вылез из двери камбуза на палубу, ветер ударил ему в лицо, матрос торопливо схватился за шапку, воробьям показалось, что идет беда: звон, падение волны, стук дверей, испуганное движение матроса, пробежавшего вот здесь, рядом, их встревожило. Один воробей испуганно чирикнул, вырвался из уголка, полетел. Ветер мгновенно подхватил его и отнес в сторону от корабля. Другой воробей уже приблизился к краю полочки, где сидел, тоже хотел лететь, но спохватился, отодвинулся назад в угол. Он увидел, как его товарищ, подхваченный ветром, улетал от корабля дальше и дальше. Ветер все свистал, рвал, волны кипели, из трубы корабля черным потоком вырывался дым, падал на волны. Воробей, отлетевший от корабля, теперь не видел перед собой ничего, кроме волн. Волны, волны!.. Воробей испуганно повернулся назад к кораблю, полетел, напрягая все силы. Ветер дул ему навстречу. Корабль, как черный остров, качаясь, уходил прочь. Воробей летел низко у самых волн, потом разом поднялся высоко-высоко, но ветер и в вышине и внизу над волнами был одинаково силен, рвал, метал. Волны тяжелыми громадами шли одна за другой. Воробей долго летел вслед за кораблем. Его крылья трепетали, а ветер теребил каждое перышко. Раза два воробей попадал в полосу дыма, вырывающегося из трубы, испуганно сворачивал в сторону и снова летел к кораблю. Вот, вот еще немного, воробей догонит корабль и опять сядет в уголок, где сидит его товарищ. Он несся изо всех сил. Он весь трепетал. Вот уже корабль недалеко, скорей, скорей к нему. Но силы становилось все меньше, и уже не так быстро взмахивали крылья...

Штурман с капитанского мостика смотрел на воробья в бинокль. Ему, большому, было любопытно, догонит или не догонит воробей корабль. Он видел, как воробей стал ослабевать, расстояние до корабля делалось больше, больше. Воробей то опускался к волне, то поднимался в высь, — должно быть, искал в воздухе такого места, где потише был бы ветер, и полегче был бы путь. А ветер везде был одинаково силен, и одинаково труден был путь. Воробей стал отставать... Сколько? Полчаса или час сражалась эта маленькая серая птичка за свою маленькую жизнь. Воробей спустился к волнам, — здесь, должно быть, ветер был потише. Но волна белыми брызгами ударила его. Воробей испуганно метнулся вверх. Еще волна ударила, воробей упал в воду, на момент вырвался, упал снова и скрылся в белой пене. Большие зеленые волны с большими гребешками заплясали на том месте, куда упал воробей.

IV

Через двое суток шторм кончился, корабль дошел до кромки вечных льдов. Волны утихли. Множество мелких льдинок, точно большие белые птицы, медленно покачивались на волнах. Стая чаек неслась за кораблем. Чайки попеременно пытались сесть на вершину мачты, кричали тоскливо и пронзительно. Порою они хором пели песню. О, какая это была тоскливая песня! Должно быть, у северных океанских бурь они подслушали ее и пели в этот ненастный неприветный день.

Голодный воробей выпрыгнул из своего угла, пролетел с носа на палубу, заглянул в двери кухни, где возился белый повар. Повар выскочил из двери, выбросил из чашки в море за борт что-то серое, мельком глянул на воробья, и теплая улыбка мелькнула в углах его губ. Через минуту он бросил на палубу горсть белых круп. Воробей жадно начал клевать. Люди толпились на мостике, на спардеке и на нижней палубе, весело разговаривали. Воробей слышал, как корабль ударил боком по белой льдине. Льдина отшатнулась, поплыла прочь на волне.

Скоро льда стало больше. Легкий ветер унес все облака, солнце засияло, стало широко кругом и радостно. Сытый воробей задорно чирикал, перелетал с кормы на палубу, с палубы на ванты. Люди жадно смотрели вперед, на льды, где черными пятнами виднелись тюлени. Человек в очках усмехнулся, показывал на воробья:

— Смотрите, он все еще с нами. А где же другой?

И тут штурман, видевший гибель воробья, сказал:

— Другой утонул!

Льда становилось больше и больше,—белого вечного льда. Он сердито шуршал по бортам корабля. Корабль отталкивал его, подминал под себя и, точно гигантский богатырь, быстро шел к северу.

Потом лед пошел плотнее, крупнее. Льдины плотной фалангой встречали корабль, и уже не скоро уступали дорогу. Час от часу путь корабля становился труднее, льды неподвижнее и тверже, и корабль, наконец, остановился, обессиленный неравной борьбой. Льды нагромодились холмами и справа, и слева, и впереди, и позади. Когда остановили машину, сразу стало тихо-тихо.

Сытый воробей суетливо перелетал с палубы на нос корабля, потом на большую льдину, стеной стоявшую у борта, попрыгал там, чирикавая, — льдина ему понравилась. Люди, улыбаясь, смотрели на воробья, это чирикание напоминало им дом, такой теперь далекий.

Вдруг два поморника—большие черные птицы—один за другим бросились на воробья. Воробей испуганно метнулся в сторону, подлетел к кораблю, сел на самые нижние ванты, а поморники с хищными криками носились над мачтами, точно издали грозили воробью: попадись только нам.

Воробей будто сразу понял, что эти большие черные птицы могут его убить. Он перестал отлетать далеко, и только садился на те льдины, что были возле самого корабля.

Дни потянулись за днями, суровые и трудные. Множество раз корабль вступал в борьбу со льдами. Воробей уже привык и к этим пронзительным звонам, что раздавались на капитанском мостике и где-то в глубине трюма, возле машин. Уже привык и к суете людей и к черным столбам дыма, вырывающегося из трубы. Воробей уже знал: вот корабль с разбега ударит в ледяную перемышку и от удара сам весь вздрогнет от верхушек мачт до киля. Корабль отступал назад, с силой бросался вперед, бил в ледяные горы,—так час, и два, потом, бессильный, останавливался. Иногда приходили туманы,—густые, белые, непроглядные,— в двух шагах ничего не было видно. Но этот непроглядный туман сверкал и слепил глаза.

Воробей в часы туманов забивался в свой уголок над дверью камбуза, сидел там неподвижно. Потом ветер прогонял туман, опять появлялось солнце, опять льды ослепительно сияли. Воробья неудержимо тянуло на простор. Он летел прочь от корабля, садился на ближнюю льдину, перелетал на другую, на третью, чирикал весело, задорно, торжествующе.

Но поморники, большие, черные, ужасные, бросались на него. Воробей, точно пуля, летел назад, к кораблю. Он видел, как на палубе металась люди, махали руками, чтобы отпугнуть поморников, и воробей знал: люди стараются спасти его.

Воробей садился на ванты, люди и сердито и улыбаясь смотрели на него, кричали:

— Куда ты, дурачок, летаешь? Убьют!...

Однажды туман стоял целых три дня, и все три дня воробей просидел в своем углу над дверью камбуза. Когда засветило солнышко, он, измученный голодом, бросился к самой двери, что вела на кухню. Здесь на палубе было много хлебных крошек и белых зерен. Он наелся так, что совсем отяжелел, и все-таки с задорными криками полетел на льдину, что стеной поднималась возле левого борта корабля. Он попрыгал по льдине, перелетел на другую подальше, потом на третью. Вдруг две черные птицы мелькнули над кораблем и стрелой бросились прямо к воробью. Воробей метнулся вниз, попытался скрыться между льдинами. Птицы за ним. Они гнали воробья все дальше и дальше от корабля. Люди на корабле исступленно кричали. Но поморники не испугались,—гнались за воробьем упорно.

Воробей метался из стороны в сторону. Вдруг страшный удар клювом оглушил его, он, растопырив крылья, упал на льдину, затрепетал всеми перышками, а поморники,— их теперь уже было пять,— отталкивая один другого, бросились на воробья. И минуты не прошло, только голубоватые перышки виднелись кое-где на льдине.

II. БЛАГОПОЛУЧИЕ

— Если хотите знать, я живу хорошо. Деньги не переводятся, сил много. И книжки любимые есть, и картины есть, добрые друзья есть. Покрепче закрыть глаза, представить... представить свою комнату там в Москве.

У меня — широкий рабочий стол. На столе груды исписанной бумаги — моя любимая работа. Знаете, чудесная сила в этих двух словах: любимая работа. Будущее счастье человечества мне представляется так: у всех людей будет любимая работа. Больше ничего не надо. Только работать с любовью, с увлечением, с радостью. Я иногда работаю до двадцати часов под ряд — и как жаль бывает уйти от стола. Что тебе еще надо? Точно герой известной пьесы, я могу сказать о себе: «Ничего я не хочу, ничего не желаю...»

Итак, на столе груды исписанной бумаги — моя любимая работа. Над столом — Врубель, Серов. Живопись я люблю не меньше литературы. Если Толстой, Лесков, Пушкин меня волнуют всегда до дрожи, то Суриков, Серов, Архипов трогают меня не меньше. И Толстой у меня есть, и Суриков есть, и Архипов есть, и Пушкин есть. Репина я не очень люблю, — «Иван Грозный убивает сына», — к чорту эту картину. Но у меня есть чудесный Репин. Исключительный Репин: «Магдалина» — эскиз к никогда не написанной картине. На небольшом клочке бумаги гениальный художник поместил почти сотню фигур... Какое движение! Какие краски! Я представляю: вот вспыхнула мысль, — художник трепетной (не дрожащей, а именно трепетной) рукой набрасывает первоначальный этюд. В его воображении уже вся картина переливается самыми яркими красками. Она — живая. Это я понимаю.

Я целые полгода гонялся за этой вещью, чтобы она была у меня. Наконец, она — у меня. Хорошие эти дни: вот стремишься, доби- ваешься. Наконец, добился! Вот за этой картиной Поленова «Первый снег» я охотился полтора года. Полтора года ожиданий! И вот видите? Она здесь, над моим диваном. Такой работы нет и в Третьяковской галлерее... А это вот Крымов — «Купальщицы». Не правда ли, превосходная вещь? Сам Крымов ею уже недоволен. У него, видите ли, новый период. А мне эта вещь очень нравится. Кстати, разговор с самим Крымовым стоит целой его картины. Го-го, вот темперамент! Вот увлечение! Разговаривая с ним, я очень много понял в живописи. Его никогда не записанные мысли я берегу, как... как его картину.

Я очень люблю талантливых людей, и для меня большое счастье, что многие из них — мои друзья. Писатели, поэты, художники, музыканты, ученые. Я думаю о них с любовью. Я знаю их недостатки, их человеческие слабости, их промахи. И все-таки люблю, люблю. Разговор с талантливым человеком стоит хорошей книги. Видеть, как рождается мысль — настоящая, полновесная, глубокая человеческая мысль, — для этого стоит жить.

— Вот он — гениальный, а ты видишь, как он ест колбасу!

Этого лохматого человека все читатели считают пророком. «Он возвышается, как город на горе». Это о нем сказано в толстой, умной книге. Да, конечно, он в самом деле где-то на границах гениальности. Но мне он нравится в те моменты, когда злословит. Знаете, это чудесно! Тонкое, умное, изящное злословие, жалящее иглой... чудесно!

А перебирать старые рукописи и письма, написанные гениальными людьми, о которых знает весь мир! Какое наслаждение!

Как должен жить человек?

Во-первых, должен работать с увлечением, с любовью и радостью.

Во-вторых, стремиться к самым утонченным наслаждениям. Такие наслаждения дает живопись, литература, музыка, разговор с умными талантливыми людьми, природа, и еще внутренняя свобода мысли, когда все можно поставить перед собой, всему задать все вопросы, задать бесстрашно.

Табак, пиво и водку оставим людям со свинским вкусом. Чуть-чуть допустимо прекрасное вино. И очень немного, чтобы количеством не убить ощущение. «Вино для человека то же, что огонь для ладана». Гёте прав. Это так. Это я понимаю. Только поджечь, чтобы мысли неслись, как молодые кони. А может быть, и поджигать не надо. Пусть сердце говорит ничем не возбужденное.

В-третьих, человек должен жить красиво и бодро, должен окружить себя вещами, в которых настоящий вкус.

Можно и нужно поставить себе цели, создать идеал и к нему стремиться. Творчество и достижение — основы счастья.

— Но ты, кажется, очень оптимистически смотришь на жизнь?

— Да, я смотрю на жизнь со всей радостью. Я слишком часто смотрел смерти в глаза, — и, может быть, поэтому так верю в жизнь, так люблю жизнь. Что поделаешь? Я всегда откровенен. Люблю жизнь и людей. Я слишком сурово и требовательно относился к людям, — я имею право их любить, ничего от них не требуя и ничего от них не ожидая. Радоваться бы и жить просто, как трава растет...

— Жилище человека должно быть прекрасно.

— Да, но подожди... о чем ты?

— Одним словом, у меня чудесная жизнь... осталась там, в Москве!

А теперь вот — сижу полуслепой, с завязанным красным воспаленным глазом... мои глаза, оказывается, не выносят непрерывного сверкания полярных льдов и снегов. Даже страшные синие очки не спасают их.

В Мурманске, перед отходом в океан, я побрился в гавани в китайской парикмахерской, и теперь моя левая щека вздулась горой. Я сижу на ящике из-под водки, потому что у меня нет стула. Сижу, тупо смотрю в пол. Тупо! Да, я отупел. Я отупел от мелких и крупных лишений, что испытываю в последние месяцы. Мое место на корабле не больше собачьей конуры. Пока я не привык к тесноте, я каждый

день стучался головой, руками, коленями, всем телом стучался о железные и деревянные углы, и множество царапин и синяков засияло на моей коже. Правда, я купаюсь два-три раза в неделю в ванне из океанской воды, чистойшей, бесподобнейшей — в этой воде купаются только белые медведи и тюлени и никогда человек. Но у меня от этих купаний щетиной встали волосы. Морская соль набилась в них, и мне кажется, что каждый волос у меня теперь толще пальца. Хоть бы ведро пресной воды! Хоть бы раз просто, по-человечески, вымыть голову. Каждая царапина на моем теле от мытья морской водой горит. Кожа на руках очерствела, лопается. Мы не имеем достаточно пресной воды. Сперва нас предупреждали: «Берегите пресную воду»,—об этом висело об'явление возле умывальников. Теперь нам дают пресную воду только для питья. Умываться — морской. Вчера я впервые познал, как тяжел труд прачки. Правда, я стирал только немного свое, — с прачкой будто не следует равняться, — но я стирал морской соленой водой, в которой мыло еле-еле мылится. И еще неизвестно, каковы результаты моей стирки: пока всё висит, сушится на нижней палубе. Конечно, можно и не стирать — щеголять в рубашке черной, как земля. Один всю экспедицию так и щеголяет. «Попаду,—говорит,—на землю, тогда переоденусь». Да. Но хрен редьки не слаще. Авось, у меня вышло хорошо — высохнет, посмотрим.

И еще ужасны эти переходы — от океанских неохватных ледяных просторов к моей конуре. Как чист воздух за полторы тысячи верст к северу за полярным кругом! Но, спустившись с мостика к каютам вниз, я попадаю в атмосферу, где «хоть топор вешай». Облака густого табачного дыма в кают-компани, густой запах овчин, ворвани, уборной, сапог, невымытого тела там внизу, где мое логово.

Наш стол в кают-компани покрыт скатертью. Во время качки из блюда непременно проливалось хоть чуть-чуть. Половики, пролежавшие месяц на полу в московской квартире, чище в сто раз нашей скатерти. Служитель Зигмунт уже предложил:

— У нас есть вторая скатерть. Может быть, переменить?

— У вас в запасе только одна?

— Да, одна.

— Тогда подождите. Может быть, найдем итальянцев,—тогда постелем новую скатерть. Пока мы так.

Мы уже привыкли. День за днем, неделя за неделей я видел, как постепенно мы теряли свои культурные привычки,— я, например, уже не всегда мою руки перед едой...

А сплю я... об этом стоит рассказать. Моя подушка возле стены. Стена, это — борт ледокола. Мы идем льдами. Ледокол, идущий во льдах, это — человеческая гениальная воля, побеждающая стихию. Я выше всего ценю волю. С каким восторгом я любовался в первые дни проявлением этой воли. На всем ходу, дрожа каждым дюймом своего гигантского тела, ледокол несется по ледяным полям, ломает, крошит. Лдины грохочут, рушатся, тысячи тяжелых молотов бьют па

бортам ледокола. В полуаршине от моей головы они стучат в борт, хрипят, скрежещут, свистят, хохочут... Дни и ночи слышу я их грохот. Дни и ночи! Может быть, у меня болит голова от их шума? Сколько лишений! О, сколько лишений!

А судовой доктор! Несомненно, один из ужасов жизни,—это человек, морально разложившийся. Вот он: на корабль явился в морской форме, я принял его за штурмана. У него громоподобный голос, слышен во всех уголках судна. В Александровске, где мы стояли целый день, он забрался на вершину горы, орал оттуда во всю глотку, голос перекачивался эхом по всему фиорду. Это заставило меня сразу присмотреться к нему. Круглые, очень серьезные глаза. Очень серьезное лицо. Смех вспыхивает сразу — грубый, жесткий. Почти нет улыбки. За столом гнусные грубейшие ругательства. Это было неожиданно и противно. Представитель ВКП(б) Стрелков возмутился. Он сказал: «У матросов в кубрике висит плакат: «Матерно не выражаться». Может быть, и здесь повесить такой плакат? Как вы думаете, доктор?». Доктор сократил количество матюгов. Прошла неделя. Он стал рассказывать—очень подробно—о своих трех женах. Потом о женщинах вообще,—это были самые гнусные рассказы, какие я слышал в жизни. Мне казалось: каждое слово похоже на плевок, летит в воздухе—гнусное, дикое. Вздогнешь! Я потрясен: доктор — сын известного профессора. Что это? Вырождение интеллигенции? Не слушать бы. Уйти бы от этой гнусности. Но судьба зла: у доктора огромный голос, слушаешь всегда, потому что голос проходит во все щели. Хоть уши затыкай. Но не уйдешь, не заткнешь. Слушай, молчи, терзайся молча. Как арестант в одной камере с ним—о-о, это одно из очень больших лишений слушать этого доктора.

А эта тревога, что охватывает порой всех. Нас жмет всегда льдом — треск, шум, ледокол трепещет своим каждым гвоздиком. Или эти пять суток, что мы провели возле острова Надежды, когда льды сжали нас клещами! Ледокол затрещал, перегородки лопнули. С силой нас потащило на камни, на айсберги. Смерть встала синим призраком. Я сперва посмеивался, глядя на своих перепуганных товарищей. Но когда увидел,—капитан и штурманы бегают перепуганные,—я почувствовал, как холодок подул в мою спину. Уже собрали вещи, готовились выйти на лед... Смерть встала перед нами.

Лишения, лишения, лишения! Сколько их? Не перечислишь.

Я сижу на ящике из-под водки (потому что стула нет). Я тупо смотрю в пол. В голове туман. Болят глаза. Болят исковерканные руки. Ушибленное плечо горит огнем. Немытый, заросший шерстью, я, как больной зверь, сижу в конуре...

А сегодня... сегодня утром пришла радиотелеграмма: «Летчик Чухновский вылетел с ледокола «Красин» на поиски остатков экспедиции Нобиле к острову Фойн. Долго летал, найти не мог. Возвращаясь к ледоколу, увидел на льду троих итальянцев. Двое стояли на торосах и махали флагами, третий пластом лежал на льду. Чухновский сделал

над ними три круга, но сесть не мог: мешали торосы. Чухновский полетел к ледоколу. Ледокол потерялся в тумане. Бензин был на исходе. Чухновский полетел к земле, к острову Карла XII, надеясь там сесть на припай — прибрежный лед, почти всегда гладкий. Здесь ходил туман. Летчик вынужден был сесть. Он сел, сломав два пропеллера (у него их три) и шасси. Самолет выведен из строя. Люди целы. До ледокола «Красин» пятьдесят километров».

Я представил ясно ощущение этих итальянцев. Двое на торосах махали флагами. Как бились их сердца, когда они слышали шум самолета. «Летит! Летит избавитель!» Полтора месяца на льду, в тумане, в холоде, без палатки, без теплой одежды, без пищи. Белая ледяная смерть множество раз глядела своими синими глазами в их черные глаза, напоенные черной ласковой южной ночью. «Третий пластом лежал на льду». Лежал! Он уже не мог подняться даже в тот момент, когда самолет-избавитель над ним. Может быть, он был уже мертв, он оледенел? Или больной, бессильный? Из двух одно. Они махали флагами, самолет покружился и (вот момент, страшный, как пуля убийцы)... и улетел. Бросив флаги, они, обессиленные, сошли с торосов, приблизились к своему мертвому (или умирающему) товарищу. Какое счастье, что никто не видел их лиц в этот момент! Они сели на лед. Они молчали. Молчали долго. Наконец, один сказал: «Послушай. Самолет нас видел. Он прилетит опять. Он знает, где мы». А самолет уже не прилетит. Самолет сломан. В белой ледяной пустыне он будет лежать (до каких пор?), и четыре человека будут около него замерзать, голодать, может быть, умирать. Будут сами подниматься на торосы с флагами в руках, неотрывно смотреть в белое полярное небо,—не прилетит ли избавитель. Ждали, ждут, будут ждать — итальянцы, русские.

Лишения! Лишения!

Мои лишения ничтожны, конечно, перед лишениями вот этих. Да, да.

— Да. Но позволь. Какой же чорт потащил тебя в эту ледяную пустыню? Зачем тебе нужно было покинуть дом, покинуть все, что давало тебе хорошую радость,—пойти сюда? Или этим итальянцам,—зачем сидеть на льду?

Я сам спрашиваю, сам отвечаю и удивляюсь ответам. В самом деле, зачем я здесь? Зачем эти лишения? Зачем лишения тех итальянцев, которых мы идем спасать? С чем их сравнить? От прекрасной страны, прекрасного искусства, прекрасного неба, роз, любимых женщин с жгучими глазами они попали сюда, в этот край льдов, туманов, холода. Они уже второй месяц сидят на льдине,—без пищи, в рваной обуви, одежде. О, какие муки! Что мои лишения перед их муками?

И я знаю: каждый из них сделал невероятные усилия, чтобы попасть в экспедицию, чтобы именно его, а не другого выбрали. И вот он на льду, больной, умирающий с голоду, где-то плывет на льдине,—они там (мы в 250 километрах от них), в тумане... А другой

(тот, с кем он спорил из-за места на дирижабле) тем временем гуляет под прекрасным небом Италии...

Что с людьми? Их захватило безумие?

Всех не поймешь. Себя понять легче. Что со мной? Какой бес уколол в бок шилом, заставил бежать сюда?

Страшно благополучие. Страшно не меньше самого острого несчастья! Благополучие заливает жиром человеческие утонченные чувства.

— А вы поправляетесь, дорогой мой!

— Вы отлично стали выглядеть.

— Вы посвежели.

Человеческий язык имеет массу подобных ползучих слов, вежливо укрывающих одну по-настоящему правдивую фразу:

— Вы жиреете, как свинья на сытых хлебах!

И вот эти фразы начинают жужжать, как комары над ухом. И на память приходит пословица: «Чем сильнее свиньи жиреют, тем ближе к смерти». Благополучие несет нравственную смерть. О, милые несчастья! О, милые лишения! Избавьте, избавьте от нравственной смерти! Лучше уже смерть физическая.

И еще... вот здесь я хотел бы поглубже разобраться—еще влечет смертельная опасность. Мальчишкой лет десяти, помню, на Волге мы забавлялись: лед только что встал, за ночь в полыньях намерзла тонкая корка свежего, совсем прозрачного льда. И вот по нему—тончайшему—пробежать от одной кромки льдины к другой. Захватит дух! Острый холодок мурашками пробежит по всему телу, и сердце замрет... хорошо! И как чудесно великий поэт заметил:

Все, все, что смертью грозит,
Для сердца смертного таит
Неисчислимы наслажденья.

Вот именно: неисчислимы. Никак не охватишь этого прорыва: однажды ты проснулся в удобной мягкой постели, ты прислушиваешься к своим мыслям. О чем ты думаешь? О башмаках, о постели, о том, какую глупость сказал тебе вчера случайный знакомый. Сегодня надо пойти туда, но можно и не ходить. Сделать надо то-то, но можно и не делать. Конец! К о - н е ц!

— Эй, товарищ, ты, кажется, собрался на северный полюс? Не возьмешь ли меня с собой?

— Да, но... когда у тебя возникла такая мысль? Мы вчера только виделись, и ты ничего не говорил.

— Это все равно. Если можно, я еду с тобой.

— Мы готовились почти год, а ты хочешь сразу. Не забудь—большие лишения нас ждут. Может быть, смерть...

— Отлично, отлично, еду.

Сиди вот. Тупой и жалкий, как больной зверь. И молчи. За круглым иллюминатором встала льдина. Сквозь нее еле проходит зеленый свет. Сиди. Молчи. Т ы х о т е л.

Во льдах у о. Надежды

Три стихотворения

Бор. ПАСТЕРНАК

1. ДВЕ ВСТАВКИ В ПОЭМУ „ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ“

I

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлинше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влѣк
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынести вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А вечер холоден и дымчат,
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что, бишь,
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплѣк,
Что все попрежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клекот лихолетья,
Тот, жженный жестью на газете,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,

И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче с'есть в предмете?»

И полз голодную глистой
С второго этажа на третий
И крался с пятого в шестой.

II

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молнии шаровой.

Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.

Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольцо поддержек и преград.

И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был, как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.

Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.

И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.

Их связывали узы братства.
 Не важничая ни пред кем,
 Всегда готовый к ним придраться,
 Он с ними жил накоротке.

Событий завистью завистлив,
 Ревнив их ревностью одной,
 Он управлял теченьем мыслей
 И только потому — страной.

Я думал о происхожденьи
 Века связующих тягот.
 Предвестьем льгот приходит гений
 И гнетом мстит за свой уход.

1923—1928.

2. ПРИПИСКА К ПОЭМЕ „ГОРОД“

Возвращенье

Это — Люберцы или Любань. Это — гам
 Шпор и блюдец и тамбурных дворец и рам
 О чугунный перрон. Это — сонный разброд
 Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
 Это — смена бригад по утрам. Это — спор
 Долгих сборов в отлёт с голосами рессор.
 Это — грохот утрат о возврат. Это — звон
 Перецепок у цели о весь перегон.

Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
 Даль скользит со словами: навряд и едва ль
 От расспросов кустов, полустанков и птах,
 И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
 Воедино собираются дни сентября.
 В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
 Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
 Это всех, обреченных земле, доброта.

Это — горсть повестей, скопидомкой судьбой
 Занесенная в поздний прибор и отбой
 Подмосковных платформ. Это — доски мостков
 Под кленовым листом. Это — шелковый скоп
 Шелестящих красот и крылатых семян
 Для шпаклевки прудов. Всюду рябь и туман.
 Всюду скарб на возах. Всюду дождь. Всюду скорбь.
 Это наш городской гороскоп.

1916—1928.

3. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усилиями светилен.
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
Побелу в снегу — косяк особняка.
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать услад ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.

1913—1928.

Большая дорога

М. СВЕТЛОВ

К застенчивым девушкам,
Жадным и юным,
Сегодня всю ночь
Приближались кошмаром
Гнедой жеребец
Под высоким драгуном,
Роскошная лошадь
Под пышным гусаром...

Совсем как живые,
Всю ночь неустанно
Являлись волшебные
Штабс-капитаны,
И самых красивых
В начале второго
Избрали, ласкали
И нежили вдовы.

Звенели всю ночь
Сладострастные шпоры,
Мелькали во сне
Молодые майоры,
И долго в плену
Обнимающих ручек
Барахтался
Неотразимый поручик...

Спокоен рассвет
Довоенного мира.
В тревоге заснул
Городок благочинный,
Мечтая бойцам
Предоставить квартиры
И женщин им дать
Соответственно чину,

Чтоб трясся казак
От любви и от спирта,
Чтоб старый полковник
Не выглядел хмуро...

Уезды дрожат
От солдатского флирта
Тяжелой походкой
Военных амуров...

Большая дорога
Военной удачи!
Здесь множество
Женщин красивых бежало,
Армейцам любовь
Отдавая без сдачи,
Без слез, без истерик,
Без писем, без жалоб.

По этой дороге,
От Волги до Буга,
Мы тоже шагали,
Мы шли, задыхаясь,
Горячие чувства
И верность подругам
На время походов
Мы сдали в цейхгауз.

К застенчивым девушкам,
В полночь счастливым,
Всю ночь приближались
Кошмаром косматым
Гнедой жеребец
Под высоким начдивом,
Роскошная лошадь
Под стройным комбатом...

Я тоже не ангел —
Я тоже частенько
У двери красавицы
Шпорами тенькал,
Усы запускал
И закручивал лихо,
Пускаясь в любовную
Неразбериху...

Нам жены простили
Измены в походах,
Уютом встречают нас
Отпуск и отдых,
Чего же, друзья,
Мы склонились устало
С тяжелым раздумьем
Над легким бокалом?

Большая дорога
Манит издалече,
Зовет к приключениям
Сторонка чужая,
Веселые вдовы
Выходят навстречу,
Печальные женщины
Нас провожают...

Но смрадный осадок
На долгие сроки,
Но стыд, как пощечина,
Ляжет на щеки.
Простите нам, жены!
Прости нам, эпоха,
Гусарских традиций
Проклятую похоть!

Партизаны¹⁾

(Из романа „Россия кровью умытая“)

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

(Продолжение²⁾)

В России революция — пыл,
ор, яроводье, урывистая вода.

Всю дорогу разговоры в вагоне.
О чем крики, о чем споры?
— Все дела в одно кольцо своди—бей буржуев, душа из них вон!

— Земля наша, и все, что на земле, наше.

— А беломордые?

— Што нам беломордые... Голова — мы и когти — мы!

— Правильно. Наша сила и наша власть... Всех, братишка, потопчем, всех порвем!

Простонародная революция — плач и стенанья, песни и слезы.

Навстречу два эшелона попались, урезный фронтовик, кровь родная.

— Ура...

— Ааа...

Все машут винтовками:

— Даешь буржуев на балык!

— Долой Филимонова!

— Рви кадетню!

— Поездили, попили... Теперь мы на них поедем!

— Крой, товарищи, капиталу нет пощады!

— Доло-о-ой...

И долго еще за эшелонами слышались утихающие по мере удаления голоса.

Горы расступились, впереди высоченной стеной встало море, по сторонам замелькали домишки, и поезд, в клубах пара, подлетел к станции.

1) Первые страницы главы, живописующие гулянку моряков в Новороссийске, впервые были напечатаны в конце 1923 г. в «Лефе». В настоящей редакции введен ряд новых сцен, типов и т. д.

2) См. «Новый Мир», кн. 10 с. г.

— Где комендант? — выпрыгивая из вагона, обратился Максим к пробегавшему с пучком зеленого лука молодому солдату.

— Ах, землячок, — остановился тот, отирая шинельной полрой вспотевшее лицо, — сурьезные дела! Фронтвики не подгадят, в один момент обделают дела в лучшем виде.

— Я тебя о чем спрашиваю?

— Держись, ваша благородия, держись не вались! — солдат махнул луком и побежал дальше.

«С митингу, — догадался Максим, глядя ему вослед, — здорово разобрало, всякого соображенья лишился человек».

Максим взял направление в вокзал.

— Где комендант, под девято его ребро?

— Я.

— Тебя и надо.

— А ты сам кто такой? — очнулся комендант и поднял от стола, за которым спал, запухшее лицо.—Ваш мандат?

Максим отвернулся, расстегнул штаны и достал из потайного кармана пропитанную потом бумагу:

— Налицо.

— «То-то-варищ ко-ман-ди-рует-ся за о-оружием... под-держка ре-волю-ци-онной вла-власти на ме-стах», — вслух прочитал комендант, потер на мандате помуслявленным пальцем печать и, развалившись в мягком кресле, сдвинул на нос кепку: — Не от меня зависит.

— Как так?

— Та-ак... — а сам и глаз не показывает.

— Да как же так?

— Э-эдак, — мычит сквозь сон.

— Да какой же ты комендант, коли оружия не имеешь? А ежели экстренное нападение контры?

— Не от меня зависит, — тихо отвечает он и тут же, уронив на стол голову, давай храпеть во все завертки.

— Га, чортов сынок! — плюнул Максим через коменданта на стенку и, выбрав у него из пальцев свой мандат, ударился в город.

НОВОРОССИЙСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ.

На лестницах и в залах народу — руки не пробьешь. Черноморские молдаване хлопотали о прирезке земельных наделов, немцы-колонисты искали управу на самовольство казаков, фронтвики и матросы шныряли по своим делам, и тут же неизвестный солдат продавал серебряные ложки.

Толкнулся Максим в одну комнату — заседание, толкнулся в другую — совещанье с рукопашным боем, в третьей комнатухе местный

комиссар финансов на глазах у обступивших его восхищенных зрителей из простой белой бумаги делал деньги.

Встал Максим в дверях и давай самых главных за руки хватать, но иному некогда, иному недосуг, все кричат и мимо бегут, и никто с делегатом говорить не желает. «Што делать, — думает Максим. — Хоть садись и плачь, или обратно в станицу с таким поезжай?...» С горя пронял его аппетит, пристроился на подоконнике, хлеба отломил и только было взялся за сало, — глядь, Васька Галаган.

— Здорово, голубок.

— Да неужто ж ты, дорогой товарищ, живой остался?

— Меня не берет ни дробь, ни пуля.

— Ах, в бога господу мать, рад я ужасно.

Подманил Васька товарищей и ну рассказывать, как они на автомобиле мимо дороги пороли, как в трубе ночевали, как у попа гостевали. Ржали матросы — штукатурка с потолка сыпалась, советские шпалеры вяли, стружкой по стенам завивались.

— Зачем в город притопал?

Максим показал мандат.

— Оружия тебе, солдат, не достать, — смеется Васька, откровенный друг, — в совет здешний всяка сволота понабилась: и большевики, и меньшевики, и кадеты, и эстервы.

Какой такой совет, коли силы-державы не имеет? А ежели экстренное нападение контры, они и усом не поведут?

— Не по назначению попал.

Уцепил Максим дружка за рукав бушлата и начал молить-просить:

— Васёк, товарищ подсердечный, не могу я без оружия в станицу глаз показать. За што мы скомлели, терзались на фронтах? И зачем нам кисла меньшевитска власть? Долой золотую шкурку! В контрах вся Кубань, тридцать тысяч казаков.

— Успокой свое сердце, оружия добудем.

— Верно?

— Слово - олово.

— А совет?

— Совет — чхи, будь здоров, погремушка с горохом. Вся власть в наших руках—хоромы, дворцы и так далее.

Максим, сам не свой от радости, сала кусок и хлеба горбушку на подоконнике забыл.

Васька с товарищами, подцепив друг друга под руки и распевая песни, шли во всю ширину дороги. Максим с мешком на горбу следовал за ними.

Миновали одну улицу, другую, и всей ватагой ввалились в гостиницу «Р о с с и я». Барахла кругом было понавалено горы. Сюда повернешься—чемодан, туда—узел, двоим не поднять. Картины, диваны и занавески цветных шелков. На полу валялись пустые бутылки, на столах ковриги ржаного хлеба, целые кишки колбас, вазы были на-

полнены фруктами, а раззолоченные блюда — солеными огурцами и кислой капустой.

Проголодавшийся Максим набросился на жратву, а Васька растегнул бутылку шампанского. Вспомнили они, как на автомобиле мимо дороги чесали—выпили, про трубу вспомнили—еще выпили, за поповский сапог наново выпили. Вывел матрос гостя через стеклянную дверь на балкон и показывает:

— Вон немцы в Крыму... Вон Украина—страна хлебородная, всю ее покорили гадюки, а флот наш сюда отсунули.

— Немцы?

— Немцы, хлесть иху мать... Шлём-блём, даешь флот по Брест-Литовскому договору. Шалишь! Распустили мы дымок, сюда уплыли. Выпьем вино до последнего ведра,—дальше двинемся, разгромим все берега, и со славой умрем, но не покоримся.

— Вася, зачем умирать?

— Я? Мы? Мы будем жить бессчетно лет! Все прошли с боем, с огнем! Полный оборот саботажа, весь путь под саботажем! Зато и задали же мы им дёрку... Гайдамаков били, раду били, под Белградом Корнила шарахнули, на Дону с Калединым цапались, в Крыму с татарами дрались, офицеров топили в Севастопольской бухте: камень на шею и амба, вспомнили мы им, драконам, «Потемкина» и «Очаков».

— С корню долой?

— Справедливо, дядя... Раз офицер — фактически контрик... Бей с тычка, бей с навесу, бей наотмашь, хрули гадов, не давай лярвам пощады ни на рыбий волос!.. Про Мокроусовский отряд слышал? Наш отряд, Черный флот! Офицеров своих аля-аля пополам да на-двое, теперь сами себе полны хозяйвы. В судовых комитетах поголовно наша бражка, ни одного в очках нет. Дни и ночи у нас собранья и митинги, митинги и собранья. На дню выталкываем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся — бей контру, баста!

Кованое море было полно ленивой, играющей силы.

На рейде, выстроенные в кильватерную колонну, разукрашенные праздничными флагами, дымили корабли. По утрам с дредноута «В о л я» по всей эскадре малым током передавалось радио — политические новости, приказы, поздравления или извещения в роде следующего:

В
сем
всем в
сем сего
дня вечеро
м в горсадуот
крытая сцена на
вольном воздухе к
онцертмитинг шампа
нскоебал до утра вход с
вободный военморы пригл
ашаютьсябезисключения да з
дравствует да здравствует до
лой долой долой да здравствует с
вободный черноморский флотТройка

Максим в бинокль разглядывал могучие туши кораблей, грозные башни, прикрытые чехлами орудия и дивился:

— Силушка.

— Весь Черноморский флот, — приосанясь, с гордостью сказал Васька, — а команды на берегу. Двенадцать тысяч моряков на берегу, подумай, сколько это шуму? Хоромы, дворцы трещат, гостиницы и дома буржуйские от нас ломаются... О совете лучше не говорить и слов не тратить. «Качай шампанского!», — и кислый совет из подвалов Абрау-Дюрсо перекачивает на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая, твердая цена. Ночью загоняем всех рысаков, перетопим лихачей в вине и керенках, до смерти захочется на автомобилях покататься, а автомобилей в городе нет. Ватагой подступим к совету и давай его штурмовать:

— Гони авто!

— Тыл, штатска провинция, душу вынем!

— Го-го-го, отдай, а то потеряшь!

Высунется в окошечко дежурный член, в шинель одетый, а у самого золотые зубы от страха стучат:

— Товарищи, я сам три года кровь проливал, но автомобилей в совете нет. Вы, как сознательные, должны...

— Ботай!

— Куда подевали?

— Пролили?

— Немцам бережете? Душу выдерем и рукавичек нашьем.

— Товарищи, — плачет член, — не терзайте меня, у меня мать старуха...

А мы авралим, а мы для забавы кверху стреляем... Член думает, в него промахываемся, — то за стенку спрячется, то опять в окошко выглянет и крутится вредный и вертится, как змей в огне.

— Я, — кричит, — не против, я сам фронтовик. Вместо машины, в награду за вашу храбрость, совет выставит шампанского по бутылке на брата.

— Мало!

— Тоже фронтовик, нажевал рыло-то.

Рядимся-рядимся, получим по две бутылки на брата, да по две на свата и с честью отступим.

Матрос без умолку рассказывал о порядках в городе, о фронте, вспоминал чудачества и геройские подвиги своих друзей.

Внизу по улице с лютым воплем, гармонью и бубенцами промчался свадебный поезд. Васька перевесился через перила балкона, облизнул потрескавшиеся красные губы и заговорил еще с большим азартом:

— Девочки-мармуленочки все до одной за нами! Свадьбы вихрем, сплошная гульба. Свадьбы каждый час, каждую минуту. Невесты за пучек пятак. Шафера, подруженьки, все честь-честью. И колец хватает, колец мы нарубили с пальцами у корниловских офицеров.

Во всех церквах круглые сутки венчанье, лохмачи осипли, музыка крышу рвет! Власти много и денег много, все пляшут, все поют, пыль в небо! Пьянка, гулянка, дым, ураган, — ну, жизнь по полный ход!

— Вася, — прервал его Максим, подвертывая бинокль, — никак не разберу, што такое болтается?

— Где? — Моряк припал к биноклю и расхохотался: — Так это ж лапоть...

— Чего?

— Покарай меня бог, лапоть. Он доказывает наш свободный дух. Расступись ботиночки, сапожки, лапоть топают. — Откинувшись на спинку плетеного кресла и устало прикрыв воспаленные глаза, Васька умолк... Он проспал несколько минут, потом встряхнулся, вытащил из кармана лакированную коробочку с кокаином, крупной понюшкой зарядил раздувающиеся ноздри, закрутил от удовольствия головой и, шлепнув Максима по костлявому заду, досказал: — На кораблях, согласно приказа, подняты красные флаги, но нашим чудачкам этого мало. Каждый хочет свою моду давить. Хохлы рядом с красным вывешивают желто-голубой, молдаване свой национальный флаг выставляют, а мы, русские, али хуже других? Красный у нас есть, еще старое андреевское знамя поднять в роде неловко... Вот мы на страх врагам и вздернули над кораблем наш расейский лапоть — цускай вся Европа ужасается.

Максим, веря во всемогущество друга, не терял надежды добыть оружие. Он не отставал от моряка ни на шаг. Васька ни о чем и слушать не хотел, так как в тот самый день женился.

...Васька с Маргариточкой за красным столом сидят и друг дружке улыбаются. На ней новая форменка—женихов подарок. Куражится Васька, уцепил невесту за хребеток, в губки целует, вино пьет, стаканы бьет, похваляется.

— Го-го-го.

— А-га-га-га-га-гаа...

Васька сердится:

— Что я вам, — говорит, — чувырло какое?

Из двух кольтов попадает Васька—на спор—в пустые бутылки, понаставленные на рояль.

Бабы визжат, братва потешается.

— Отчаянный вы народ, флотские, — кричит Максим через стол: — а я, а меня, оружия... ждут станишники.

— Какое тебе оружие, ежели я женюсь? Отгулям, отпляшем и...

Чечеточку, ползунка, лягушечку как тряхнет-тряхнет Васька, локти на отлет:

— Рви ночки, равняй деньки!

Отяжелевшая голова Максима падала на стол, но взрывы веселья заставляли его таращить глаза...

В углу моряки играли забрызганными кровью картами. На кону — золото, часы, кольца; керенки не считали, а отмеривали на глаз.

Тесть с картонной грудью и в смятом котелке плясал камаринского на демократических началах. Гости над ним потешались, покривали:

— Нет, спой-ка ты нам «Яблочку».

— Тряхни брылами, повесели гостей.

— Уморушка, Татьянушка...

— Сыпь, буржуй, на весь двугривенный.

Теща дышала над молодыми:

— Девушка она у меня чуткая, деликатная и умница. Гимназию с золотой медалью окончила. Уж вы, Василь Петрович, ради бога, будьте с ней понежней. Она совсем, совсем ребенок..

Ваську от умиления слеза прошибает, Васька перед тещей пылью стелется:

— Мамаша, да разве ж мы не понимаем? Мамаша, да я ж в лепешку расшибусь...

Маргариточка за роялем трень-брень. Ее восковой голосок тонет в мутном, утробном реве:

Э-э, яблочко
На тарелочке.
Надоела жена,
Пойду к девочке...

На улице под окном песню подхватили с прйсвистом, брызнуло стекло, и — в раме — рожа дико-веселая:

— Э, да тут гулянка?

Под окнами летучий митинг:

— Свадьба.

— Фарт.

— Залетим на часок?

— Вались лево на борт!

Жених высунулся из окна, и, смутно различая белевшие в темноте рубашки матросов, кричал:

— Заходи, ребятишки, места хватит, вина хватит!

Дом гудел и стонал.

Выпили все шампанское, весь спирт и всю самогонку. Под утро тесть привез корзинку прокисшего виноградного вина; не разбирая, и его выпили. Спали вповалку на битой посуде, на растоптанных об'едках. Похмелялись огуречным рассолом.

Кто-то хватился Васьки, — Васьки не было.

— Ах, ах, где молодой?

Нету молодого, пропал молодой.

Теща плачет, в батистовый платочек сморкается. Маргариточка белугой ревет, охорашивает ягодки помятые. Шафера выжимают из бутылок похмельку, к подругам Маргариточкиным присваиваются.

Кинулся Максим Ваську искать, — нету Васьки.

Оказывается, на фронт махнул, а может быть, и не на фронт? Вечером, будто, видали Ваську — в городском театре зеркала бил. А потом слух прошел, будто влюбилась в Ваську артистка французская. Зафаловал он артистку, раз-раз, по рукам и в баню. Лафа морячку, куражится, подлец: «Артистка, принцеса, баба свыше всяких прав!».

Пришли поздравлять дружка и видят — артистка не артистка, а самая заправская — страшнее божьего наказания — чеканка Клавка Бантик. Кто ж не знает Клавку Бантика? Васька, на что доброго сердца человек, и то взревел:

— Ах ты, кудлячка!

Плеснул ей леща, другого и в расчете—бесхитростный Васька человек.

Стонут, качаются дома, пляшут улицы.

Прислонился к «России» китаец, плачет китаец, разливается:

— Вольгуля, мольгуля...

Выкатились из гостиницы моряки и навалились на ходю:

— Китаеза, что означают твои слезы?

— Вольгуля, мольгуля... Моя лаботала-лаботала, все денги плолаботала, папилоса нету, халепа нету! — Слезы эти из него так и прут.

— Ха-ха, бедолага, черепашьи яйца, сковырни слезы, едем с нами.

— Аяй, чудачок, кругом свобода, а ты, шибко-куёза, плачешь?

— Эх, развезло, размазало, стой — не падай!

Могучие руки втокнули пьяного Максима в реквизированную архиерейскую карету с проломленным боком. Ввалились в карету Васька, шкипер Суворов, китаеза, еще кто-то.

Сорвалась и понесла тройка, разукрашенная пестрыми лентами: и у лошадей праздник, и лошадям было весело.

Свист.

— Пошел на полный!

— Качай-валяй, знай покачивай-кача-а-ай!

— Рви малину, руби самородину!

Помнил Максим и станицу, и фронт, а слова расползались, ровно пьяные раки:

— Вася, родной... Господи, братишки... В контрах вся Кубань, сорок тысяч казаков.

— Погоди, и до казаков доберемся и их на луну шпилить будем.

— За што мы страдали, Вася?

— Не расстраивай, солдат, своих нервов. Всех беломордых перебьем и баста. Останутся на земле одни пролетарии, а паразитов в землю, чтобы и духу ихнего не было! Оружия достанем, дай погулять, дай сердцу натешиться вволю — первый праздник в жизни!

— Показал бы ты мне корабль? Экая махина, — сказал он, оглядывая стены.

— Можно. Сыпь за мной!

Спускались в кочегарку, моряк рассказывал:

— У нас на миноносце «Пронзительно» триста мест золота на палубе без охраны валяются, никто пальцем не трогает, а ты говоришь грабилровка... Тут, браток, особый винт упора, понимать надо.

— Неужто золота?

— Триста мест золота из киевских, харьковских сейфов. Мы, годок, за шалости своих шлепаем. У нас это просто, — коц, брык и ваших нет!

В кочегарке было черно и угарно. Забитые угольной пылью, задымленные кочегары работали без рубашек. Из угольных ям на руках подтаскивали чугунные кадки, ширяли гребками в отверстые ласти печей, подламывали скипевшийся шлак. Скрежетали о железный пол, мелькали высветленные лопаты. Стенки котлов пышали палящим жаром. В топке, сверкая через решетку поддувала полными неукротимой ярости желтыми глазами, сопел и с рычанием ворочался огнище. Гудели, завывали ветрогонки.

— Ад, — сказал Максим, утираясь шапкой. Пот садил с него в тридцать три ручья, от духоты спирало дыхание.

Наклоняясь к нему, Васька кричал:

— Это что! Два котла пущены,—это что! Вот когда все десять заведем, уууу! Жара под семьдесят! Ветрогонки старой системы, тяга слабая, жара под семьдесят. Да ведь надо не сидеть, платочком обмахиваться, надо работать без отверту, без разгибу работать. Не пот, кровь гонит с тебя! — В глазах моряка полыхали отблески огня: в эту минуту он показался Максиму похожим на чорта с базарной картинки.—Эх, в бога господу мать, пять годиков я тут отбухал! Жизня—горьки слезы! Али и теперь не погулять? Первый праздник в нашей жизни!

Вылезли наверх, прыгнули в шлюпку и поплыли в сияющий огнями, гремющий музыкой город.

Наперерез, рассекая высоким носом встречную волну, пронесся миноносец «Керчь». За кормой, распластавшись, летел черный флаг, на котором Максим успел прочитать трепещущие слова: «Анархия—мать порядка».

— Чего у них флаг не красный?—спросил он.

— Такой больше нравится.

— За кого они?

— Тоже самое за революцию. Состоят в распоряжении местного ревкома, но подчиняются только сами себе. Как-то зимой приплыл сюда из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Долго мы с солдатами митинговали, долго их уламывали и, в конце концов, уговорили наступать на Екатеринодар. Ладно, согласились, получили

на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры ихние заартачились и объявили нейтралитет. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходят два дня — об офицерах ни слуху, ни духу. Шлет ревком радиодепешу: «Где арестованные?». Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: «Свое мы дело совершили»,—и больше ни звука! Чисто сработано? Ха-ха-ха... Рыбаки нас костят на все корки: в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгуют. Оба дружно захохотали.

Над воротами городского сада плакат:

Ш т а т с к и м в х о д в о с п р е щ е н .

Все за матросами, черно от матросов.

На подмостках распевали и кривлялись куплетисты. В звоне струн и в вихрях разноцветного тряпья бесновались цыгане.

— Веселая дешевка,—сказал Васька Максиму, пробираясь меж столиками,—за тыщу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не люблю я денег пересчитывать, а денег этих самых у меня с полпуда—пропивай не пропьешь, гуляй не прогуляешь.

— Наследство буржуйское досталось?

— Никогда сроду... Ты, голова, не помысли на меня лихо. Полной обмундировки по пяти комплектов на брата мы получили? Получили. Жалованье за год вперед получили? Получили. Опять же и в карты мне везет, как проклятому. Вот и подумай, на сколько миллионов мой мешок потянет?

— Пировали за столиками, на открытых террасах, а то и так, просто на траве, на разостланных шинелях.

— Эх, братишки, в бога боженят!

— Иисус Христос проигрался в стос!

— Пей, все равно флот пропал!

— Кто там скулит?

— Бей буржуев — деньги надо!

Из множества глоток, подобная рыданию, рвалась любимая моряцкая песнь:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает.
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...

— Надоела вся борьба... Домой...

— Не хочешь ли на мой?

— Братишки, в угодничков божьих, в апостолов мать!..

К песне налетали все новые и новые голоса, земля гудела от надрывного рева.

Все выпелы вьются, и цепи гремят:
Наверх якоря поднимают...

Клавка Бантик с цыганистой подругой исполняли танец «Две киски».

— Дамочки-мамочки, бирюзовы васильки.

— Цыганка Аза... в рот... в глаза...

— Рви rrr-pp-pp-ночки, равняй деньки!

— Хорёк, руби малину, не хочешь ли чаю с черной самородиной? Жесткие, мозолистые ладони хлопали, как ружейные залпы.

— Га, резвы ноженьки, верти, верти, верти!..

Плясали смоляные косматые факелы, плясали моряки Рогачевского отряда. Обвешаны они были бомбами, пулеметными лентами, револьверами. Пахло от них пылью, порохом. Вчера только с фронта убежали, погуляют вечерок-другой и на извозчиках покатают обратно на позицию. Позиция под боком, кругом огонь, кругом вода.

— Ходи, отдирай пятки!

— Арра барра засобачивай!

Наливался, наливался китаеза на голодное-то брюхо, и вдруг хлынуло из него все обратно: мадера, шампанское, всевозможные закуски и нежеванными ломтями копченая колбаса. Его отпоили сельтерской. Он выкурил несколько папирос и снова с полным бесстрашием набросился на яства и пития.

За столом сидели: Максим, Васька, Ильин, Суворов, китаеза и деповский слесарь Егорыч.

Максим, не в силах сдержать переполнявшие его добрые чувства, целовал всех под ряд:

— Вася, обороти внимание... Черствая рука— Егорыч... В неделю два бронепоезда сгрохали, шибко нам бронепоезда помогли... Законный пролетариат из рабочего строю... Глаза страшат — руки делают, руки не достанут — ребрами берут... Вася, обороти вниманье.

Вытирая продранными локтями залитый стол, Егорыч хрипло кричал:

— ...Начальник мастерских — против, мы его в тюрьму! Листового дюймового железа нет—добыли! Шестеро суток не жрамши, не спамши задували и, действительно, сгрохали, поставили на колеса два бронепоезда... И наша копейка не щербата... Тридцать годов работаю, а такой горячки не видывал.

Васька тряс старому слесарю корявую руку и угощал всех в круговую:

— Пей, гуляй, товарищи... Нонче наш праздник. Хозяин!— заорал он поднимаясь. — Подавай ужин из пятнадцати блюд! За все плачу! Есть ответ! А беломордых передушим всех до одного. Душа из них вон! Мы...

Хор цыганский:

На горе стоит ольха.
Под горою вишня.
Буржуй цыганку полюбил,
Она за матроса вышла...

Каждая башка весела—

—каждая башка бубен.

Распалилось сердце Васькино, легко вспрыгнул на стол:

— Братишки, слушай, сюда-а-а...

И начался тут митинг со слезами, с музыкой.

Васька, ровно из огня, слова хватал—с мясом, с кровью, с шерстью. О фронте он говорил грозно, о революции—с большой торжественностью, о буржуях—с неукротимой яростью. В углах губ клочьями набивалась пена.

Затем Максим с пятого на десятое рассказал про свою станицу, путаясь в словах, как лошадь в коротких оглоблях.

Говорили все желающие.

— Погуляли, морячки, пора за дельце,—так закончил свою краткую речь Егорыч.—Пятьдесят стукнуло, а с вами и в огонь и в воду пойду. Буду кашу варить, лошадей ваших ковать.

Старика с криками «ура, ура» принялись качать.

Обмусоленным карандашом Васька заносил в книжечку имена желающих ехать на фронт.

Под утро, прямо из городского сада, на вокзал в полном порядке двигался партизанский отряд Василия Галагана. Мерно качались плечи и головы, под тяжестью гулких шагов садилась мостовая.

На вокзале подняли на ноги все начальство, разбудили коменданта.

— Оружье?

— Не от меня зависит.

— Да я ж из тебя все поганые жилы по одной вытяну, — угрозил Галаган и расстегнул кобур с наганом.

Поломался комендант немного, но видит—податься некуда, и выкатил морякам вагон винтовок и вагон патронов. Полвагона винтовок Максиму досталось. Грузили мешки с рисом, хлебом, сахаром. На крышах пулеманов устанавливали пулеметы. Китаеза работал, как чорт.

Прослыша про выступающий на позицию отряд, прибежали проститься рабочие, матросские девки и так просто жители.

Оркестры, речи, последние поделуи.

Почерневший от усталости Васька подает команду садиться и сам следит, чтоб кто-нибудь не отстал.

Длянь, длянь, длянь...

Эшелон сорвался и, гремя буферами, раскачиваясь на стрелках, сразу пошел на рысях.

Поезд мчится.

Огоньки.

Дальняя дорога...

Тяжелые немцы ввалились в хлебную Украину и, разметая дорогу огнем и штыками, двинулись на восток. Многочисленные партизанские отряды не могли устоять против железной силы прищельцев и орущим потопом хлынули на Дон, через Дон на Волгу и Кубань. Немцы заняли Ростов, из Крыма переплавились на Тамань и с этих подступов грозили задавить благодатный юго-восточный край.

От Азова до Батайска, в колеблющейся щетине штыков, образовался фронт. На защиту родных рубежей и молодой революции встали кубанцы, ростовские и таганрогские красногвардейцы, черноморские моряки под командой анархиста Мокроусова, шайка головорезов Маруси Никифоровой и мелкие отряды с текучим составом людей.

Большинство отступивших с Украины вольников пробегали дальше.

Через узловую станцию Тихорецкую с музыкой, песнями и пьяными клятвами пролетали сотни буйных эшелонов. В салон-вагонах, перемешанных с теплушками, проследовали на Кавказ банды Чередняка, Самохвалова, Гуляй-Гуляйко, Каски, Тираспольский батальон. С боем прорвался, и угнал за собой на Царицын поезд золота, анархист Петренко.

Не успевший отступить вместе со всеми отряд Черного Ворона долго плутал на Дону по тылам немцев, потом, пробившись в Сальских степях через фронт, повернул на Кубань отдыхать и пополняться.

В весенний праздничный день, когда улицы были полны гуляющим народом, отряд Черного Ворона вступал в станицу.

В тучах жирной пыли широким твердым шагом шли одичавшие за долгую войну солдаты западного фронта.

Матросы — первые удалцы и в боях и в грабежах — держались обособленными кучками, не мешаясь с другими.

Простоватых кареглазых парней и усатых мужиков Приднепровщины ото всех можно было отличить по серым шапкам-вязёнкам и заскорюзлым кожухам. Немцы выжгли их хутора и села, отобрали хлеб и скотину. Обалдевшие от горя, они бежали, сами не зная куда. Заглубевшие лица их были черны от пыли, а глаза горели решимостью и яростью.

В запряженном конями испорченном автомобиле тесно сидели очкастые юноши. С одинаковой горячностью они спорили обо всем понемногу и до хрипоты распевали гимны анархии.

В ободранных экипажах ехали отпетые бандиты и шпанка больших южных городов. Из огромного серебряного самовара кружками они пили пенистое цымлянское вино и тоже горланили песни.

Разно одетая рота шахтеров замыкала шествие.

Тачанки были завалены подушками и перинами, а поверх застланы серыми от пыли коврами. Перемерявшие ногами всю Украину и Дон, загнанные лошади всхрапывали, прядали ушами и, чуя близкий отдых, ржали. Заседланные строевые кони бежали на привязи за

тачанками: в гривах развевались ленты, на хвосты были навязаны пучки засохших полевых цветов. Цокали высветленные подковы, гремели пулеметные щиты, и орудия, тяжело приседая на зады, ныряли по ухабам. Накрашенные девки сидели в тачанках. В каждых девичьих коленях валялась пьяная голова партизана. Медведь, прикованный на цепь, бежал за возом и неистовым тоскующим ревом оглашал улицу. В разливе пыли, в гаме многих голосов обоз походил на кочующий цыганский табор.

В голове отряда на караковой, легких арабских кровей, кобыле струнко сидел в седле молодой атаман Черный Ворон. Шапка мелкого каракуля, примятая особенным залихватским способом, еле держалась на затылке. Высокий загорелый лоб был открыт. Начесанный смоляной чуб свисал чуть не до плеча. Над губой резался первый ус, скулы облеплял свалевшийся волос. Черкеску малинового цвета стягивал наборный узенький пояс. Расшитый веселым узором мягкий азиатский сапог еле касался носком стремени.

Непомнящего роду и племени атамана звали Иваном. Он доводился младшим и любимым сыном Михайлы Черноярова. Нравом и статью весь вышел в отца. Та же властность натуры, крутой характер, природное удальство и любовь к походной жизни. Мать, когда еще жива была, умаливала Ваньку ходить в школу, отец частенько парывал его вожжами, но мальчишку ничто не пронимало, от науки он отбился и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам, или в приазовские плавни к рыбакам. Лишь с первыми заморозками возвращался под родной кров — обветренный и ободранный, с руками, изорванными цыпками, с рублями, звенящими в холщевых карманах. В поисках диких неприступных мест Ванька забирался в такие чащобы, куда редко заглядывал и заправский охотник. Годов в пятнадцать он наловчился вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду; умел выследить кабанье гайно; по весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда пошел сазан метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских, с большой точностью по близким и далеким звериным крикам определял возраст зверя; тонко различал птичьи высвисты; знал, когда и какая птица живет в степи и какая в лесу; плавал же он так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку незамеченным и перебивал утят палкой. Будучи парнем, повадился Ванька хаживать за Кубань в леса, где, соследив волчьиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удальством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно — на сто шагов пулькой попадал в лезвие кинжала. Полевой и всякой хозяйственной работы Ванька с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовке всегда был первым. В будни и в праздник, щегольски одетый, шлялся по улице, горланя песни.

Одна ночка темная знала, откуда добывал казак деньги на гулевую жизнь. Болтали, будто удалец с отпетыми конокрадами знает, но пойман он не был ни разу. Раздолье светлых лиманов, дремлющий над водой камыш, путаные и неясные, как намек, тропы да запах пороха и крови—вот и все, что сохранила память о детстве.

Началась война.

Мобилизовали Дмитра. Ванька, не дожидаясь срока призыва своего года, решил ехать следом за братом. Старик наложил на сыновнее решение запрет: он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хотя часть забот по обширному хозяйству.

Ванька повалился отцу в ноги:

— Батя, благослови.

— Не моги, сукин сын.

— Отпусти.

— Принеси-ка мне плеть, — загремел взбешенный его упорством старик, — отпущу тебе с полсотни горячих!

Этот последний и памятный разговор происходил на базу. Сын не посмел ослушаться приказа и, храня видимую покорность, принес плеть.

— Ложись!

Ванька заупрямился. Первый удар просек кожу на лбу до кости. Слепленный болью сын сшиб отца с ног и пинками покатил по двору.

Старик проклял его, выгнал из дому и—самая большая обида—не дал строевого коня. Ванька, наперекор отцовской воле, добыл коня за Кубанью, пристал к одному из кавалерийских полков дикой дивизии и вместе с Шалимом отправился на западный фронт.

Война расковала дремавшие в казаке силы. За храбрость и смекалку его не раз представляли к наградам, но кресты и медали не держались на молодецкой груди: то штуку какую выкинет, то начальству согрубит—из чина урядника и хорунжего его опять разжаловывали в рядовые. Однажды за неуплату карточного проигрыша Ванька в кровь избил своего сотника, за что и попал под военно-полевой суд: ему грозил расстрел. Подоспевшая революция распахнула двери тюрьмы. На фронт возвращаться не захотелось. Не заглядывая в стоявшую в резерве бригаду, Ванька ухитрился вызвать Шалима и сманил его с собой.

После многих злоключений на Уманьщине они попали в банду атамана Дурносвиста. Вскоре Дурносвист был уличен в черной корысти и повешен своими. Выбранный ему на смену Сысой Букретов погиб в первом же бою. Ванька, назвавшись Черным Вороном, принял командование над бандой и повел ее на Украину. Под Знаменкой они дрались с гайдамаками, под Фастовым—с Петлюрой, под Киевом—с немцами и большевиками. Молодой атаман всей душой был предан порядку, но на первых порах, чтоб расположить к себе людей, поважал укоренившимся привычкам к грабежу, пьянству и всяческим бесчинствам. Потом, когда его положение укрепились, круто повернул

к дисциплине: сам стрелял трусов, рвал плети на барахольщиках, но проку от всего этого было мало. При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым на ветру, и Ванька с Шалимом скакали по степи, окруженные двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья—и шайка быстро возрастала до нескольких сотен. Боевая жизнь выработала свои права. Смертью карался лишь трус и грабитель, не желающий делиться добычей с товарищем, — все остальное было ненаказуемо. За всю войну Ванька не написал домой ни одного письма. Стороной слышал, что отец в станице атаманствует. С годами злоба еще больше распалилась в Ваньке. Он долго лелеял горделивые помыслы, как явится в родную станицу ватажком, как старики во главе с отцом выйдут встречать его хлебом-солью, как они будут упрашивать Ваньку принять в подарок чистокровного степного коня, как отец будет просить у него прощенья... Он помахивал от нетерпенья плетью, остро вглядывался в лица высыпавших ко дворам станичников и досадовал, что никто не узнает его.

Стремя в стремя с атаманом ехал облаченный в саван ад'ютант Шалим. Скуластое лицо его отливало чугунной чернотой. На поясе болтался заветный обрез и кисет с махоркой, на пику была насажена добытая в последнем бою под Батайском издающая зловоние седоусая голова немца в каске. Над ней вились мухи.

В обозе хранилось немало отвоєванных знамен всевозможных цветов и отцветков. В станицу отряд входил под черным знаменем, на котором светлыми шелками были вытканы скрещенные кости, череп, восходящее, похожее на петушиный гребешок, солнце, и большими гластыми буквами грозные слова:

Спасенья нет.

Капитал должен погибнуть.

Весь отряд втянулся в улицу.

Атаман привстал на стременах, обернулся и хрипким баском скомандовал:

— Весело!

Трубачи только и ждали приказания. Откашливаясь, они кинулись разбирать с возов нагретые солнцем трубы. Кларнетисты, багровея от натуги, начали пробовать инструменты: на их щеках заиграли ямочки, казалось, что музыканты заулыбались.

Оркестр хватил «Яблочко».

Две тачанки были сцеплены бортами и поверх, для звона, застланы досками. На движущийся помост легко вспрыгнула любимая жена атамана и лучшая в отряде плясунья Машка Белуга. Повертываясь на все стороны, она охорашивалась. Ее крыла шляпа с большое решето, писаный гайдамацкий кушак туго перехватывал талию, обтянутые драгунскими штанами стройные ноги дрыгали от нетерпенья, а высокая грудь была увешана содранными с чьих-то грудей крестами и орденами.

— Весело!

Машка кинула глазом туда-сюда, в ладоши хлопнула и пошла рвать:

Буржавой ты буржавой,
Хабур чабур лимоны ¹⁾,
Кругом наше право
И наши законы...

Отряд застонал, закачался в гулком реве:

Кыки брыки всяко право,
Гребем мы все законы...

Кто засвистал, кто принялся стрелять во взбунтовавшихся собак, и медведь, не переносящий лая, заревел во всю пасть.

Площадь не вмещала народу.

Не потешили старики Ванькину гордыню, не вынесли хлеб-соль и свою покорность.

Атаман поднял плеть:

— Стой!

Движение затормозилось.

Брякнув прикладами о черствую землю, встала пехота. Всадники опустили поводья, поспрыгивали с коней и начали разминать занемевшие ноги. Оборвался строй ликующих звуков оркестра. Умолк скрип колес.

Шалим, чуть коверкая слова, прокричал нараспев:

— Квартирьеры, разводи людей по квартирам! Бабы, разбирай постели, готовься к бою! Фуражиры, ко мне!

Над возами, вскидывая выше лошадиных голов, качали хохочущую Машку Белугу.

Матрос будил матроса:

— Тимошкин, вставай... Тимошкин, в деревне мужики горят!

Тимошкин не в силах был вырваться из объятий сна и только мычал. Ведро холодной воды ему на голову! Тимошкин, фыркая, поднял стриженую голову, воспаленные глаза его испуганно мигали:

— Где мы, в Таганроге? Горим или тонем?

— Хлюст малый,—заржали кругом,—с самого Дону не просыпался, всю неделю пьян был. Слезай, на Кубань приехали, сейчас с казаками драться будем.

Перед зданием станичного правления Черный Ворон остановился в раздумьи. Потом, переборов себя, ступил на скрипучее крыльцо и, окруженный свитой, ввалился в помещение.

Члены ревкома — по углам.

— Кто у вас тут старший клоун?—спросил атаман, окидывая зорким глазом вставших по стенкам комитетчиков. Он узнал кое-кого из станичников, но его, как ему казалось, не признавал никто.

— Я—председатель ревкома,—поднялся из-за стола Григоров.

— Откуда ты такой красивый взялся?—раздражаясь, вспыхнул Черный Ворон. Он видел Григорова впервые, и то, что верховодом хо-

¹⁾ Лимонами для простоты назывались миллионы.

дит не свой станичник, а чужак, рассердило его. — Атаман в станице есть?

— Был, мы его пугнули.

— Как его фамилье?

— Михайла Черноротов.

Ваньку кольнула догадка, что отца, может быть, и в живых давно нет. Он хотел об этом спросить, но сдержался.

Шалим, которого разбирало бешеное нетерпенье, перемигнулся с фуражирками и ротными раздатчиками, выкрикнул по-татарски ругательство и рассек плетью зеленое сукно на столе:

— Мать, спаситель, кровь...

Григоров откатнулся, поправил подпрыгнувшие на носу очки и насмешливо проговорил:

— Молодцы вы ребята, погляжу я на вас.

— Цыц!

— Помолчи, председатель, — угрюмо сказал атаман. — Не рад прибытию нашему? Пожалуй, собачья твоя душа, голодом захочешь уморить? И лошадей наших заставишь дрожать от голода?

— Кому подчинен отряд?—спросил Григоров.

— Ну, мне.

— А ты кому?

— Чорту.

— За кого же вы воюете?

— А ты что, начальник надо мной, меня допрашиваешь?

— Уу, анна сы!—как укушенный, завопил Шалим и взмахнул плетью. Атаман удержал его руку.

У дверей загалдели:

— Дай ему, Шалим, по бубнам.

— Али на базар рядиться пришли?

— Правильно, будя волынку тянуть, люди голодные, лошади не кормлены.

— Карачить его и концы в воду.

— Уйми своего молодца,—сказал Григоров.—Прикажи убраться отсюда лишним, тогда будем говорить о деле.

— Гонишь?—прищурился атаман, и ноздри его затрепетали.

— Гнать не гоню, но разговаривать сразу со всеми не желаю.

— Казак, что ли, — храбрый больно?

Григоров промолчал.

Не спуская с него глаз, атаман с нарочитой медлительностью вытянул из коробки маузер, спустил предохранитель и выстрелил через голову председателя в стенку:

— Гад...

Вбежал Максим.

Григоров стоял прямо. Сразу осунувшееся лицо его было серо, глаза немые.

— Вот стерва! — в восторге закричал атаман.— Не боится ни дождя, ни грому! Пойдешь ко мне в штаб писарем?

Максим сразу сообразил, в чем дело, загородил Григорова и, стараясь придать голосу твердость, сказал:

— Стой, товарищ дорогой. Напрасно вы нашему председателю обиду чините. Он расейский и порядков наших не знает.

— Чего ж он порядков не знает?

— В председателях недавно ходит, потому и не знает. Станица у нас на беспокойном месте. Ты вот пришел—по зубам бьешь, а завтра кто залетит—в зубы даст... Никак невозможно больше недели в председателях высидеть, морда не терпит.

— Морда не терпит?!.— Черный Ворон заржал. За ним прорвалась гоготом вся свита. Они хохотали, захлебываясь чихом, кашлем. Высмеявшись, атаман спрятал маузер, торопливо, не попадая огнем в папиросу, закурил и изложил свои требования.

— Выставим в срок,—пообещал Максим,—и угощение, и хлеба печеного, и овса, и всего, что полагается, предоставим в точности.

— Ты тоже комиссар?

— Я—простой,—ответил Максим.

— Твоя фамилия — Кужель?

— Так точно.

— Гляди, не исполнишь приказа, голову сниму.

— Будьте покойны, предоставлю.

— Добре. Хлопцы, гайда!

Гости ушли.

— Чорт его батька знает, откуда он обо мне разведал?—обвел Максим всех удивленными глазами.

— Они, эдакие, чисто все знают. Чего-то морда больно знакомая, будто видал я его, только не припомню где, — сказал Ширяй.

— Чего будем делать?—спросил Васянин.

— Послать на фронт вызывную телеграмму,—предложил Меденюк, — вызвать Савкина с нашим полком.

— Долга песня.

— А не попытаться ли разоружить банду своими силами? — спросил Григоров.— Добром с ними, как видно, не поладишь.

— Народу надежного не хватит,—сказал Максим.— Винтовок и патронов я привез, а народу не наберем.

— Где винтовки?

— На станции... И Галаган с моряками на станции, паровоз починяют.— Он рассказал кое-что о своих мытарствах в городе.

— Не взять ли твоего Ваську за бока?—спросил Григоров.

— Вряд ли их, чертей, обротаешь... На фронт торопятся, и злые до бесконечности: дорогой бить некого, так они в телеграфные столбы все стреляли.

— Все-таки надо связаться... И немедленно...

— Пóпробовать можно.

Комитетчики, распределив между собой районы, отправились по станции собирать дань для нашельцев, а Максим с Григоровым побежали на станцию.

Приготовления к пиршеству начались еще засветло.

Партизанам тесно показалось в хатах. Столы были вытащены на улицы и площадь. Под окнами кухонь, ровно пьяницы у кабаков, увидались собаки. Засучив рукава и подоткнув исподницы, бегали раскрасневшиеся бабы. Столы ломились под обилием угощений: каравай пшеничного хлеба, пироги с мясом, жареная птица, соленые арбузы, чугуны дымящейся баранины, ведра кислой капусты и моченых яблок.

За богатым столом, развалившись на плюшевом диване, сидел, окруженный приспешниками, Черный Ворон. Со своего высокого сиденья—под ножки дивана были подложены кирпичи—он видел всех, и его все видели.

Вестовая серебряная труба проиграла сбор.

Когда люди расселись за столы, атаман поднялся и вытянул руку: — Хлопцы...

Площадь притихла... Атаман не любил многословия, краткая речь его была подобна команде:

— Хлопцы, нонче гуляй, завтра фронт! Как мы бесповоротно зараженные революцией,—не поддадимся ни богу, ни чорту! Дальше пойдем, по всему белому свету пойдем, пока ноги бегают, пока кони наши носят нас! Кровь по колено, гром, огонь...

Он опрокинул ковш на лоб. Услужливые руки протягивали ему огурец, корку хлеба, хрящ из осетровой головы.

Площадь гремела:

— Ура батькови!

— Будем панов бить, солить.

— Отдай якорь!

— Вира! Ход вперед!

— Гу-гу-уу...

— Спася нет, капитал должен погибнуть!

— Хай живе отоман и вольное товариство!

Крики схлынули и понемногу заглохли.

Все набросились на жратву. Некоторое время слышалось лишь чавканье, хлопанье пробок, звон посуды, треск разрубаемых тесаками мозговых костей, потом голоса загудели с новой силой, развернулась песня, полились бабы визги да смех.

В церковной ограде за многими столами, застланными холстом под одно лицо, гуляли шахтеры.

Февральская революция блеснула над Донбассом, как далекая заря. Шахтеры на свою беду плохо разбирались в политических тонкостях. На митингах — проклятия и зубовный скрежет, обольстительные призывы и горы обещаний. Первые выборы дали меньшевикам и

эсерам победу — они возглавили рудничные советы, засели в профсоюзах. Чумазая сила опять была загнана под землю. Социалисты приступили к мирному сотрудничеству с промышленниками. Пока им удавалось выторговать у хозяина копейку прибавки, хлеб дорожал на рубль. Владельцы, выжидая благоприятных событий, отсиживались в своих особняках. Конторщики попрежнему обжуливали горняка при расчетах. Управители мозолили глаза, раскатываясь на заводских рысаках. Подтертое и разболтанное за войну оборудование предприятий не сменялось, а нормы выработки беспрерывно повышались. Наконец, терпенье лопнуло. Зашумели забастовки. Промышленники в ответ закрыли до трехсот рудников. Многие тысячи безработных с неукротимой злобой в сердцах и с котомками за плечами разбрелись кто куда... Скоро по всей стране хватила октябрьская гроза. Шахтеры воспрянули духом. Генерал Каледин, по настоянию шахтовладельцев, прислал на рудник казаков. Шахтеры взялись за кирки и обушки. Началась гражданская война. Рабочие казармы и землянки опустели. Одни разбрелись по деревням ковырять землю; другие утекли к Махно; иные пристали к отрядам Антонова-Овсеенко, Сиверса, Жлобы; не мало увели за собой под Царицын Артем и Ворошилов. Вольная боевая артель под командой забойщика Мартьянова целую зиму воевала с казаками в верхне-донских округах, и потом, спасаясь от немецких пуль, увязалась за Черным Вороном.

Самогон цедили из бочат, черпали из ведер.

— Во! — сверкал из-под окровавленного бинта загноившимися глазами и размахивал кожаной шляпой пожилой шахтер. — Это жизнь!.. Бывало, идешь мимо господской кухни и нюхаешь, как мясными щами пахнет, а нынче вот оно... Радуйся, брюхо, ликуй, душа!

К нему тянулись чокаться.

Винтовки были составлены в козла. Пахло перегорелой вонью, исторгаемой переполненными желудками. Два парня палили над костром насаженную на пику свинью. Черные, проросшие грязью, руки рвали куски мяса. Потные лица блестели довольством; по щетинистым подбородкам стекал жир.

В хатах огней не зажигали. В окнах смутно мелькали испуганные лица. Шайки бродили из двора во двор, как с крестным ходом. Гостей встречал лай взволнованных собак, плач детишек, бабья ругань и причитанья.

Грохот в дверь:

— Хозявы...

— Дома нету, — отзывается из-за двери дрожащий голос, — одна я с ребятишками.

— Оружье есть?

— Боже ж мой, да какое у меня оружие...

— Отпирай... Обыск.

— Господи... Ратуйте, люди добрые.

Дверь трещит и рассыпается под ударами прикладов.

— Говори, куда пулеметы спрятала? Мы знаем... Где сундуки?— придушенный шопот. — Гроши е?

— Откуда у меня грошам взяться?.. Я вдова, солдатка...

— Нам к тебе под подол некогда заглядывать. Ребята, приступи!

— Карау-у-ул...

— Тю!

Под железными пальцами хрустит бабье горло.

— Товарищи... Черти, у меня и мужа убили на германской войне... Вот документы, читайте, ироды.

— Мы неграмотны.

Штык подходил к любому замку. Из сундуков летели праздничные юбки, сувои полотна, цветные платки и припасенное дочерям приданое.

— Ломи шубу.

— Не дам... Не дам шубу.

— Брось, баба, зачем тебе шуба? Тебя твоя толстая шкура греть будет.

Дом после обыска, как после пожара.

Из дворов выходили, согнувшись под тяжестью узлов. Озираясь и пересвистываясь, убегали в свой табор.

Черный Ворон, пошатываясь и шагая через пьяных, проходил по площади. Время от времени полной горстью он разбрасывал серебряные деньги и покрикивал:

— Все ли, хлопцы, пьяны, все ли сыты?

Кто подносил ему чарку, кто лез целоваться.

Плачущие бабы ловили его за полы черкески:

— Шаль ковровую... Золото.

— Кто же тебе виноват? Прятала бы дальше.

— Растрясли... Обобрали...

— Не наживай много, не оберут.

Старый казак повалился ему в ноги:

— Сынок,.. Господин атаман, овес выгребли... Двух коней с бричкой угнали.

— Ограбили? — спросил он, тронутый горем старика, и, выдернув из-за пояса наган, сунул ему в руки: — Иди и ты ограбь кого-нибудь.

Кругом заржали.

Атаман искал Машку и нигде не находил ее. Неожиданно в створе, за церковной оградой, послышался знакомый смех. Он остановился... Потом влез на ограду и, придерживая шашку, прыгнул в темноту. Из-под куста ахнув вскочила растрепанная Машка Белуга. За ней поднялся, отряхиваясь, черноусый шахтер, в котором атаман узнал пулеметчика Давыдку.

Черный Ворон, нахлобучив шапку, точно готовясь к драке, шагнул к своей подруге:

— Ты что ж, трепки захотела? Да я из тебя, змея гробовая, требуху вырву!

Машка пропятилась:

— Я тебе не наймичка... Я сама себе вольная.

— Цыма, сука таборная, — бешено закричал атаман, хватаясь за кинжал. — Гайда за мной!

— Дудки...

Сверкнул кинжал —

— пулеметчик на лету поймал кинжал за лезвие и сломал его: в руке атамана осталась одна рукоятка.

Шахтер загородил Машку и поднял руку:

— Отнюдь!

— Ты, г...., в чужое дело не тасуйся.

Они сцепились драться, и оба рухнули на землю.

Девка завизжала благим матом.

Живо набежали партизаны.

Дерущихся розняли, пообрывали с них оружие. Шахтеры приняли сторону своего товарища, солдаты и матросы горой встали за атамана. Готова была вспыхнуть всеобщая потасовка, когда подошел командир шахтерской роты Мартьянов. Грозным окриком он приказал своим людям разойтись. Шахтеры не выдали Машку и, усадив ее за свой стол, наперебой принялись угощать, подсовывая лучшие куски.

Атаман, оставшись с ад'ютантом с глазу на глаз, сказал:

— Шалим, приготовь за станицей две тачанки... Вымани лярву от этих коблов... Когда все будет готово — доложи... Я разорву ее лошадьми.

— Слушаю, господин атаман, будет исполнено.

— Сколько раз тебе говорил, — нахмурился Ванька, — не зови меня господином... Раньше я был прохвост, а теперь товарищ. Понял?

Потянуло Ваньку домой. Захотелось хоть одним глазом глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям. Терзала мысль об отце — жив или нет? Весь вечер поджидал, что явится кто-нибудь из домашних и позовет его. Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался.

Окна были прикрыты ставнями, ворота на запоре.

Он постучался. С хриплым лаем кинулись собаки. Калитку открыл работник Чульча и, не узнав молодого хозяина, преградил ему путь. Не в состоянии выговорить ни слова, Ванька оттолкнул калмыка и, отбиваясь от собак плетью, перебежал двор.

В сенных дверях его встретил сам Михайла.

— Батяня...

— А-та-та...

Ванька кинулся было целоваться. Старик отсунул его в грудь и хотел закрыть дверь, но сын уже протиснулся в сени.

— Ты так-то, батяня? — глухо спросил он.

— Серый волк тебе батяня, огрыза собачья.

Сын промолчал и прошел в дом.

По лавкам вдоль стен сидели старики — Карпуха Барданов, Трофим Савич Маслаков, Селенкин, братья Чиликовы.

— Здорово, казаки, — неласково сказал вошедший.

— Поди-ка добро жаловать... Здоров будь, атаман... — В голосах угадывалась насмешка.

У Ваньки зашумело в ушах, злоба колом встала в горле. Огляделся... Старые в дубовом окладе стенные часы, выпустив всю цепочку, стояли. Стол был завален немытой посудой. Домашних никого не было видно.

— Где же... все? — спросил он, обращаясь к отцу.

— А тебе кого надо?

— Ну, братья, бабы?

— На улицу побегли твоими молодцами любоваться. Меня, как старого кобеля, домовничать оставили, а я тоже не прочь бы подивиться на твой балаган.

— Живы?

— Кашляем... Бог смерти не дает.

— Не ждали?

— Все глаза проглядели, — усмехнулся, подняв рыжую бороду, Селенкин, доводившийся Черноярным дальним родственником. — Рассказывай, казак, об усердии по службе и об успехах по фронту...

— Он, может статься, и казаком себя уж не считает... Нонче, ведь, всех на граждан повертывают? — подкольнул старший Чилимов.

Ванька вскочил и опять сел:

— За обиду и за большую грубу слушать мне речи ваши, старики.

Загалдели все разом:

— Творец небесный...

— Какой ты, братец, стал чванливый.

— Помнишь, Ваня, как я тебя с горохом на огороде поймал, да, спустив портки, высек? Давно ли было?

— Зачем пожаловал? — спросил отец, подойдя к сыну вплотную и не сводя с него свирепых глаз.

Ванька сидел на лавке прямо, как в седле, и чувствовал на лице горячее дыхание старика.

Михайла, с силой распуская пальцы и вновь свертывая их в кулак, говорил сквозь сцепленные зубы:

— Што, бесовский вихрь крутит тебя?.. Лба не крестишь?.. В кабак пришел? Шапку долой!..

Ванька пересунул шапку с уха на ухо и, задыхаясь от обиды, сказал:

— Уймись, батя... Не оказывай храбрость свою.

Отец сорвал с него шапку совсем с чубом и заорал:

— Руки по швам, сукин сын!

Первый же удар навесистого кулака заставил Ваньку волчком завертеться по горнице... Он упал под ноги старикам, стукнулся затылком о чугунную ножку швейной машины и потерял сознание.

Михайла сыромятным ремнем прикрутил сыну руки за спину и бросил его в подпол.

— Вася, друг, выручай.

— Чего там у вас?

Максим бегло рассказал, Григоров добавил.

— Какой они партии?

— Партия дери-бери... Кадушки рядушки — ни с чем не расстаются.

— Далеко до станицы?

— Версты две.

Васька оглядел набившихся в вагон моряков:

— Ну, как, ребята?

Моряки, ссылаясь на незнакомство с обстановкой, заговорили разное. Одни советовали не ввязываться не в свое дело, другие невразумительно мычали, многие склонялись к мысли, что нужно дождаться утра, выяснить положение и уж тогда приступить к разгрому банды.

— Товарищи, время не терпит, — сказал Григоров. — Меня удивляет ваша нерешительность. Положение яснее ясного, банду необходимо разоружить, и чем скорее, тем лучше.

— Не горячись, председатель, — ответил Васька. — Они от нашей руки не уйдут. — Кто удалой? — обратился он к своим. — Кто пойдет со мной на разведку?

Вызвались почти все.

Он выбрал двоих — шкипера Суворова и рябого Тюпу, отдал распоряжение выставить усиленную охрану и приказал никому не отлучаться из эшелона до его возвращения.

Григоров мигнул Максиму.

— Вася, и меня прихвати, — попросил Максим, — я тут все ходы на перелет знаю, мигом доведу.

— Пойдем, дружище... Мы с тобой, как рыба с водой.

Вчетвером они вышли из вагона и, как бледные тени, пропали в лунной степи.

Над станицей брезжило зарево.

В черных садах пылали костры.

На высоком крыльце нарядного домика кучка пьяных, окружив о. Геннадия, шашками срезала его седые космы.

— Детки, помилуйте...

— Едем, поп, с нами, пулеметчика в роте не хватает.

— Сыночки, пожалейте.

— В кашевары его! В кобыльи командиры!

Пострадав, его отпустили. Подобрал полы подрясника, он победил прочь от своего дома.

Безгубый, с утиным носом мальчишка, кривляясь, пропел:

Ах, ты, яблочко,
Революция.
Скидай, поп, штаны,—
Контрибуция...

Между столами, вздымая пыль, мчались танцующие пары. Через костры, сверкая голяшками, прыгали девки. Кто спорил о политике, кто просто так развлекался; упившиеся валялись вповалку. Бритомордый эстрадный куплетист и чахоточный солдат с торчащими бескровными ушами стояли друг против друга, как драчуны, и ругались на спор, кто кого переругает. Под ноги им прямо на землю был брошен ворох мятых денег, пачки папирос, сломанный бинокль, серебряная спичечница—все это предназначалось победителю. Ругателей окружали гогочущие знатоки и тонкие ценители матерщины. Матрос Тимошкин, держа в зубах кинжал, а в руках по букету сирени, выбивал на столе чечетку.

Со всех сторон его и ругали и подбадривали:

— Ножку, ножку дай!

— Класс.

— А ну, пусти тройную дрель...

— Чаше!

Со стола валились бутылки, сползали тарелки.

Васька выпил с солдатами, повертелся среди матросов, на воровском языке перебросился парой шуток с блатными, поболтал с державшимися отдельной компанией анархистами, подтянул шахтерам,—песнь рвалась из их крепких глоток подобна воплю. Потом он разыскал своих спутников, отвел в сторону и отдал краткие распоряжения.

Максиму:

— Две парных брички за станицу, к мельнице. Скоро!

Шкиперу Суворову:

— Шахтерского командира—вон с черными усами—вымани за станицу, придержи до моего прихода. Понятно? Живой ногой!

Моряку Тюпе:

— Выбери солдата с бородой погуще, тащи за станицу.

— Сбор у мельницы?—переспросил туповатый Тюпа.

— У мельницы, через полчаса. Кругом арш!

По окраине площади толпились станичане и негромко переговаривались:

— Вот она комуния...

— И вовсе, бабочки, это не комуния... Анархисты, слышь, да какие-то экспроприатели.

— Приятели... Мне бы хорошую казачью сотню с плетями, я бы им раздоказал...

— У дедки Сафрона двух коней забрали.

— Захотят, и жену возьмут, и крест с шеи снимут... Отвернулся от нас господь-батюшка.

— Беда.

— Наши советчики тоже, видать, хвосты поджали?

— Куда там.

— Дожили до хорошего...

Моряк Тимошкин бесом вертелся в толпе и рассказывал:

— ...Немцы обдирают Украину, как козу на живодерне... Гайдамаки торгуют на два базара: и германцы им камрады, и Скоропадский отец родной. Мы не захотели хохлацкому богу молиться и драпанули сюда... Чистыми шашками прорубились через все фронты, пулеметы у белых добыли, а пушки под Каялом у красных сбарабали. Отдохнем у вас недельку и всей хмарой назад посунем... Грудь стальная, рука тверда—вперед, вперед и вперед!

— А в Крыму, матросик, тоже будорага?

— Гу-гу... Война в Крыму, весь Крым в дыму—ни хрена не поймешь... Большевики продали в Бресте Украину, сейчас ведут в Ростове мирные переговоры с немцами, а завтра столкнутся с буржуями и запродадут всех нас чохом.

Через толпу протолкалась, оправляя растрепанные волосы, Анна Павловна.

— Товарищи, я не понимаю... Я не согласна... Идейный анархизм... Ваши... Швейную машину, я ею кормлюсь...

— Кто такая?

— Я—учительница.

— Учительница? Машину? Разве ж мыслимо! — возмутился Тимошкин и жирно сплюнул.—Да я их, кудряков, своим судом раскоцаю. Кто у вас, извиняюсь, не знаю имя-отчества, машину стартал?

— Где мне найти. Все вы одинаковы, ровно вас, прости господи, одна мать родила.

— Расписку дали?

— Вы смеетесь? Какая там расписка, думала—сама живая не уйду.— Все еще с надеждой она вглядывалась в веснущатое, оживленное лицо моряка.

— Шиханцы портачи, я их знаю. Ни живым ни мертвым расписок не дают... Перестаньте, мадам, кровь портить, мигом разыщу.— Он убежал и, действительно, скоро вернулся с машиной.

— Вот спасибо, вот спасибо.— Она взялась было за машину, но тут же опустила ее.

— Тяжело? Донести? Мне — раз плюнуть.

— Если вы так любезны...

Всю дорогу Тимошкин врал о том, как он где-то на себе таскал якоря и паровые котлы.

Остановились перед школой.

Анна Павловна позвонила.

— Кто там? — окликнул из-за двери трепещущий детский голос.

— Это я, Оленька, не бойся.

— Мамачка, мамачка... — Дверь приоткрылась. Увидев незнаемого человека, дочь замолкла.

— Машину отыскала, слава богу. Нашелся вот добросовестный товарищ, помог донести.

— Я так за тебя боялась, мамачка, так боялась.

— Заходите, товарищ. Как вас зовут? Не хотите ли чаю?

Матрос поставил машину у порога и встал во фронт.

— Позвольте представиться, Илларион Петрович Тимошкин. — Он потряс им руки и обратился к дочери: — А вас Шурой звать?

— Нет...

— Ха-ха... А я думал Шурой. Люблю имя — Шура. Ну, все равно. Чаю, между прочим, выпью с удовольствием.

На столе мырлыкал самовар. Анна Павловна заварила чай. Востроглазая Ольгунька, с голубым бантом на макушке, сидела, ровно заяц, насторожив уши. С любопытством, смешанным со страхом, исподлобья она разглядывала моряка.

По первому стакану выпили молча.

Быстро освоившись, Тимошкин вынул карманное зеркальце, оправил прическу и спросил:

— Чего ж вы, барышня, боялись?

— И сама не знаю... Страшно одной в пустом доме.

— Это справедливо, одному страшно... Был у нас под Луганском случай... — Рассказал потрясающий случай из своей боевой жизни; потом, забавляясь, погонял в стакане клюквинку и скосил глаза на Анну Павловну. — И хорошее жалованье получаете?

— Какое... — Махнула она рукой. — Чуть ли не каждый месяц власть меняется, в школу никто носу не показывает.

— Возмутительно, — подскочила принимавшая близко к сердцу огорчения матери Ольга и выпалила запомнившуюся газетную фразу: — Вы понимаете, без народного просвещения все завоевания революции неизбежно пойдут на смарку.

— Обязательно на смарку, — поддержал моряк. — Им, сволочам, только пьянствовать... — Он небрежно полистал подвернувшийся под руку учебник геометрии и спросил: — Учитесь?

— Увы, в школе почти всю зиму занятий не было, дома немного занимаюсь.

— А вот я шесть годов проучился в гимназии, потом надоело. «Отпустите, говорю, мамаша, на военную службу». «Не смей, дурак», отвечает она. Я не послушался и убежал во флот, скоро чин мичмана получу, я отчаянный...

Заложив руки в карманы широченного клеша, Тимошкин прошелся по комнате и остановился перед поразившим его внимание портретом старика в холщевой рубаше:

— Папаша?

— Нет, это писатель Толстой,—ответила Ольгунька, и в глазах ее вспыхнули веселые огоньки.

Со скучающим видом моряк подошел к стоящему на подоконнике глобусу и крутнул его — замелькали моря и материки.

— Где ж тут мы находимся?

— Олечка, покажи.

Ольга остановила крутящийся, загаженный мухами шар и повела пальцем:

— Вот вам Европейская Россия... Вот Украина, Кавказ...

— Вы там были?

— Не-ет.

— Не были? — удивился моряк и с сожалением посмотрел на нее. — Ваша молодая жизнь кошмар-комедия... Нонче живем, резвимся, а завтра, представьте, подохнем и ничего не увидим... Хотите—дам я вашей судьбе чудесное решенье?

Ольга вопросительно посмотрела на мать.

— Едемте со мной,—продолжал матрос, приглаживая торчащие непокорными вихрами рыжие волосы.—В пище, мануфактуре, или в чем другом недостатка не будет.

— Товарищ, чай простыл,—сказала Анна Павловна.—Иди, детка, тебе спать пора.

Дочь встала, поклонилась и ушла за перегородку в отцов кабинет, где спала на диване.

Тимошкин поговорил еще немного о политике, о зверствах немцев и умолк—ему стало скучно болтать со старухой.

На огонек забрели новые гости. Дверь заходила под нетерпеливыми ударами.

Анна Павловна, оправив трясущимися руками платок, вышла.

Моряк заглянул в комнатушку.

Ольга сидела на письменном столе, при появлении матроса вскочила.

— Вы... Вы... Что вам?

— Пойдем, барышня, гулять, на улице весело.

— Я? Нет... Поздно... Слышите, там кто-то ломится?—побуждаемая желанием защитить мать, она метнулась к двери.

Тимошкин схватил ее за руку, рывком привлек к себе и поцеловал в пылающую румяную щеку. Она закричала не своим голосом, когтями ободрала ему морду и выскользнула из объятий.

— Барышня...

— Нахал... Уходи сию же минуту! — она терла щеку, точно обожженную.

Тимошкин, выкатив помутневшие глаза и бормоча что-то невнятное, пошел вокруг стола.

Она загородилась креслом.

В дверях показались рожи.

Резко вскрикнула, видимо, ударенная кем-то, мать.

Ольгунька, не помня себя, бросила в матроса бронзовой чернильницей, грудью ударила в жиденькую оконную раму и в звоне стекла выпала в сад.

Моряк выпрыгнул за ней, перемахнул забор и, спотыкнувшись, растянулся на дороге.

Проходивший по улице Васька поднял его и поставил перед собой:

— Откуда сорвался?

— Годок, не видал, не пробегала такая курносая, губы бантиком?

— Не догонишь, далеко ушла. — Васька разглядел Тимошкину рожу, залитую чернилами, но в темноте не разобрал и подумал, что это кровь. — Ранен? Чем это она тебя шарахнула?

— Ну, ее счастье, что убежала... Все равно покалечу задрыгу, не уйдет от моей мозолистой руки.

— Брось, годок, и хочется тебе с бабой возиться? — начал его Васька успокаивать. — Пойдем со мной.

— Куда?

— Дело есть.

— Ящерица поганая, да я ж из нее... Дело, говоришь, есть? А ты из какой роты? Чего я тебя не признаю?

Скоро они выбрались за станицу. У мельницы покуривали и негромко переговаривались четверо, пятый спал, свернувшись на бричке. Все расселись на две брочки и погнали к станции,

В штабном вагоне сеялась полутьма, моталось пламя одинокой свечи, на столе шелушились хлебные крошки. Стены были увешаны картами, похабными карикатурами, оружием и одеждой уже полегших спать членов штаба. Спали они на ящиках со снарядами и взрывчатыми веществами, которыми было занято полвагона.

— Вставай, поднимайся, братва! — крикнул Васька вбегая: — Встречай делегацию...

Тимошкин еще раньше смекнул, что попал не в свою... Пожимая руки членам штаба, он с тревогой спрашивал:

— Отряд? Черноморцы? Давайте соединиться...

— С какого корабля?

— С «Гангута». Балтик.

— К порядочку,—постучал Васька по столу.—Товарищи, вы привезены сюда на боевое совещание. Дело такого рода... Отряду вашему были отведены в станице квартиры, выставлено угощение, уважены все ваши партизанские требования... — Он помялся, подыскивая подходящие слова. — Пришли вот ревкомовцы, жалуются на вас... Я им и поверил и нет. Дай-ка, думаю, сам разведую, мало ли у нас творится дурости, хотя революция с невинными жертвами не считается... И разведдал, мать вашу в лоб, откуда столько громщиков и шпанки набрали? Таковую шатию надо разоружить. Силы у меня хватит... Силой своей, безо всяких заседаний, мог бы всех вас по станице выстелить, но, — он

возвысил голос, — зачем ненужную и лишнюю кровь лить. Надеюсь, что товарищи шахтеры, товарищи моряки и лучшая часть товарищей солдат помогут мне потрепать шпанку... Кто желает высказаться?

— Мы фронтовики,—сказал пьяный, пьянее грязи, солдат,—на родину пробираемся и никому винтовок не сдадим... Как можно без винтовки, раз у вас тут кругом банды гуляют?..

— Корешок, — взывал одновременно с солдатом и Тимошкин:— На своих руку поднимаешь? Где ребята? Давай, веди отряд в станицу, брататься будем.

Максим и Григоров ругались с шахтерским начальником Мартьяновым.

— Черный Ворон, братишка... Вместе через фронт прорывались, с германцами воевали... К тому же и от своих мест мы далеко ушли, возврату нет. Бей, кроши, вырывайся, пропадай душа!..

— Пойми, друг, — подступал к нему Григоров, — вреда от вашего атамана больше, чем пользы... Погуляете, засвищете, только вас и видал, а против советской власти вся округа подымется.

— Подымутся... А зачем вы тут посажены?.. Бей с козла, топчи гадюк, чтоб и не храпели!

— Справедливо,—сказал Максим,—как гадюки шипят и из-под каждой подворотни кусают.

— У нас в отряде ни одного контрика нет, — твердил свое шахтер. — Далеко мы от своих мест зашли, нас страх держит, куда без атамана денемся?.. Он — парень ухо с глазом.

Они отжали его в угол, продолжая агитировать.

— Какая ваша забота за буржуйское добро? — орал солдат. — Али им, удавам, пощаду давать?

Егорыч лез на солдата с кулаками:

— Вы же самая беднота, ваш долг революцию защищать, а не лазить тут баб щупать, да сметанные горшки вылизывать... Со своими буржуями советчики сами справятся, а наше с тобой место, суконное твое рыло, на позиции... У меня сын единственный погибает, сам не желаю даром есть хлеб советский, а вы тут по тылам молочко хлебаете!

Васька поднялся и властно крикнул:

— Разговору нет, все решено... Именем революции приказываю...

— Хочешь загнать в бутылку и заткнуть? — перебил его Тимошкин.—Врешь, стерва, и сам далеко не упрыгнешь!—Он выхватил из-за пояса рубчатую, большой взрывчатой силы, английскую гранату и попятился к стенке, чтоб всех видеть. — Хана! — прерокошенное, в чернильных подтеках, лицо его было полно решимости, рука с гранатой занесена над головой.

Васька опешил.

Все замолчали.

В вагоне вдруг стало глухо, как в гробу. Тикающий часовой маятник, точно пунктиром, подчеркивал тишину. Хлопьями плавала копоть.

— Стой, падло, — выговорил Васька. — В вагоне три сотни снарядов и шесть пудов динамита. Ты можешь изо всего эшелона смолу сделать.

Тимошкин, оскалив зубы, молчал. В глазах его испугу было мало.

— Застрели меня одного, ежели считаешь вредным, — продолжал Васька...

Затем, будто боясь кого испугать резкостью движения, он осторожно отстегнул кольт и, держа его за дуло, положил на край стола ручкой вперед.

Еще большую минуту длилось молчание.

Тимошкин медленно опустил руку, подшагнул к столу и положил гранату рядом с кольтом.

— Сдаюсь.

Егорыч, стоявший ближе всех, хлестнул Тимошкина по уху:

— Печенег! Ты — пятое колесо в нашей коммунистической телеге...

— И я сдаюсь, — поднял солдат трясущиеся руки. — Я, братишки, сам служил в Дебальцове в большевистском полку, только забыл правильное название... Я, братишечки, сам два месяца вел бесплатную агитацию.

— Ну, а ты? — в голос спросили несколько человек, глядя на Мартянова.

— Этот с нами, — ответил за него Григоров.

Шахтер начал распоясываться.

— Оставь оружие при себе, — сказал ему Васька. — Беги в станцию. Поручаю тебе и твоим ребятам захватить батарею и атамана. Прикажи всей роте сбросить шинели и рубашки, чтоб я мог вас отличить от прочих...

— Будет исполнено в точности... Уж я сказал, так умерло... — Он пожал наспех руки Максиму с Григоровым и вышел.

В суматохе солдат успел улизнуть.

— Этого, — ткнул Васька пальцем в Тимошкина, — списать!

— Счастье морское, — заплакал он, подталкиваемый к выходу. — Братишки, за что?

У кирпичной расклеванной пулями стены Тимошкин отдал якорь.

— Как в эшелоне? — спросил Васька.

— Спят.

— Поднять.

— Есть поднять, — ответил Суворов и передал дежурившему в дверях вахтенному: — Поднять людей.

— Есть поднять людей, — отозвался вахтенный и крикнул дневальным: — Будить людей...

Дневальные побежали по составу:

— Полундра!..

— В ружье!..

— В ружье!..

Из вагонов, как град, сыпались одетые, вооруженные моряки и строились перед зданием станции.

— Скатить с платформы два орудия, — приказал Васька.

— Есть, — ответил Суворов и через плечо бросил вахтенному: — Приготовить два орудия.

— Командоры, к орудиям! — протянул нараспев вахтенный. Из темноты моментально откликнулись:

— Есть два орудия!

— Больше приказаний не будет? — спросил Суворов, подтягивая пояс.

— Иди... Я сейчас тоже лечу.

Отряд выстроен. Бубнили низкие голоса. В зубах вспыхивали раздуваемые ветром огоньки папирос. Лица были неразличимы.

Васька с подножки вагона выкричал, пересыпая матюками, краткую гневную речь.

Понимая важность предстоящего, его выслушали с строгим молчанием, без обычного рева. Соблюдая полнейший порядок, вышли за станцию, развернулись в две цепи и двинулись по темной степи.

Ольга не помнила, как ее вынесло на площадь, в самое пекло. Перепрыгивая через пьяных, подгоняемая свистом и улюлюканьем, она свернула в боковую темную улочку и бежала до полного изнеможения... Болотистый берег Кубани, тусклый блеск воды. Забралась в чашу камыша и по нижнюю губу погрузилась в теплую вонючую воду.

Колотящееся сердце готово было, казалось, выскочить через горло. В висках звенела кровь. Остро болела кисть руки, в которой застряли осколки стекла. Над непокрытой головой шапкой висели комары. Со дна били родниковые ключи, ноги начали неметь. Ольга, стуча зубами и дрожа всем телом, выбралась на берег и, как волчонок, далеко обегая жилье, направилась к кладбищу.

Занимался рассвет.

Неожиданно навстречу из-за бугра высыпала цепь матросов в черных шинелях и в бескозырках с развевающимися ленточками. Они огибали станицу широким полукругом.

Бежать было некуда. Теряя сознание, она повалилась, точно подкошенная.

Цепь прошла, не останавливаясь.

Григоров, отставший от строя по причине одышки, наткнулся на Ольгуньку и обмертвел. Потом он поднял дочь и, чувствуя сквозь платье теплоту живого тела, на руках понес ее в станицу.

Моряки вошли в станицу сразу с трех сторон.

Встревоженные улицы гудели. Из дворов выкатывали тачанки, на лошадей на ходу набрасывали хомуты. Скакали всадники, бежали, отстреливаясь, солдаты, и часть обоза уже гремела по мосту. Бесстрашные казачки рубчатыми вальками и ухватами молотили валявшихся

пьяных. В спины бегущих жители палили из дробовиков. Шахтеры на руках выкатили пушки на середину улицы и били по мосту прямой наводкой. Снаряды ложились удачно: по реке поплыли подушки, гогочущие гуси и картонки со шляпами. Мост запылал.

В тот же день благодарная станица провожала отряд моряков и присоединившуюся к ним роту шахтеров на станцию. Максим с Васькой при прощании расцеловались.

(Окончание следует.)

Подкидные дураки

Рассказ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

На службе Ракитников был молчалив, слегка угрюм, но не мрачнее, чем всегда. После разрыва с женой его скверное настроение никому не казалось странным. Не знаю,—при особой какой-нибудь наблюдательности можно было бы заметить в нем отклонение от обычного. Но обстановка учреждения—шкафы с делами, телефоны, справки, столы, где — чернильные пятна, окурки и мертвящий душу шелест бумаг — накладывает особую печать рассеянности на людей. Словом, наблюдать было некому.

Это было вчера, в субботу.

Что бы дождю итти в будни! Так нет, — с утра холодной сыростью завалило все небо. Когда-нибудь, конечно, наука додумается до всеобщей плановости и какими-нибудь искусственными лучами по воскресеньям станет разгонять гниль и ржавчину с неба, чистить его как медный таз... Но ведь — когда это будет?

Ракитников проснулся. По оконным стеклам течет. В мокрых крышах отсвечивает бело-серый дождливый день. Шумит вода в водосточной трубе.

Потянувшись за папироской, Ракитников увидел, что рукав на правой руке у него засучен. Это его удивило. Поднял голову и еще больше удивился, — оказывается, лежал он совсем одетый на постели, жилет расстегнут, новый пиджак изжован, брюки на коленках в грязи, рукав засучен по локоть. Но башмаки сняты, значит, осталось все-таки кое-какое соображение...

Схватившись за голову, он застонал. Череп трещал, как арбуз. Но пусть бы болела голова, — физическая боль пустяки, а в такую погоду даже может и развлечь отчасти. Но трудно было вынести общую проплеванность всего существа, невыразимую пакость, тоску сердечную... Хуже всякого головотреса... Ох!

Закрыв лицо, он покачивался. Хорошее забудешь, а вот вчерашнее всплыло со всеми запахами до мелочей. Со службы ушел

в четыре. Так... На Невском встретились приятели с портфелями, — вернее, показались приятелями, потому что единодушно все заговорили об обеде с водкой. А по существу, — серые пошляки, не люди, а понедельники... Пошли обедать. Пили водку под холодную осетрину... Сволочная, пошлая рыба, с хреном, с мелкой рубленой дрянью... Оркестр рвет барабанные перепонки. Крики, дым... Официанты — касимовские татары; и на бритых лицах презрение к современности... Швыркают блюда... Ну, хорошо, хорошо... Напились, наелись, отвалились... Когда вставать, — брюки и жилет ползут вверх, в голове — чад, ноги — свинцовые... И это тот самый светловолосый мальчик, «мамина радость»... Отмахал тридцать лет жизни, затрачены силы, деньги на воспитание, образование... И лезет рыгающим чудовищем из трактира... Ох!

Ракитников стал отгибать рукав пиджака, но пальцы дрожали, он только сломал ноготь, сморщился, бросил...

..Вывалились на дождик... Куда? Известно, — в «Бар». Сели на извозчика, хотя пешком итти — три-четыре минуты... Ввалились... Пиво и раки...

Ракитников прилег, в тоске подsunул голову под подушку...

Ох, раки! Насекомые, паукообразные, поедающие утопленников... И он ел это... В бога бы верить, — помолился бы сейчас... Так... Ели раков, сквернословили, как полагается, угощали пивом трепушек — проституток... Подсел к столу какой-то неизвестный в форменной фуражке, — мокрый зубастый рот, черная борода, свинцовые кругленькие глаза... Попросил у Ракитникова механический карандаш Гаммера, начал строчить на папиросной коробке кому-то записку... И, затем, карандаш Гаммера исчез... Цена ему полтора рубля, ну, и чорт бы с ним,—украл и украл... Вдруг всех охватила бешеная злоба... Ракитников и еще кто-то схватили чернобородого за пиджак и так начали трясти, что у того заколотились зубы, вылезли глаза, свалилась фуражка... Отдай карандаш! Подскачили охотники до скандалов... Началось... Дрались, должно быть, человек десять сразу... Выкатились клубком на улицу... Извозчики, привставая на козлах, засвистали, закричали: «Вали, вали, вали!..»

Дальше — провал в памяти... Ракитников сознал себя у чугунной решетки канала Грибоедова, — он несся огромными прыжками, ругаясь шопотом так, как никогда не ругался... Потом — это дождливое окно, серая сырость, невыразимая тоска...

Нелепо, дико, непоправимо, катастрофично... Рачьей слизью перечеркнута вся жизнь... С чрезвычайной обостренностью Ракитников воспринял вчерашнее приключение... Надо сознаться, — не случись вчера драки, все бы, в сущности, обстояло нормально и благополучно. Ну, выпили лишнее, перекушали раков, писали на папиросных коробках записочки трепушкам... А кто этого не делает? Философски даже так можно поставить вопрос: это необходимо... После общественной нагрузки, которая, как за волосы, мотает человека

с утра до вечера, полезно остаться хотя бы на часок самому с собой... Раскрыть клапан, куда устремятся душные остатки проклятого наследья, висящего у каждого бубновым тузом за спиной... Все пьют. Почисти желудок, проспись, и — как рукой снимет упадочное настроение, снова ты — бодр и готов к нагрузке...

Так-то так... Но у Ракитникова получилось уклонение от нормы. Много причин было к этому... Разрыв с женой: семь лет близости к милой, чистой и умной женщине пошли в архив. И одиночество, — тоскливое, беззащитное ощущение своей смерти, — то, что он начал испытывать первый раз в жизни... И беспризорность, — пустые, как темный подвал, вечера, шатанье к чужим людям, глухая тоска пивных, и ты, ты — лишний... И неустроенность — грязные простыни, нештопанное белье, неподметенная комната, — словно пыльная паутина затягивала его холостые дни... Много было причин к тому, чтобы в дождливое утро он с отчаянной четкостью почувствовал: нет, совсем не благополучно... Еще — и вот — пойдешь на четверинках, похрюкивая на прохожих...

Когда выкурена была вся коробка папирос «Сафо», он встал, шатнулся. Вымылся. Переменил белье. Дождь лил за окном. Пусть... Был бы день сияющий, как в детстве, все равно, — куда итти? Он сел у окна, откуда видны одни крыши. Перешибая головную боль, сжималось тоской сердце. Нет, так жить нельзя...

Бывало (после разрыва с женой), в одинокие часы он развлекался прогулками по прошлому. Было хорошо вспомнить деревянный, крашенный в желтое дом с палисадником, где пучком отсвечивало солнце от стеклянного шара на тумбе. Вспомнить детские забавы, ласки матери, таинственную жизнь насекомых на клочке земли среди травинок... Вечера под лампой, и — приближающийся сон, когда все предметы делаются особенными: в лампе, в горелке запекает тоненький голосок, — взрослые его не слышат... Кресло у печки становится все добрее, все удобнее, и вдруг начинает подмигивать двумя завитушками на спинке. Взрослые думают, что это только завитушки... И нежный, как тепло, как покой, голос матери произносит: «Да ты совсем спишь»...

Но даже и этой безобидной радости не было дано сегодня несчастному Ракитникову... Головная боль со скрежетом не пускала проникнуть в добрые воспоминания.

«Залез в болото по уши, — думал он. — Нет, это совсем не пустяки, а именно то, что ожидает теперь каждую субботу»...

Мрак души его сгущался. Моральные угрызения походили на собачьи укусы. Видели вы когда-нибудь, как в овраге псы рвут ребрастую падаль, упираясь лапами, рыча от отвращения? Точно так же мрачные выводы пожирали сердце Ракитникова.

У него явилась потребность услышать человеческий голос. Он пошел на кухню, где стоял его примус. Там на полу валялись сырые рогожи, в углу — кисти и ведра, на окне длинные кляксы изве-

сти, будто следы неведомых птиц, затеняли и без того тусклый свет. Плита разворочена, к примусу нельзя было пробраться через кучу глины.

В комнате за кухней слышался разговор:

— Вернулся он пьяный, конечно... Морда у него красная, вся трясется. (Это говорила кухарка Гренадерова, бывшая владелица доходного дома на Васильевском острове.) Я отпираю... На ногах, голубчик, еле стоит... И рукав, знаете, у него вот по сих пор засучен... Ну, сейчас убьет... Я, конечно, к стенке шарахнулась. И он на меня как зарычит: «Что, говорит, ведьма, боишься смерти?..». Все лицо мне оплювал...

Не слушая дальше, Ракитников вышел на цыпочках из кухни. Помимо всего прочего, было теперь стыдно... Показалось: вот он идет по коридору, и за каждой дверью жилец, — смотрит на него в замочную скважину, какой, мол, он после вчерашнего? Ноги, точно пудовые, едва отдирались от пола... Даже начало пошатывать... Этого еще не хватало!..

Скрипнула облупленная дверь, мимо которой ему итти. Выглянула вытравленная водородом женская голова гражданки Лисиной. В домовый книге она числилась, как безработная. Она всегда, кто бы ни шел, приотворяла дверь, выглядывала, — иногда что-нибудь скажет, иногда только взглянет умоляюще. Только бы сейчас не заговорила!

— Здравствуйте,—сказала Лисина.—Куда это вы мчитесь?

— Да так, чорт его возьми. — Ракитников вытащил платок и потер пылающее, воспаленное лицо. — За примусом... В кухне ремонт...

— У меня чай горячий... Заходите. (Она взглянула умоляюще.) Напьетесь чаю у меня, ей-богу, а?

Ее скуловатое лицо было напудрено, брови выщипаны и подкрашены по моде. Части этого лица, казалось, были собраны от разных лиц, пожалуй, своими казались только глаза, неопределенного цвета, небольшие и до жалости искательные. Она высунулась вся из двери, придерживая (для прелестности) бумажный халатик. Шея у нее была цвета опаленной гусятины. Ракитникова шатнуло, стиснул зубы и вошел в непроветренную комнату. На дешевой скатерти, в пятнах, стоял эмалированный чайник, из носика шел пар. Это была единственная отрада в комнате, где в стенах торчали гвозди. Голое окно. Разломанная бамбуковая ширма в изголовье койки. Из плюшевого диванчика высовывались пружины и волос. Понятно, почему гражданке Лисиной приходилось умолять, чтобы зашли.

— Я ужасно жалею холостых, — сказала она. — Без нашей сестры и чаю-то как следует не напьетесь.

При этом она усмехнулась, собрав губы присоском. Только сейчас Ракитников почувствовал, что внутри у него все сухо, как в раскаленной пустыне. Вместо того, чтобы пробормотать, как он и наме-

ревался, в роде: «Ну вот, очень рад, значит я пошел», — он присел к столу, где дымился носик у чайника, и начал пить чай, скупно, но вежливо отвечая на вопросы.

Это придало смелости гражданке Лисиной. Она подошла к комоду и попудрилась. Запахивая капотик, повела плечами, обернулась, сверкнула (так, видимо, ей представилось, что сверкнула) глазами, мелко засмеялась...

— И я с вами выпью за компанию... Третий раз чайник грею...

— Да, в такую сырость приятно чайку, — согласился Ракитников.

Так они разговорились. Лисина сообщила, что хорошо знает его бывшую жену, Людмилу Сергеевну:

— Моя тетя всю зиму ходила к ним стирать... А теперь, вы знаете, они уехали в Крым на плешь, купаться...

— Вот как, — откашлянув хрипотцу, косясь в сторону, сказал Ракитников.

— Тоже когда вот я была замужем... Это, значит, в 23 году, — степенно, даже постарев лицом, продолжала Лисина, — мой муж был актер, конечно... Вы не слышали — Гриволысов-Чикин? Гриволысов фамилия его, а Чикин он взял в роде, как псевдон... В Туле играл, в Вятке, в Вологде, очень известный... Любил меня, знаете, обожал, как куклу... И он меня постоянно звал, — поедem в Крым... Но я отказывалась, а теперь жалею... И вы знаете, как мы разошлись. Из-за тырканов...

— Кого?

— Тырканы, тараканы по-простому. Он был очень скучливый. В Вологде скука необыкновенная в 23 году... Пить данатурат ему запретили доктора из-за блуждающей почки... И он придумал обучать мышь играть на барабане... Бился с ней, знаете, целый месяц... Я боюсь мышей, — ну, не могу сказать как... И я не спала целый месяц с этой мышью в комнате, и вот посоветовалась с нашей хозяйкой, и мы допустили к ней кошку... Мужу я ничего не сказала, хотя сн горевал. Хорошо... Ночью он возвращается из кооператива... у них был компаньон пьяница, заведующий кооперативом, — бывало, он лавку закроет с улицы, а с заднего хода собираются к нему актеры, и они пьют очищенный данатурат и едят все казенное... И приносит он мне в спичечной коробке двух черных тырканов из этого кооператива. Показывает и сам, знаете, радуется: «Мы, говорит, будем их воспитывать и обучать разным упражнениям»... А я боюсь тырканов хуже мышей... Я их на другой день и выбросила... Он, как узнал об этом, да как закричит: ты, говорит, не можешь понять моей художественной натуры, ты два года моей жизни с'ела... И тут же он пошел к другой женщине... (Лисина при этих словах сильно потянула носом, вытерла глаза.) Через свою глупость упустила счастье...

— Ничего, как-нибудь поправится, — неопределенно утешительно сказал Ракитников. От чая его начало размаривать, и как

будто острота восприятий смягчалась... Лисина, подперев щеку, сказала:

— Знаете, не была бы я хитрая, я была бы идиотка в полном смысле...

Возразить на это было нечего. Дождь за окном припустился лить, как из шайки. В комнате стало темно по-сумеречному, лицо Лисиной расплылось беловатым пятном. Кажется, она улыбалась. Уж не вздумалось ли ей, что Ракитников, пригретый чайком, предпримет что-нибудь решительное? Действительно, рот у нее опять собирался трубочкой, из-под халатика появилась коленка, перетянутая подвязкой с бантом. Ракитников весь вдруг ошетинился, отъехал со стулом:

— Я, знаете, пошел, — сказал он. Лисина молчала. — Хочу прилечь, голова очень...

Она совсем тихо, едва заметно, вздохнула. Он вышел. В коридоре рванул себя за волосы. Лег одетый на постель, и, действительно, заснул под шум дождя.

На этом у всякого человека несомненно окончились бы моральные переживания, вызванные алкоголем и дурным пищеварением. Но в том-то и дело, что здесь было, как уже сказано, отклонение...

Прохрапев, должно быть, часа два, Ракитников увидел болотце с черной водой. На тинистом берегу лежал мрачный свет. Свет дня был как перед концом мира—угасший, неживой, пепельный. И вот, Ракитников заходит в это болотце, — по колена, по грудь, Его толкает вперед неясное сладострастие. Ах, вот что!.. Он хватается за корму лодки. Ему нужно влезть в лодку. В ней, он знает, ждет та, кто утоляет страдания... Его заливает нежность к ней. Он силится влезть, и вот он — в лодке, в гнилой и дырявой, загаженной птицами, на дне в воде плавают доски. Лодка пуста, покинута. Как это невыразимо печально... Он окидывает взором темноватое болотце, низенькие елочки, пепельную траву. Он здесь один. Негреющее солнце в медном небе висит низко над чахлой равниной... И он плачет, плачет, и просыпается.

Он провел по глазам — они сухи, и подушка суха... Слезы и те были сном. Ракитников потянулся за папиросами — ни одной... По стенам, по потолку скользили отсветы уличного фонаря, качающегося под дождем. Было зябко, и все существо его наполняла печаль.

Не зажигая света, Ракитников долго ходил из угла в угол. Было жалко себя, шагающего с опущенной головой. Пойти куда-нибудь? К пивную? В гости? Значит, — опять напиться, одушевиться, и — все начинать сначала... Нет... Надо решить коренной вопрос: зачем я живу?

Он долго глядел в мокрое окно, — за ним по едва различимым крышам барабанила безнадежность... «В какой-то день я своротил с единственной правильной дороги. И вот — на дне... Здесь вопросов не разрешают. Зачем жить, — ответа нет... Живи биологически, перерывай. А уж поставил вопрос, — ответ один... Короткий...»

Ракитников со страхом, сжавшим сердце, покосился на ржавый костыль, вбитый над письменным столом в стену, где когда-то висела картина. Усмехнулся для храбрости. Продолжал прогулку из угла в угол. Скрывать нечего, — прозевал любовь, поздно спохватился. А что он сделал, чтобы Людмила Сергеевна не ушла от него? Она долго боролась, чувствовала, что кто-то из них двоих должен погибнуть... «Надоело тебе со мной, милая моя, уходи. Развод — два целковых, и — никакой трагедии», — такое словечко он ей сказал в день разрыва. Она побелела, замолчала, стала каменной. Ему казалось тогда: эка штука — баба, вместо одной десяток будет, не хуже... И был десяток — и веселых, и беспокойных, и жадных, и равнодушных... В каждой он искал жену, участницу, — и каждая оказывалась чужой... Ничего, кроме ужаса одиночества, он не находил, прикасаясь к ним... Иные издевались, поправляя смятые волосы перед зеркальцем: «Нынче рабынь не водится, дружочек, многого хотите от женщины»... И были правы, что издевались... Ради чего им жалеть, любить его? Утолила желание и, как куколка, быстро завернулась в кокон, а ты, дружочек, хоть пропади, рассыпья пылью: ты отжитая минута и только...

В двадцать первом году Ракитников, ротный командир, беспечный, веселый парень, встретился в Киеве с Людмилой Сергеевной Мусатовой. Кроме солдатской шинели, накинутой на девичьи плечики, заштопанного платышка и невероятных башмаков у нее ничего на свете не было. Отец, инженер, находился в эмиграции, братья пропали без вести. Она жила при театральной студии, кормилась пайком. Полудевушка, полуюноша, сверкающий смехом рот, лукавые, прекрасные, невинные глаза, ловка, быстра на ответ, смела... Ракитников стал таскать ей из казарм черный хлеб, сало, солонину... Катались на лодке в разливе Днепра между затопленных деревень... У обоих была девственная, жадная радость существования... Они потянулись друг к другу, как два звереныша. Ничего не было проще их свадьбы: вытащили лодку на травянистый высокий бугор, — кругом синели воды разлива до горизонта. Леса по пояс в воде, крыши деревень, голубые очертания берегов казались миражами. Садилось пылающее яростью весеннее солнце. Зажгли костер, чтобы испечь картошку, и, наевшись, прижались тесно друг к другу, защищаясь от вечерней свежести. Девушка закрыла глаза, он целовал ей лицо, обветренное и улыбающееся.

Такое существо стало с ним жить как жена. С ним жило солнце, радость жизни. Но он находил это не удивительным и естественным, как биение сердца.

Когда кончилась война, они уехали на север, в Питер, где Ракитников кончал университет. Людмила Сергеевна попыталась было опять учиться в театральной студии, но у нее не было таланта к при творству и перевоплощению, и года через два она бросила театр, поступила на службу. Стал служить и он. Сняли квартиру в три ком-

наты, покупали по дешевке мебель, портьеры, старинные чашки на аукционах. Наняли кухарку. Перед обедом Ракитников привык выпивать рюмку-две водки. Ходили в кино. Завелись знакомые. И полетели года над незрячей жизнью...

Слеп, слеп был Ракитников... Чем жила Людмила Сергеевна, была ли счастлива, о чем мечтала, на что надеялась? Ему и в голову не приходило заглянуть в ее тайную жизнь. Пропал блеск юности, глаза ее не лукавили больше, не играли. Была заботлива, добра, опрятна, молчалива. Он звал ее Мишей. Когда-то у него был вестовой Миша, теперь это имя перешло к ней. Иногда за весь день они не говорили друг другу ни слова. Когда случались неприятности в делах, он сердился и упрекал ее, — будто бы она во всем виновата. Прежде она ужасно волновалась, доказывая, что не виновата, прекрасные глаза ее наливались слезами. Теперь выслушивала упреки равнодушно, с иронией.

Тот вечер, когда на травянистом пригорке они ели картошку, скрылся вместе с голубыми миражами. Тянулись, не намереваясь кончаться, питерские будни. Ему бы стало смешно и нелепо, узнай он, что Людмила Сергеевна любила его именно за тот единственный вечер на островке. Быть может, ей казалось, что вечер тот вернется же когда-нибудь... А так — относилась к нему, как к брату, тихо.

Наконец, настал неизбежный день: Ракитников вернулся домой под утро, сконфуженный и неестественный. По пути на извозчике он приготовил очень вероятное объяснение. И, хотя Людмила Сергеевна не спрашивала, он словоохотливо ей налгал. Она как-будто поверила.

С тех пор он начал лгать ей постоянно, потому что подошла полоса, — как он объяснял одному из приятелей за водочкой, — «голода по женщинам»... Он сошелся с пишбарышней и весело попивал с ней портвейн в кавказских кабинетиках. Пишбарышня, не будь дурой, однажды заявила: «Отчего бы это, дружок, но сегодня меня раза три стошнило?..». Он струсил, дипломагически заболел, спасло его только то, что у пишбарышни оказался добродушный характер, — не настаивала на разрушении семейного счастья. Вторая была — одетая в шикарнейший заячий, под песка, мех девица из киностудии, с кукольной маской вместо лица и пустыми глазами. Она готовилась стать экранной тенью и была, действительно, бесстрашна и глупа, как тень. Это его и зацепило, но ненадолго: девица оказалась невыносимой неряхой.

Последовало еще несколько мимолетных увлечений. Ракитников изолгался и запаршивел. От трех рюмок водки он шумел, лез на скандалы, руки чесались «бить чью-то морду»... И вот все сразу оборвалось. Хмурым утром Людмила Сергеевна не завернула ему в бумагу двух бутербродов, — она сидела, одетая, на краю постели, уронив руки в колени, опустив голову, — независимая, странная...

— Я от тебя ухожу, я больше так не могу жить, — сказала она тускло, незнакомым голосом...

Так-то все это и случилось... Дождливое воскресенье подходило к концу, а Ракитников все еще шагал по комнате, где в стене торчал ржавый костыль... С в о и м и с и л а м и все было передумано, в усталой голове звенела пустота...

Вдруг рядом у соседа загремел ключ. Сосед вошел рядом в комнату, сошвырнул с ног калоши, закашлялся и проговорил про себя:

— В конце концов, все относительно...

После этого он для чего-то двигал стульями. Ракитников прислушивался, будто там была его последняя надежда. Хмуро глянув на крюк, вышел в коридор, постучался.

— Да, — громко сказал сосед, — вам что надо? — И, когда Ракитников назвался, он громко крикнул: — Войдите!..

Сосед стоял посреди комнаты, раскуривая трубку с махоркой. Это был коренастый мужчина с большим залысым лбом и растрепанной бородой,—Прищемихин, ученый. Летом его комнату три раза обчистили до нитки, поэтому все жизненно необходимое он носил при себе, в карманах парусинового балахона. Кроме того, он надевал, выходя из дома, как пережиток военного коммунизма, мешок за спину, где у него лежали книги и завтрак.

Выпустив сизое облако махорки, он сказал:

— Какой вопрос вас интересует? Садитесь.

— Видите в чем дело, профессор... У меня там крюк... Если я сейчас туда вернусь, то...

— Ага, понимаю... Садитесь... (Ракитников сел.) А вы вчера, кажется, намазались. Я сплю крепко, но в комнате у вас начался такой грохот, — я проснулся и долго размышлял — какими предметами вы можете производить столь сильные звуки?.. Сидите, я не сержусь. Вся беда в том, что огромные запасы энергии затрачиваются непроизводительно. В этом и есть вред пьянства... Подождите, не оправдывайтесь... Существует три состояния человеческого общества... Первое: когда моральные предпосылки действуют, как силовые направляющие линии, во всяком случае, они одни видимы на поверхности жизни. Это соответствует застою в торговле и промышленности, крепкому монархическому строю и отсутствию войн. Второе состояние: моральные предпосылки не действуют, они отскакивают, как горох от стены, они перестают быть понятиями и распадаются на первоначальные элементы. Направляющими силовыми линиями является воля больших масс и гольге законы экономики. Это соответствует временам революций, войн и экономическим перестройкам. Третье состояние: силовые линии стремятся к обобщению и законченной формулировке. Массы требуют психологической разгрузки, то-есть предпосылок новой морали. Это соответствует творчеству новой жизни. Ага, вы, кажется, начинаете усваивать!.. Итак, мы вступили сейчас в третье состояние. Силовые линии — это правильное и наилучшее распределение труда, переход от частного к общеплановому хозяйству и овладение максимальными запасами энергии. Ну-с... (Профессор засунул бороду в рот, пожевал.)

К интересующему вас вопросу: создание новых предпосылок... Распределение, энергия и коллективизм. Вот три основания, на которых строится новая мораль. К вашему случаю, — пьянство. Первое: распределение, — вчера вы с'ели и выпили в десять раз больше, чем вам принадлежало, то-есть уничтожили запасы каких-то еще девятых личностей. Второе: энергия, — вы ругались, дрались и передвигали тяжелые предметы... Вы истратили принадлежащие в вашем лице всему человечеству колоссальные запасы духовной и физической энергии на бесцельные и отвратительные звуковые колебания. Третье: коллективизм, — вы ворвались ночью в этот дом и по отношению живущих в нем поступили, как носорог, кидаящийся на муравейник: вы едва не избили кухарку, устроили мне бессонную ночь, вселили несбыточные мечтания гражданке Лисиной, напугали до истерики моего соседа, юношу Кизякова, готовящегося к конкурсным экзаменам и настроенного в высшей степени нервно. И так далее...

— Я виноват, да, да, — сказал Ракитников, обхватив голову руками. — Но, профессор, умоляю вас, скажите мне, — для чего я живу?

— Ага! — Прищепил откусил клочок бороды. — Вопрос не глуп. А вы знакомы с геохимией? Нет... Придется вам об'яснить популярно, хотя это отвратительно... (Его глаза сверкнули, не предвещая доброго; Ракитников с'ежился, подобрал ноги под стул.) Скажите пожалуйста, молодой человек, вы когда-нибудь задумывались, — что такое вы, живое, сидящее на стуле? Нет... Гм... Так знайте, — вы есть кислородное вещество, богатое углеродом. Все остальные определения ни к чорту не годятся... Количество живого вещества, начиная от подобных вам двуногих, кончая протоплазмой, количество вещества, заполняющего биосферу, то-есть поверхность земной коры, равно единице с пятнадцатью нулями тонн, или, говоря проще, шестидесяти триллионам пудов, — совершенно точно... Закон распространения жизни на земле подобен закону газов: не будь препятствий, живое вещество заполнило бы всю вселенную в короткий срок. Вот пример: одна диатомея, — кремнеземная инфузория, — размножаясь путем деления, в восемь дней может дать потомство, равное об'ему земного шара. Не пугайтесь, существуют естественные препятствия такому напору жизни, — природа разумна и экономна. Главные препятствия — это щелочи в мировом океане, связывающие свободную углекислоту, необходимую для размножения. Живая материя, которой мешают размножаться, производит давление, подобное давлению газов в закрытом сосуде. Этот необыкновенный феномен называется давлением жизни. Не одушевляйтесь, молодой человек, это не имеет ровно никакого отношения к вашему вчерашнему поведению... Итак, великие биологи давно сознали неразрывную связь, соединяющую живое вещество на земле с окружающей мертвой природой... Два слова о природе... Почти вся земная кора, — точнее, девяносто девять и семь десятых ее процента, — состоит из химических элементов, относящихся к группе щелочных элементов. Их основное свойство то, что

эти элементы непрерывно движутся в циклах, или круговоротах, начиная от первичных элементов к сложным химическим соединениям и обратно—к первичному атому. Пример: движение углерода через ваш организм, молодой человек,—вы поглощаете углекислоту, превращаете ее во всевозможные углеводы, сахара, спирты, белки и прочее, и после вашей смерти все это распадается, и освобождается чистый углерод... Это так называемые вихри материи, в них вечно движется мертвая природа. В ней заключена энергия, но она дремлет, живое вещество превращает ее в работу... Не хлопайте глазами, я сейчас подойду к интересующему вас вопросу: цель жизни... Слушайте... Цель всех жизненных процессов заключается в продвижении через себя этих вихрей мертвой материи, в создании круговорота атомов, цикла химических элементов биосферы.

— Но, позвольте...

— Помолчите... Вы участвуете в сложном химическом процессе мироздания, молодой человек... Да, выше голову! Развитие жизни на земле совершается в сторону увеличения ее давления. Ага,—вот где истинная основа оптимизма! И увеличивает это давление человек... Земледелие, промышленность, шахты, химические и металлургические заводы... Человек потрошит биосферу, расталкивает природу под бока. Цивилизация уже увеличила количество свободной углекислоты на пять сотых процента... Вы понимаете,—на пять сотых процента увеличилось давление жизни, ускорился круговорот атомов... А новые химические соединения, впервые появляющиеся в истории нашей планеты! Изменяется весь лик земли!.. Человечество — это новая геологическая сила... Вместе с человечеством наступает новейшая психозойная эра...

Прищемихин до того разгорячился, что приближение к нему казалось опасным,—глаза его блстели, из трубки сыпался горячий пепел...

— Вам понятна теперь цель жизни? — крикнул он громовым голосом. Ракитников глядел на него, как раздавленная лягушка из-под сапога. Лучше бы остаться в неведении, или справиться как-нибудь своими силами...

— Ну, а личность, профессор,—я, я, как таковой? Помимо участия в общей экономике, помимо пропускания через себя углерода...

— Кроме углеродного цикла вы забываете круговороты марганца, натрия, хлора, цинка...

— Хорошо, хорошо... Но поймите, профессор, мне сейчас наплевать на это... Сейчас мне интересен только я сам... Я испоганил, растоптал свою жизнь... С каждым днем качусь все ниже... Вам знакомо черное одиночество, бесцельность существования?

— Совершенно не знакомо, и никогда не будет знакомо...

— Одним словом, — так...—Ракитников поднялся со стула, губы у него затряслись. — Больше всего на свете меня интересует, — повешусь я нынче ночью, или не повешусь?

Прищемихин прикрылся бровями, никотин захрипел у него в чубуке:

— Бросьте глупить, Ракитников, — с неожиданной мягкостью сказал он, и, затем, будто вознегодовав на себя, завопил: — Ерунда! Вы дикарь! С вами нельзя говорить на языке науки... В жизни не видел более безграмотного человека! Вы не имеете понятия о законе больших чисел... Садитесь... Когда ваши пращурьы охотились на мамонтов, и, скажем, на Аппенинском полуострове жило в пещерах всего тысячи две населения, каждая личность была на счету, ваше дурное настроение обсуждалось бы на племенном совете у костра под жестикуляцию каменными топорами,— вот тогда вы бы и вешались, молодой человек, если вам непременно приспичило: могли бы произвести впечатление на любимую троглодитку... Ренессанс,— вот последний взрыв индивидуализма. Чума и черная оспа пожирала в то время человечество,— личности сверкали, как звезды в бархате ночи... Паровая машина, грандиозные завоевания микробиологии и электричество раздавили личность... С девятнадцатого века человечество бешено начало размножаться. Мы вступили в эпоху больших чисел, мы подваливаем к двум миллиардам. Неорганизованные выступления личности не изменяют статистических цифр. Мы знаем, что на каждый город полагается определенное количество самоубийств. Оно строго определено наукой. И вы через это число не перескочите...

— Посмотрим, — сказал Ракитников зловеще.

— Посмотрим,— свирепо выпятив бороду, повторил за ним Прищемихин. — Если в этом месяце число самоубийств исчерпано, — вы не повеситесь... Жалко, я не знаю цифр...

Наступило некоторое молчание. Ракитников, весь сотрясаясь от ненависти, от негодования, оттолкнул стул и вышел в коридор. В голове звенело, будто череп был медный, и в край его били...— Старый идиот, сволочь,— прошептал он. За спиной его осторожно начала скрипеть дверь,— высывалась вытравленная водородом голова Лисинной. Ракитников кинулся в свою комнату и повернул в двери ключ.

Дождь плюхал и плюхал. Ползали фонарные отсветы по потолку. Все еще трясущимися пальцами Ракитников стал распутывать веревку, найденную среди грязного белья под кроватью. — Хорошо, хорошо, посмотрим,— бормотал он... Завязал петлю, подошел к стене, где торчал крюк, и ноги у него ослабели...

Положив веревку на письменный стол, он вернулся к кровати, отыскал «бычка»— окуроч, — затянулся, закружилась голова... Он присел на кровать. Лег. За стеной у Прищемихина было невероятно тихо. Так прошло довольно долго времени.

Если бы не желание доказать, досадить чортову профессору,— никаких, в сущности, серьезных оснований совать голову в петлю у Ракитникова не находилось. Все же не довести дело до конца— слишком уж было по-свински... Он подумал: «А ну-ка, спущу одну ногу с кровати»... Нога не пошевелилась... «В конце концов, доказывать право на личность тем, что висеть на крюке с вывалившимся языком... Глупо... Боже мой, как глупо!»... Он представил третью стра-

ницу «Красной вечерней» и внизу — три строчки петитом о себе... Пружины кровати заскрипели,—так сильно было движение ужаса, скорчившее его тело... «Значит струсил, голубчик»... Ракитников подумал... (Перед ним снова прошли все безнадежности... Серо, грязновато, дрянновато... Но, может быть, все сильно преувеличено?.. А?..) Пожал плечом... А не устроил ли он сегодня сам для себя страшенький театр, монодраму, под шум дождя, с перепоем? И к Прищемихину ходил, чтобы напугать...

Ракитников в негодовании сорвался с кровати и очутился у стены под крючком... Но, едва он потянулся за веревочкой,—в комнате Прищемихина, за дверью, заставленной этажеркой с книгами, упал стул и засопело... «Наблюдает, чорт!..». Ракитников отвернулся к окну,—лицо его жарко горело стыдом. Хрустнул пальцами... «Да когда же кончится это безобразие! Со вчерашнего вечера — пил, дрался, грубиянил, шумел, и весь этот проклятый день кривляюсь невыносимо! Сочувствия ищущу... Успеха!.. Актеришко проклятый!».

Он быстро обернулся к двери, заставленной этажеркой:

— Слушайте, профессор...

— Ага, слушаю, — бодро отозвалось за дверью.

— Ну да, вы правы тысячу раз... Но поймите же, — я несчастен...

Басоватый голос Прищемихина, нагнувшегося, очевидно, к замочной скважине, проговорил:

— Идите ко мне, сыграем в подкидные дураки...

— Спасибо, профессор... Я подумаю... Приду, может быть...

— Ну, подумайте...

Ракитников бросил веревочку в корзину для бумаг, отыскал перо, пустил слюну в пузырек с засохшими чернилами и неправильным почерком (рука ужасно трепетала), пропуская от нетерпения буквы, начал писать:

«...Одновременно с этим письмом я подаю прошение об отпуске. Если не дадут—брошу службу... Сейчас мне безразлично,—буду питаться одними помидорами, но я должен быть там, где вы... Не пугайтесь, Людмила Сергеевна, дорогая, дорогая... (Клякса.) Я не намерен снова навязывать себя вам... Я хочу дышать одним с вами воздухом,—большого мне не нужно... В Крыму с вами, наверно, кто-нибудь, кого вы любите,—потому что не любить вы не можете... Я мучительно завидую ему... Нет, нет, не пугайтесь, дорогая, дорогая... (Клякса.) Был один вечер в моей жизни... Помните,—островок, кругом—синие волны, как море. Ветер. Мы пекли картошку... Всю остальную жизнь я растратил, раскидал, залил пивом... Тупо, незряче... Я не прошу возврата, я не смею... Но хотя бы взглянуть в ваши глаза, в те синие миражи юности... (Клякса.) Я начну все заново, один, без вас... Я прошу только не отвернуться, прошу в память того вечера...».

В замочную скважину прищемихинской двери проговорили:

— Ну, как? Или, может быть, сегодня обойдемся без дураков?

— Нет, нет, сейчас кончаю, профессор... Иду...

З д о р о в о !

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

Вылетишь утром на воздух,
Ветром целуя женщин, —
Смех, как ядерный жемчуг,
Прыгает в зубы, в ноздри.

Что бы это такое?
Кажется, нет причины:
Небо прилизано чинно,
Море тоже в покое.

Слил аккуратно лужи
Дождик позавчерашний,
Десять часов на башне —
Гусеницы на службу.

А у меня в под'язычье
Что-то сыплет горохом,
Так что легкие зычно
Лаем врываются в хохот.

Слушай, брось, да полно..
Но ни черта не сделать:
Смех, золотой, спелый,
Сытный такой да полный.

Сколько смешного на свете:
Вот, например, «капуста».
Надо подумать о грустном,
Только чего бы наметить?..

Могут пробраться в погреб
Завтра чумные крысы.
Я буду тоже лысым.
Некогда сгибли обры.

Где-то в Норвегии флагман..
И вдруг опять: «капуста».
Чортовщина — как вкусно
Так грохотать диафрагмой!

Смех золотого разлива,
Сочный смех, отличный.
Тсс... — брось: неприлично
Эдаким быть счастливым.



Дневник Кости Рябцева

Н. ОГНЕВ

(Окончание¹)

5 января.

Сегодня произошла такая история. С виду она пустяковая, но мне кажется, из нее могут быть последствия, поэтому я ее и записываю.

Я зашел к Корсунцеву, несмотря на то, что он явно не наш, хоть и прикрывается фразеологией. Мне все кажется, что он когда-нибудь разоблачится до конца. Сам. Ведь это только я за ним все время наблюдаю, и сопоставить все его слова и поступки могу один я. Но даже если бы я и захотел это сделать, у меня не хватило бы материала, чтобы представить его во весь рост. А сделать это нужно, потому что он, конечно, враг, но враг скрытый, а скрытые враги самые опасные.

Ну вот. Сажу я у него, как вдруг является девчина довольно буржуазного вида. Сначала я ее не узнал, а потом вдруг вспомнил, что она была на том самом фокстроте, когда я наскандалил в не очень трезвом виде.

Корсунцев сейчас же вскочил, бросил свой ленивый, снисходительный тон, за который я его ненавижу, и стал извиваться, как беспризорный, которого ухватил мильтон за шиворот.

— К сожалению, Зизи, — заюлил он, — у меня нет даже стула, который я бы мог вам предложить. У нас, знаете, только табуретки.

— Ничего, я и так посижу, — говорит Зизи. — На кровать можно?

— Помилуйте, Зизи, — говорит Корсунцев. — Где угодно, где вам понравится. А этого хлопца помните?

— Помню, — говорит Зизи, садится и задрала ногу на ногу так, что подвязки стало видно. — Это ведь он тогда произнес программную речь на фокстроте?

— Я самый, — отвечаю я и чувствую, что довольно глупо улыбаюсь. Поэтому я сразу стал злиться. — А вы все еще полы натираете?

¹) См. «Новый мир», кн. 1, 2, 3, 4 и 10 с. г.

— Какие такие полы? — спрашивает Зизи, вынимает зеркальце и начинает пудриться.

— А такие, — отвечаю я. — Фокстрот, по-моему, это и есть нагириание полов до полного блеска.

— Фи, какой ты грубый, Рябцев,—вмешался Корсунцев.—Ну, не хочешь, и не танцуй, тебя никто не заставляет. Ты, кажется, говорил, что у тебя есть какие-то дела в канцелярии вуза?

— Это дела такие, что могут и подождать, — ответил я нарочно, чтобы его разозлить. — Уж очень компания приятная, так что я посижу.

А в общежитиях есть такой неписанный закон, что если два парня сидят в одной комнате, и к одному из них приходит в гости девчина, то другой обязательно должен уйти, хотя бы в коридор, и ждать там до тех пор, пока девчина не уйдет. Но я решил позлить обоих.

— Вы говорите, вам компания нравится, — сказала тогда Зизи, — а сами держитесь так и говорите таким тоном, словно того и гляди начнете свои дерзости.

— Это смотря что признавать дерзостью, — ответил я. — Вам, конечно, приятно будет, и вы будете считать комплиментом, если я скажу, что — ах, какая у вас интересная бледность лица. А я вот, наоборот, другого мнения. И если скажу свое честное, искреннее мнение, вы будете считать его дерзостью.

— Наоборот, — подумав, сказала Зизи. — Комплиментов я не терплю, а правду всегда приятно слышать. И мне очень-очень интересно знать ваше, как вы говорите, честное и искреннее мнение. Скажите его, и мы будем друзьями.

— Нет, уж пускай лучше не говорит, — забеспокоился Корсунцев, — а то он такую дребедень скажет, что зубы заболят.

— Никс, вы сами грубы, — перебила его Зизи. — Ну, право, Костя, скажите свое мнение. Конечно, я кокетка, но ведь все мы, грешные, понемногу кокетничаем. Скажите!

«Хочет взять на пушку, — подумал я. — Посмотрим, кто кого! Ну, погоди же». — И сказал Корсунцеву:

— Ты, видно, Корсунцев, думаешь, что только ты один можешь говорить умные вещи. А тебя все слушай, да помалкивай. А по-моему, от тебя и от твоих умных вещей несет гнилью. И еще я могу сказать...

— Мнение, мнение,—перебила меня Зизи и захлопала в ладоши. — Скорей мнение, а то я рассержусь.

— Ну, чтобы вы не рассердились, я скорей скажу, — ответил я с легким «светским» поклоном. — Мое мнение такое: терпеть не могу пудренных морд.

Наступило молчание. Потом Корсунцев резко встал и сказал:

— Идем, Рябцев, в коридор. Мне там с тобой поговорить надо.

— На кой шут в коридор, — ответил я развязно. — В коридоре дует. Крой лучше здесь.

— С тобой не шутят, Рябцев,—произнес очень грозно Корсунцев. — Изволь выйти со мной в коридор!

— Ах, так ты меня выгоняешь, — ответил я спокойно и лениво стал подниматься. — Тогда можешь не ходить со мной. До свиданья, Зизи!

Она ничего не ответила, а я вышел в коридор. Корсунцев остался.

Едва я открыл дверь, как в сторону отскочила какая-то женщина. В полутемноте я взгляделся в нее и узнал ту уборщицу, с которой раз застал Корсунцева, и которую Корсунцев еще раньше при мне щупал.

Я было пошел к двери, как вдруг эта уборщица догнала меня и схватила за рукав.

— Вы что? — спросил я.

— Там еще какие ребята есть, ай нет? — спросила, в свою очередь, она.

— Где это: там?

— А с Корсунцевым... с кобелем-то с этим?

— С кобелем-то...—засмеялся я.—Да нет, никаких ребят там нет. Одна гостя у него.

— Ууу, кобелище, — как-то угрожающе произнесла она.

Я ушел. Теперь мне кажется, что Корсунцев окончательный мерзавец, если на глазах у одной женщины устраивается с этой фокстроткой. Ведь любому человеку из любого общежития было бы понятно, что он там с ней делает.— даже без подглядывания.

Вера и коллектив

7 января.

Вчера я встретил Веру; она только что приехала от тетки, поэтому-то я все ее и не заставал дома. Но поговорить как следует не удалось. Сегодня она сама зашла за мной, погода была хорошая, и мы решили побродить по улицам.

Разговор я начал издали.

— Скажи, пожалуйста, Верища (это я ее так называю), что бы ты стала делать, если бы тебе вдруг представился случай помочь товарищу, находящемуся в беде?

— Смотря какая беда и какой товарищ, — ничуть не задумавшись, ответила Вера.

— Ну... предположим, идешь ты по болоту, а там завяз товарищ. Ты полезла бы его спасать?

— Что я, дура, что ли? Во-первых, если он завяз в болоте, значит, он дурак: зачем его понесло в болото одного, мог бы взять кого-нибудь с собой, или какие-нибудь приспособления. Ну, а потом... потом, если бы я полезла, то и его бы не спасла, и сама завязала. Вышло бы совсем глупо: сидят два дурака в болоте и друг друга спасают.

— Положим, что так, и ты права, что не полезла. Ну, а что бы ты все-таки стала делать?

— Что? Созвала бы пленум ближайшего коллектива и в экстренном порядке поставила бы вопрос об этом товарище.

— Да ты не шути, это ты как-то по-девченски решаешь. Ты отнесись серьезней, мне серьезное решение нужно.

— Да я совершенно серьезно и ни капельки не шучу, — рассердилась Вера. — Я именно так и стала бы делать. По моему поводу так и сделали—я же тебе рассказывала — и только хорошее вышло.

— Но ведь пока ты добиралась бы до ближайшего коллектива и собирала бы свой пленум, товарищ в болоте давным бы давно утонул?

— Ну, это еще неизвестно, утонул бы или нет. Но даже если бы отдельная личность и утонула бы, были бы выработаны все меры, чтобы предупредить несчастье на следующий раз.

В глубине души я признал, что она права, и решил подойти с другой стороны.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Возьмем другой случай. Допустим, что другой товарищ на твоих глазах стал бы спиваться. И даже не товарищ, а вообще человек... какой-нибудь там пожилой извозчик, что ли. Днем ездит, а ночью спивается. Вообще, дует горькую.

— А мне какое дело? — совершенно равнодушным тоном перебила Вера. — Пьяных сколько хочешь, водки — того больше. Да и как полезешь спасти пьяного, если он тебя первую обнимать полезет? А я знаю, я пьяных очень даже близко видела. И тут никакой коллектив, хотя бы и ближайший, не поможет. Лечить их надо, по-моему, пьяных-то. Сажать в кутузку и лечить. Или водку запретить, да это государству не по бюджету, потому что, если запретить,—все самогонку станут гнать, — то-есть хлеб переводить. Так что тут в одиночку или даже в составе какого-нибудь ячеечного коллектива не можешь.

С большой досадой в душе я признал, что она опять права.

— Ладно, тебя не переспоришь, — сказал я. — Тогда возьмем такой случай.

И я рассказал ей всю историю Партизана и горбатой девчины. Вера сразу переменилась и вся насторожилась.

— Это действительно было? — спросила она, когда я кончил описывать суд над Партизаном, напирая на защитительную речь. — Ты не выдумал?

— Не выдумывал я ничего. Конечно, было.

— Мое мнение такое, что эта проклятая девчонка цену себе набивала. Только вот что: она хорошенькая?

— Какие это бывают хорошенькие, я не знаю, — ответил я, потому что терпеть не могу этого слова. — Но из себя — ничего, только бледная.

— А парень этот... красивый?

— Да. Очень, по-моему.

— Ну, вот что. Познакомь меня с ним.

— А тебе на что?—спросил я, сдерживая свою радость, потому что мне только этого и надо было.

— А потому, что он на редкость интересный парень, не серый, не под общую гребенку, а я таких люблю.

— Имей в виду, что он весь израненный, и даже в голову. Так что—со странностями.

— «Пятнадцать штыковых и огнестрельных — три», — продекларировала Вера из какого-то поэта. — Обязательно познакомь, и скорей.

— А зачем тебе скорей?

— А затем, что без меня он еще какую-нибудь штуковинку выкинет. Или, как у Зощенко: чертовинку. Ты любишь Зощенку?

— Смешно пишет. А хочешь — сейчас и с Партизаном познакомлю?

— Есть такое дело! Идем.

Пришли мы в общежитие, застали Партизана и Ваньку. Я Ваньке подмигнул и познакомил его с Верой. Ванька с каким-то сомнением взглянул на меня: должно быть, ему Вера не понравилась или показалась слишком уж молодой. Я немного растерялся и не знал, как приступить к делу. Но она сама взялась за это.

Сидела-сидела, потом вдруг как спросит громко, на всю комнату:

— А этот парень, в углу сидит, должно быть, очень ученый?

— Как же, выучили, — буркнул Партизан себе под нос.

— А отчего вы такой сердитый, товарищ? — спрашивает Вера.

— Жизнь невеселая, — ответил Партизан.

Тогда Вера вдруг встала, подошла к нему, хлопнула по плечу и сказала:

— Я сейчас в университет иду, а вы меня проводите, товарищ.

— Во-первых, не «вы», а «ты», — ответил Партизан. — Довольно этих буржуазностей.

— Ну, ладно. Это во-первых. А во-вторых что?

— А во-вторых... мне шапку надо найти.

— Да вон она, на стене висит, — указал я на буденновку.

Партизан встал, вытянулся во весь рост и оказался вдвое выше Веры.

— Какой ты здоровенный, — с притворным страхом сказала Вера. — Прямо — дяденька, достань воробушка.

Мы засмеялись, и мне показалось, что сам Партизан улыбнулся.

— Ну, ладно, идем, что ли, — сказал он сурово. — Мне самому в университет надо.

— Интересно мне знать, зачем ему понадобилось в университет, — смеясь сказал Ванька, когда они ушли.

Но я ему ничего не ответил, потому что у меня в эмоции образовалась прямо Торичеллиева пустота, и потом еще защемило сердце. Мне вспомнилось, как Вера меня кормила студенческой колбасой, и я чуть не побежал за ними вслед.

Меня утешило только то сознание, что пусть Веря думает, что это она сама, по своему желанию, вмешалась в жизнь Партизана. А на самом деле тут работал коллектив в виде Ваньки и меня.

— А у них теперь дело пойдет,—все еще посмеиваясь, сказал Ванька, но я не выдержал, ушел на улицу и только сейчас вернулся и пишу эти строки.

Исход Никпетожа

8 я н в а р я.

Пастух приехал и стал с таким восторгом рассказывать о деревенском морозе, что меня завидки взяли. А когда я спросил Пастуха насчет настроений в деревне, он довольно кисло сморщил нос.

— Все в своем дерме копаются,—буркнул он.—На государственную точку не хотят встать. Потом — деятелей мало.

— Каких деятелей?

— Толкачей, настоящих коммунистов. Настоящий коммунист, или просто интеллигент в деревне не то что клад, а мозг. Конечно, такой, который не программы вычитывает, а дело делает. А где их взять?

Тут мне пришел в голову Никпетож.

— А что, Финагент, не попробовать ли нам послать в деревню одного интеллигента, сейчас безработный он? — спросил я.

— Ну что ж, это полезно, — согласился Пастух. — Но только на какую работу? На какую он способен?

— Ну, я думаю, что навоз возить или землю пахать он не сможет. А вот раз'яснить... так это что хочешь раз'яснит и растолкует.

— Довольно канительная штука, если его пытаться устроить, скажем, секретарем вика. Много инстанций надо пройти, дурократия всякая сидит, ее не перешибешь кулаком. Он на бирже-то зарегистрирован?

— А шут его знает.

— Учителем, пожалуй, легче. Рабпрос так и ухватится. А он согласится быть учителем?

— Да он учитель и есть.

— А... Чего же он тогда в городе не работает? Ведь легко же устроиться, ежели он хороший учитель.

— Чего лучше. Из всех, кого я знаю, лучший педагог.

— Ну, тогда пойдём сейчас к нему и поговорим.

Пошли. По дороге я с некоторой опаской думал насчет настроений Никпетожа. А вдруг он уж и на людей бросаться начал, или опять начнет стращать пауком. Но так как я давно решил, что пауки развелись у него от одиночества, то не придавал этому особого значения.

Когда мы пришли, я поразился бедности, в которой живет Никпетож. Стулья, которые у него были, он сжег, и в комнате было насорено и дымно. На столе лежал зеленый камень, который потом

оказался хлебом. А ужасней его кровати трудно себе что-нибудь представить.

Я познакомил Никпетожа с Пастухом, и Пастух начал ему развивать мысль о необходимости работать интеллигенции в деревне.

— А в каком качестве? — спросил Никпетож.

— Хотя бы в качестве учителя.

— Этого я не могу, — ответил Никпетож. — Это значит повторять все сначала, а у меня сил не хватит. А главное, что доедешь до того же самого места, до которого я доехал, а дальше — ни с места. В этом отношении для меня все равно — что деревня, что город.

— Ну, а как же другие учителя: работают, несмотря на маленькое жалование, нелады с сельской администрацией, нетопленные помещения и прочие условия?

— Видите, это, конечно, в большинстве случаев молодежь, а потом — молодежь, преисполненная героического, революционного духа. Я их понимаю, этих героев, а сам быть таким уже не могу. Мне сорок девять лет, свое лучшее я уже отдал.

— Да, в таком случае...— задумчиво сказал Пастух.— Трудно что-нибудь тут придумать. А ведь работники в деревне, ух, как нужны! Как мозг!

— Я знаю, что я сделаю, — перебил его Никпетож. — Сознание своей ненужности здесь, в городе, конечно, отравило мое существование и даже довело до галлюцинации. Вот, Костя знает... — криво усмехнулся он. — Но пока зима — деваться некуда. А весной возьму я палочку, повяжу котому и отправлюсь с любой заставы в поля... Буду переходить с места на место, из деревни — в деревню... Там помогу в поле, там прочту газету. Глядишь — и покормят... Давно я не был в деревне по-настоящему. Ведь мы, городские жители, по-настоящему в деревне-то никогда не бывали. Было когда-то хождение в народ, но и оно, несмотря на весь свой героизм, кончалось или юмористически, или печально... Так же кончались и дальнейшие попытки интеллигенции проникнуть в деревню, кроме тех случаев, когда попытки эти опирались на специальные знания: врача, учителя, агронома, сельскохозяйственного техника. Но это — какое же проникновение в деревню? Это такое же проникновение, как если бы проникновение щипцов зубного врача в рот пациента мы бы считали проникновением во весь пациентов организм. Ну вот, я только и дожидаюсь весны.

— Да за каким же чортом вам ждать весны, товарищ? — рассердился ни с того ни сего Пастух.

— Да ведь, пожалуй, холодно будет, товарищ, — усмехнулся в ответ Никпетож с каким-то своим старым юмором, которого я уже давно у него не видал.

— Шубу дадут, — сказал Пастух.

— Кто даст?

— Начальство.

— У меня никакого начальства нет. А если вы думаете про социальное обеспечение, то, во-первых, я его еще не заслужил, а во-вторых...

— К чорту во-вторых! И социальное обеспечение туда же! Вы прозодежду получите!

— Это что ж: сторожем куда-нибудь? Закутаться в тулуп и стукать в колотушку. Так я ж, товарищ...

— Какие вы все, интеллигенты,—пророки! Ничего я еще не сказал, а вы все знаете наперед.

— Простите вы меня,—с душевной теплотой сказал Никпетож, тронув руку Пастуха.— Вы правы. Простите. Я слушаю.

— Ну, еще прощаться вздумали,—ответил Пастух.— Тут дело говорят, а он прощается.— И Пастух перешел внезапно с Никпетожем на ты.— Ты говоришь — хочешь деревню послушать по-настоящему, да чтобы и деревня тебя послушала? Так я тебя понял?

— Так,—ответил Никпетож, глядя прямо в глаза Пастуху. И мне показалось, что в глазах Никпетожа появился какой-то свет.

— Крестьянам можешь все объяснить так, как надо, и чтобы за советскую власть?

— Вполне. На этом стою.

— А коли так — так так! Про кольцевую почту слыхал?

— Не слыхал. Что это за зверь за такой?

— Не зверь, а почта. Едет по всем, даже мельчайшим деревушкам, развозит письма, газеты, деньги, продает марки, брошюры по сельскому хозяйству, по налоговым, про цели власти, да еще все и разъясняет.

— Первый раз слышу.

— Уши заложило?

— Вполне возможно.

— Ну вот. Есть такая кольцевая почта, которая именно и обслуживает деревню. Дело это еще не вполне налаженное, есть промахи и недочеты, но в обязанность этой почты, помимо прямой доставки корреспонденции, входит и связь с населением, беседы, передвижка библиотека и всякое такое. Пойдешь в кольцевые почтальоны?

— Пойду,—ответил Никпетож, встал, взял с вешалки свое пальтишко (жалко было смотреть) и надел шляпу.— Куда итти? Где справляться?

— Конечно, в почтеле,—ответил Пастух, тоже встав и одеваясь.— Может, помочь в чем?

— Ничего не надо, сам добьюсь,—весело ответил Никпетож.— Рекомендации у меня есть. Спасибо вам, Костя, за этого парня. Да, кстати, вы... ты, товарищ, кто? Что студент — знаю. А еще кто? Ответственный коммунист какой-нибудь—или кто?

— Я — пастух,—ответил Пастух, и мы втроем вышли на улицу.— Вот поэтому я хорошо и знаю, что деревне нужно, пожалуй, даже лучше, чем сами мужики: со стороны гляжу.

10 января.

Сегодня ко мне (в Ванькино общежитие) приехал брат Шахова (то-есть, конечно, Шаховского). Он вызвал меня в коридор, подробно расспросил о смерти брата, и особенно добивался, не была ли замешана в этом деле Стаська Велепольская, и когда я сказал решительно, что нет — он сомнительно хмыкнул. Я тут же передал все дневники, записи и стихи Виктора, которые у меня были, и он ушел, предварительно условившись со мной, что если я ему зачем-нибудь понадоблюсь, то он за мной зайдет.

Приехал он из-за границы. Он длинный, худой, очень похож на Виктора, только лицо еще серей и вытянутой — лошадь-лошадью. Если все князья были такие, то завидовать тут нечему. Говорит он коротко, отрывисто, одежка на нем разве чуть похуже моей.

13 января.

Сегодня засыпался Корсунцев.

Я пришел к нему в общежитие взять «Историю партии», потому что она не его, а переходит из рук в руки. В коридоре я встретил ту самую уборщицу. Я с ней поздоровался, а она хоть бы фик в ответ. Ну, конечно, я сделал вид, что мне все равно, и прошел мимо, как вдруг она меня догнала и говорит:

— Ты скажи кобелищу-то... Я его крадю всю наскрозь измажу кислотой, так и знай...

— С ума сошла, дура, — ответил я, — припаяют три года на суде, тогда и узнаешь...

— Жизни решусь, а не дам ему с ней надо мной изгаляться, так и знай.

Когда я вошел в комнату, навстречу мне шел Корсунцев и вел под руку свою Зизи.

— «Историю партии» дай, Корсунцев, — сказал я.

— Возьми на табуретке, — ответил Корсунцев и проследовал вместе с Зизи в коридор. Я схватил книгу и бросился за ними, потому что у меня внезапно явилось предчувствие, и я решил его предупредить, хоть он и негодяй. Но не успел я распахнуть дверь, как в уши мне врезался отчаянный женский визг. Я вылетел в коридор: Зизи стояла в углу, визжала, закрыв лицо руками, а Корсунцев повалил уборщицу на пол и силился достать что-то из кармана.

Издали по коридору кто-то бежал.

— Ты что, Корсунцев... — начал я, но не успел что-нибудь сделать, потому что Корсунцев выхватил из кармана перочинный нож — он раскрыл его еще в кармане — и полоснул уборщицу по лицу.

Я прыгнул и повис на его руке. Трудно сказать, что было потом, так как все смешалось в какой-то дикой, неистовой каше. И меня кто-то тащил, и я кого-то тащил, и вдруг с ужасом увидел кровь на лице уборщицы, раздавались крики и визг — и все это до тех пор, пока не прибежал комендант.

Корсунцева уже держали за руки. Он вытаращил глаза, и мне показалось, что он тронулся.

— Твоя работа, Корсунцев? — спросил комендант, указывая на уборщицу.

— Пошел ты к чорту, — ответил Корсунцев как-то равнодушно. — Мне все равно — наплевать...

— Придется посидеть, — сказал комендант.

— Ну, что же, и посижу, — ответил в том же тоне Корсунцев. — Какое дело, подумаешь... Надоели вы мне все до блевотины...

— Из ячейки, пожалуй, выкинут, — сказал комендант.

— Тьфу на твою ячейку!

И все сейчас же замолчали.

— Что, программной речи ждете, гражданята? — с усмешкой спросил Корсунцев. — Дико слушать страшные слова. Программной речи не будет. Можете расходиться по домам. Просто был вот такой вузовец Корсунцев, проявил рыцарские чувства, а теперь его волокут в домзак. До свидания. Могу вам в утешение сказать, что завтра каждого из вас могут тоже повлечь в домзак. Еще одно могу сказать: ничего не стоит вас всех обернуть кругом пальца. Без ни-ка-кей-ших усилий любой умный человек вас в дураках оставит. Вы думаете: вот стопроцентник, преданный и тому подобное. Шиш!

— Пойдем, пойдем, Корсунцев, — заторопил комендант. — Зарапортовался, брат...

Оказывается, что уборщица даже и не попала кислотой в лицо Зизи, а промахнулась на стену, и теперь лицо испорчено у самой уборщицы ножом Корсунцева. Хороши его «рыцарские» чувства...

16 января.

Чудеса в решетке, да и только... Если рассказать кому-нибудь из комсы, того разберет гомерический припадок. Да я и сам как вспомню, так и забирает под ложечкой. Неужели такие вещи могут происходить в нашем СССР? Но мне кажется иногда, что это не только странно, но и подозрительно. Надо на всякий случай записать все по порядку, чтобы не забыть. Может, это даже и пригодится.

Дело в том, что за последние дни ко мне повадился брат Виктора, — Володька Шахов (он фамилию так на-совсем и переменял, да мне кажется, что в Союзе нет никому дела до того, бывший он князь или нет). Я уже записывал описание его наружности, но дело не в ней, а в сущности этого самого Володьки. По его словам, общение со мной понадобилось ему потому, что я ближе всех стоял к Виктору. Это-то вздор, потому что к Виктору никто никогда близко не стоял. Я этому Володьке (кажется, сдуру) дал прочитать предсмертное письмо Виктора ко мне, и теперь у меня есть подозрение, что Володька уверен в моей слабыхарактерности. В этом письме ведь написано, что я круглый масляный шар, который пройдет во все ворота, а это можно понять по-разному. Так или иначе, но Володька стал меня охаживать, словно

девчонку. И я никак не мог понять его цели. Говорил он разные такие вещи, о которых у нас и думать-то забыли, и я решил, что это за границей только помнят. Прежде всего началось о Христе, и как я к нему отношусь. Я ответил, что к Христу могу относиться только как вполне сознательный и здравомыслящий человек, а именно: никакого Христа никогда не было, а был лунный миф, это по Немоевскому, а новейшая теория Морозова, которая даже еще не опубликована, а только в газетах было, это—что Христос был, но жил он на четыре века позже, чем сказано в разных евангелиях, и был из аристократического рода. Но мне-то кажется, был он или не был, это все равно, от этого положение не меняется, важно то, что он проповедывал. Со всем этим, надо заметить, Володька согласился и говорит, что ему тоже не важно, был или не был Христос, но вот учение Христа, по словам Володьки, важно, и к нему следует прислушаться. Я тогда спросил Володьку: не к живой ли церкви он принадлежит; и рассказал ему, что я видел в гостях у своего папеньки, еще когда папенька был жив, одного благочинного из живой церкви, и этот благочинный хлестал водку, как свинья, а когда напился, то стал уверять всех, что он еврейский бог Иегова. Так что с тех пор у меня нет никакого доверия ни к живой, ни к мертвой церкви. Но Володька Шахов ответил, что ни к какой церкви он не принадлежит, а что ему важно только познать сущность учения Христа, чтобы от этой сущности оттолкнуться. На это я опять возразил, что мы, материалисты, уже отталкиваемся от учения Маркса и Ленина, и что больше нам никаких трамплинов не нужно. Но Володька согласился и с этим,—что меня заинтересовало. То-есть он не вполне согласился, он только сказал, что учение материалистов только оттеняет сущность гуманитарных теорий, среди которых первое место занимает даже не христианство, а любовь к ближнему. Я спросил, как расшифровать эту любовь, и думал, что он тут выведет какую-нибудь кислосладкую моральку насчет добра и зла. Но Володька начал развивать следующие положения. Во-первых, по его словам, в результате войны и революции произошло всеобщее погрубение, и эта грубость дошла до того, что жить стало чрезвычайно тяжело. Мне это показалось верным. С другой стороны, по Володькиным словам, пройдет известный, может, даже довольно большой срок до того времени, когда будет построен социализм, и настанут иные взаимоотношения; а пока они не настали, нужно пытаться наладить хорошие человеческие взаимоотношения между людьми путем взаимного общения всех тех, кто с этим согласен и кто этому сочувствует. По его словам выходило так, что как только образуются по всему СССР такие пятки одинаково мыслящих (только в области человеческих отношений, и что их нужно сделать действительно человеческими),—то настанет совершенно иная атмосфера между людьми, а главное—социализм будет построить гораздо легче. Я этим заинтересовался. Тогда Шахов признался мне, что такие пятки уже налажены, и что он хочет втянуть в один из пятков меня. Когда я его спросил, что это такое, то он мне раз'яснил, что такие

пятки называются «Кружками Вольных Братьев», и что правительство против них ничего не имеет, потому что «Вольные Братья» не мешают, а помогают строить социализм. Я тогда спросил его прямо, почему об этих самых братьях ничего неизвестно в комсомоле. Но он ответил, что комсомол страшно подозрительно относится ко всем, кто строит параллельные организации для влияния на молодежь, и что поэтому решено первое время в комсомол ничего не сообщать и тоже, будто бы, по соглашению с правительством. Мне это показалось подозрительным, потому что с какой стати правительство будет что-нибудь скрывать от комсомола, но тем не менее я сделал вид, что со всем соглашаюсь, и просил меня познакомить с таким кружком. Вот тут-то и началось самое занятное.

Сегодня Владимир Шахов зашел за мной по уговору в семь часов, и мы отправились. Денег у нас на трамвай не было, поэтому шли пешком. Шли мы очень даже долго, куда-то совсем на окраину, и даже за окраину, потому что около получаса пришлось переходить снежным полем и какими-то перелесками. Была метель, так что лицо все заиндевело, и было трудно дышать, и я задумал воротиться, но Шахов все уверял, что близко, да и мне, признаться, не хотелось отступать из-за погоды.

Пришли к какой-то даче, окна были темные, и я решил, что никого нет, но Володька постучался в дверь четыре раза, и из-за двери какой-то голос спросил:

— Кто?

— Посвященные, — ответил Володька, и меня разобрал смех и вместе с тем какая-то жуть: уж очень было похоже не то на заговор, не то на Шерлока Холмса.

— Какая вещь вам больше всего дорога?—спросили явственно из-за двери.

— Душа человека, — ответил Володька. («А мне — собачий хвост»,—добавил я про себя.)

Дверь раскрылась, и мы, пройдя довольно темный коридор, очутились в широкой и светлой передней, где висело очень много верхней одежды. Горничная (или там чорт ее знает кто) в белом переднике помогла нам стащить с себя пальтишки, и мы вошли в следующую комнату. В ней было почти совсем темно, и Володька сказал мне шопотом:

— Сядись.

Мы сели на диван и посидели минут пять. Я спросил Володьку:

— Что же, дух теперь явился, что ли?

Но Володька сжал мне руку так, что я замолчал. Потом вдруг из темноты раздался голос, так что мне стало опять жутко. Голос спросил:

— Кто с тобой?

— Кандидат в братья,—ответил Шахов.

— А он уже готов к принятию?

— Почти готов.

— Тогда он будет допущен на собеседование младших.

Комната осветилась — кто-то зажег электричество, — но в ней никого не было.

— Что за чорт такой? — спросил я у Володьки, но он опять сжал мне руку и сказал:

— Пойдем, таинственность кончилась.

Таинственность-то кончилась, но зато началась буза. Мы прошли опять по коридору и были впущены в маленькую комнатку, где сидело несколько человек молодежи. Там была одна девчина, но к своему удивлению я увидел там... Пашку Брычева с Ванькиной фабрики. Я было хотел с ним поздороваться, но он мне подмигнул, так что я понял, что лучше не показывать нашего знакомства. Это мне понравилось, потому что показалось в этом больше авантюризма (я вообще-то авантюризма не признаю, но в таком деле он уместен).

В этой комнатенке происходило собрание без всякого председателя, а просто всякий, кто угодно, брал слово и говорил. Говорили тихо, спокойно, так что ничуть не было похоже на наши бурные собрания в вузе. Все это было довольно приятно, но самая суть разговорчиков, когда я прислушался, оказалась совершенно поразительной.

— Ближнего нужно носить в себе, как сосуд, — сказал какой-то белобрысый парень, — но не простой сосуд, а сосуд с драгоценной влагой, и эту влагу никак не допускать к пролитию. (Так и сказал.) Воспитав в себе такое отношение к одному, к избранному, к лучшему, к избранному, мы становимся уже на высшую ступень, мы переходим к общей любви, мы сами становимся общностью.

— Брат, но как поступать в том случае, если к ближнему почему-либо закрадется злоба в сердце? — пропищала девчина.

— Сестра, — ответил белобрысый. — Злобу эту нужно уничтожить и раздавить, как ядовитую змею.

Тогда вмешался я. Я спросил:

— Ну, а как поступать в том случае, если ближний наступит тебе на ногу или залезет в карман?

— Вопрос ваш — дурного тона, брат, — ответил белобрысый. — Даже первичное общение младших Вольных Братьев не допускает таких поступков.

— Да ведь в трамвае или в киношке не станешь объяснять ближнему, который залез тебе в карман, в чем состоит первичное общение?

— Брат, — кротко ответил белобрысый, — вы, очевидно, не введены в простейшие технические правила наших кружков. Дело в том, что первичное общение и состоит в том, что только два младших брата проявляют друг к другу братскую любовь. Когда же любовь эта разовьется и окрепнет настолько, что перерастет любовь к одному человеку, мы расширяем ее пределы, мы допускаем общение на основе любви уже не двум из братьев, а целому пятку. Но при этом, конечно, не возбраняется относиться любовно и ко

всем остальным людям. Не следует допускать крайнего толкования, потому что неопытный брат неизбежно столкнется с материалистическим отношением к себе и к своему братскому чувству.

Говорил это белобрысый складно, словно по книжке читал, но меня задело то, что он сказал насчет материалистического отношения.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Что двум допускается братски любить друг друга — это понятно. Это для начала. Кашу заваривать. Ну, а если у одного из двух, скажем, нету жилплощади, то другой ему отдаст свою, — из братской любви, разумеется?

— Конечно, отдаст, — с жаром пискнула девчина. — Всего себя отдаст, а не то что жилплощадь.

Поглядел я на нее искоса: уж очень плюгавая и с красным носиком, так что проситься к ней в братья не было никакого расчета. А у меня создан уже план.

Я встал и торжественно сказал:

— Братья. Я вполне воспринял ваше учение, и стал его полным адептом. Но позвольте мне самому указать, кого я выбираю в первичные братья. Это вот этого гражда... то-есть брата.

И я указал на довольно-таки откормленного и прилично одетого парня. Парень этот сейчас же оглядел меня с головы до ног, скорчил, как мне показалось, на минутку кислую рожу, потом наклонился к белобрысому и что-то ему прошептал. Белобрысый сейчас же сказал:

— Но вы, вновь обращенный брат, знайте, что и вам придется поступаться личными интересами во имя братской любви. Во всяком случае, если интересы ваши и избранного вами брата разойдутся, вы обязаны апеллировать только к нашему собранию, иначе к собранию младших. В этом вы должны дать торжественное обещание.

— Даю торжественное обещание, — ответил я.

— И кроме того, на первое время вы должны подчиняться избранному вами брату, потому что он опытен и более знающ, чем вы.

— Обязательно буду подчиняться до всякой тютельки, — сказал я и даже зачем-то поднял руку, как германские красные фронтовики. — Только очень прошу мне ответить на один вопросик. А насчет социализма — как?

Все замолчали. Девчина воззрилась на меня, как на крокодила из зоопарка. Белобрысый тоже распылил глаза, потом ответил:

— Несколько не понимаю вопроса. Что насчет социализма?

— Социализм-то строить... опосля будем?

Пашка Брычев фыркнул. Толстомясый парень, которого я выбрал в братья, поглядел на меня еще подозрительней.

— Строительство социализма есть наша программа максимум, — выдавил, наконец, из себя белобрысый. — Мы должны раньше заложить фундамент братским общением друг с другом.

— Так-с. Значит, опосля, — согласился я. — Ну, опосля, так опосля.

В это время дверь раскрылась, и вошла какая-то жирная мадам. — Младшие, — пропела она, глядя в потолок. — Учитель сейчас будет импровизировать. — Тихо ступая на носки, вы можете пройти в общий зал и послушать.

— Рябцев, — шепнул мне Володька Шахов. — Ты только там не скандаль. Ведь тебя никто не заставляет присутствовать. Если собираешься скандалить, то лучше давай уйдем.

— Да не собираюсь я вовсе скандалить, — с досадой ответил я. — Откуда ты взял?

Мне сейчас же в голову пришло, что вот этот самый Шахов, который гораздо взрослей меня и вряд ли не был белым офицером, теперь разговаривает со мной просительным тоном, словно Юшка Громов, когда, бывало, его схватишь за шиворот.

В большой зале сидело очень много народу. У совершенно белой стены стоял какой-то человек с совершенно черной бородой. (Учитель, как я догадался.) Стояло торжественное молчание. Когда мы все вошли и уселись, раздался какой-то странный звук — не то удар в колокол, не то — как в театре перед открытием занавеса.

— Душу свою за други своя, — каким-то совершенно истерическим голосом выкрикнула вдруг та самая жирная мадам. — Учитель, мы ждем откровения на обещанную вами тему.

Учитель весь напыжился, шагнул вперед и вдруг начал выдавливаться из себя стихи. Так как он говорил очень медленно, я успел их записать.

В горах... шел мальчик... пастух... со стадом,
Играя... на звонком рожке...
Река... была... бурливая... рядом...
Со стадом он шел... к реке.

— Заметь, Рябцев, что он импровизирует, — шепнул мне на ухо Шахов. — Это уже проверено неоднократно, он вообще не пишет стихов. А эти стихи только сейчас родились у него в голове.

— Врет, небось, — ответил я шопотом. — Раньше написал.

— Слушайте, тише, — зашипели рядом.

Чернобородый продолжал:

И вот... внезапно... чужие звуки
Ворвались в ущелья гор...
Как-будто кто-то... в безумной муке
На помощь звал простор.
Пастух отбросил рожок пастуший
И замер, таясь, у воды...
Из-за гор неслось: — Эй, слушай, слушай,
Эй, выручи, брат, из беды.

Тут у чернобородого появилось какое-то вдохновение, глаза дико засверкали, он весь подался вперед. В то же самое время в первом ряду встала жирная мадам, протянула к нему руки и склонила голову на бок. Но чернобородый, не обращая на нее внимания, бросил строку за строкой, без всякой заминки:

Играя с ветром, мешаясь с криком,
 Звенел серебряный рог...
 И вот пастух в волненьи великом
 Перепрыгнул бурливый поток.
 Ветер схватил его мощным порывом
 И на крыльях своих понес
 Туда, где над самым глубоким обрывом
 Был самый высокий утес...

Чернобородый замолчал, как-будто в изнеможении. Жирная мадам поплыла к нему навстречу. Чернобородый словно испугался, попятился к стене. Растопырив руки, как падая, он схватился за стену и закричал:

Внизу, под утесом, шумела битва...
 Воздух дрожал от топота ног...
 А в воздухе пел, как ручей, как молитва,
 Печальный серебряный рог.
 На тонкого рыцаря в шлеме крылатом
 Напада́ла толпа сарацин.
 Грохотали удары по кованым латам, —
 А рыцарь был только один.
 Схватив свой меч железной хваткой
 И шпорой медной звеня,
 Он бил врагов и мечом, и перчаткой,
 И тяжелым копытом коня...

В этот момент жирная мадам топнула ногой, словно она и была тот конь, на котором ехал рыцарь. А чернобородый понизил голос до шопота:

Недолго дрожал пастух безоружный,
 Бессильный мальчик-пастух...
 Сжимая в руке свой жезл ненужный,
 Вперед он бросился вдруг...
 И слабое тело упало на копья,
 И было разметано в прах...
 А звуки рога, как снежные хлопья,
 Снова запрыгали в тесных горах...

Тут у чернобородого словно что-то сломалось в горле, и слова стали выходить из него с натугой:

Крылатый... призыв... был вновь... протрублен...
 И взмыл в угасающем дне...
 Никто не видел, как был... изрублен
 Тонкий рыцарь на белом коне.
 Взмыленный конь унесся из виду,
 А в утесах... на самом верху...
 Ветер печальный спел... панихиду
 Тонкому рыцарю... и пастуху.

Стихи-то мне понравились, и нравятся даже теперь, когда я их читаю про себя. Только мне непонятно, зачем пастух бросился вниз, когда он все равно ничем не мог помочь. Тут только одно оправдание, что он, наверное, хотел отвлечь врагов от этого самого рыцаря.

Мне пришло в голову, что мой Пастух, Финагент, нипочем бы не бросился вниз в таком положении, а стал бы швырять камнями во врагов рыцаря. А Вера... та, конечно, отправилась бы прорабатывать вопрос в ближайший коллектив.

Аплодисментов после чтения не было. Жирная мадам объявила, что учитель чувствует себя утомленным, поэтому все стали расходиться. Мы вышли с Пашкой Брычевым.

— Зачем тебя сюда занесло, Пашка? — спросил я его.

— А это... слышь-ка... звали они меня... ну, я поговорил в ячейке... меня и направили... выявлять... Ты, слышь-ка, Коська, — божество они ищут, что ли?

— Чорт их разберет, чего они ищут — сразу и не понять.

— А нет ли тут контры — а, Кось?

— Может, и есть. Походим — так разберем.

По-моему, явной контры нет, но в голове у меня все ясней и ясней складывается план.

18 января.

Первый раз пишу дневник в таком буржуйском месте: передо мной стоит электрическая лампа с зеленым абажуром, на полу — ковер, на стенах — картины, а сбоку стоит здоровенный диванище, на котором я сплю. Жилплощадь эта, конечно, не моя, а моего «первичного брата», Милия Степаныча Ладанова. Но я уже вселился на нее, меня прописали, и живу вполне законно — не то, что в Ванькином или Корсунцевском общежитии. Я еще на собрании братьев взял его адрес, через день приперся к нему и сказал, что мне жить негде. Он помялся, потом предложил жить у него: конечно, я долго упрашивать себя не заставил.

Этот самый Милий, по-моему, или нэпман, или спекулянт: на службу он не ходит, а деньжонки у него водятся. Кроме того, как только он узнал, что я комсомолец, то как-будто даже обрадовался: какие у него планы — не знаю. Предлагал он мне обедать с ним, но я не согласился: жилплощадь — это одно, а обеды — это уж другое.

Каждый вечер у нас с Милием споры насчет материализма, христианства, гуманизма и прочего. Он постоянно делает вид, что мне уступает, хотя в душе, конечно, со мной не согласен. Явно, что социализм ему совершенно не нужен ни в программе максимум, ни в программе минимум. Да кажется, что вообще ему не нужно никакое будущее, и он о нем не заботится.

Были мы с ним на собрании младших, но Пашки Брычева почему-то не было: собрание прошло скучно, а я все еще сомневаюсь, правильно ли я делаю, что не сообщая обо всей этой бузе в ячейку.

20 января.

Сейчас страшно поругался со своим «первичным братом» и грозил набить ему морду. Он обещался «апеллировать к собранию младших». Я сказал, что мне начхать.

Немножко рано, ну — да ничего.

А с другой стороны, я понимаю, проанализировав себя хорошенько, что это все из-за нее.

Я сейчас всё держу в себе, и даже здесь не пишу обо всем случившемся. Мне сейчас это очень трудно, нужно как-то себя преодолеть.

Усиленно хожу на лекции, занимаюсь, хотя в большинстве случаев не слышу, что говорится, а строки в книгах наезжают одна на другую.

Совершенно дурацкая вещь—любовь к девчине, по-моему это тоже в роде любви к ближнему.

27 января.

Я теперь вполне понял, что за штука любовь к ближнему: Милий подал на меня в нарсуд, чтобы меня выселить. Меня уж три раза вызывали на собрание младших, но я не ходил. Чорт их дери совсем. Почти все свободное время просиживаю в библиотеке, делаю выборки, прочитываю уйму книг, чтобы самому себе доказать, что любовь—вредная штука и мешает жить.

Вчера мне целый час не отпирали парадное. Наконец, отпер другой жилец. Таким способом меня не возьмешь.

29 января.

Теперь мне как-то легче стало, и я могу, пожалуй, описать то событие. Оно произошло 19 января. День этот я запомню на всю жизнь, потому что именно в этот день я убедился во вреде пассивности и созерцательной жизни.

Вот в чем дело.

Я сидел один, первичного не было, как вдруг звонок: в дверь просовывается голова хозяйки квартиры (тоже стерва порядочная) и говорит, что меня спрашивают. Выхожу в переднюю — Сильва.

— Как это ты меня разыскала? — страшно обрадовавшись, спросил я.

— Очень просто: зашла к Ваньке, он и сказал.

Села она на диван и смотрит на меня блестящими глазами.

— Ты что сияешь? — спросил я.

— Сейчас все узнаешь, погоди, мне так весело... как никогда.

— Да что случилось-то?

— Если ты хоть немножко ко мне хорошо относишься, тогда тебе тоже будет весело. И вообще, ты не должен отнестись к этому как-нибудь плохо.

— К чему: к этому?

Тогда она встала с дивана, закружилась по комнате и говорит:

— Что бы ты сказал, если бы я вышла замуж?

Я себе на минутку представил: Сильва — и замужем. Муж — бородатый (почему-то мне показалось, что он обязательно должен быть бородатый), а она его целует в лысину. Стало противно и смешно.

— Что-то не вяжется одно с другим: ты — и замужество. На кой тебе чорт оно нужно?

— Да знаешь... как вот ни толкуешь о самостоятельности, но... у нас, женщин, видно, такое естество, что нужно в ком-то раствориться. Впрочем, ты не думай, — Сильва села рядом со мной, — ты не думай, что вместе с тем женщина отказывается от всякого раскрепощения. Это — само собой. Я все равно буду бороться за полную женскую свободу от мужчины. Я даже мысли не могу перенести о том, что я буду там какой-то рабой или самкой. Я своего знамени не опущу и не брошу. — Сильва ударила кулаком по коленке. — Сейчас не такой воздух, чтобы женщине задыхаться попрежнему. Вот, что мне рассказывал... Жорж:

Сильва встала. Как только она упомянула Жоржа, у меня тяжело заныло в сердце.

— Ну вот, он был в этом самом... Узбекистане, что ли, прошлым летом. Ну, и там есть какой-то бывший храм, и подножие этого храма из совершенно голубых камней; понимаешь, должно быть, это очень красиво. На этих голубых камнях высоко-высоко стоит памятник Ленину. Ну, а вот, представь себе революционный праздник, кажется, 1 мая. А они там, эти самые узбеки, ходят в разноцветных халатах, и только женщины — как мертвецы — в черных паранджах, так что им дышать-то с трудом приходится, они ведь плетеные, из конского волоса, паранджи-то... Ночью перед памятником Ленину разжигают большущий костер: представь себе, красный огонь костра озаряет снизу голубые камни, и там где-то наверху — тень Ленина. Собираются громаднейшие толпы, и в полночь, без всякого знака, женщины начинают сбрасывать с себя паранджи и швырять их в костер... Раз — и в костер... Ррраз — и в костер... Достаточно одной какой-нибудь швырнуть, как уже швыряют десятки, сотни... Поднимается вой, плач, раздаются угрозы... Но женщин это не останавливает: они в каком-то экстазе рвут с себя паранджи и швыряют их в костер. Плачут старухи, угрожают мужья; но женщинам все нипочем. И я, знаешь, Владлен, этот экстаз понимаю: ведь паранджа, помимо своих неудобств, — символ рабства, забитости женщины... Правда, их опять через два-три дня заставляют надевать паранджи, но в следующий революционный праздник — та же история. Здесь какой-то величественный процесс освобождения... какой-то мощный массовый протест... Женщин убивают; баи убивают, наемники убивают, но паранджи все летят и летят в красный костер, пылающий под тенью Ленина... Ой, кажется, я красиво заговорила...

— Н-да, — сказал я угрюмо. — Жорж рассказывал?

— А что ты имеешь против Жоржа, Владлен, миленький? — Сильва села рядом со мной и погладила меня по волосам, отчего я вздрогнул, как от электричества. — Жорж — хороший, ведь это правда, родненький мой? Скажи, что это правда?

— Чорт его знает, — с досадой ответил я. — В последнее время от тебя только и слышишь, что про Стремглавского. Неужели других тем нету?

— Я должна сказать тебе все, — тихо ответила Сильва. — Мы с Жоржем расписались.

Мне в эту минуту показалось, что на меня село какое-то огромное, мягкое, черное животное и тупым животом прижало меня к земле.

— Ну, что ж ты замолчал, миленький? — спросила Сильва, глядя меня по волосам. — Ведь пойми, я иначе не могла. Я, конечно, виновата, что не посоветовалась с тобой... В конце концов, ты мне всех ближе из товарищей, мы с тобой вместе росли... А Жорж — ведь это другое... Пойми, он весь деятельный, какой-то огнедышащий, и я ему не могла сопротивляться, когда он мне это... предложил. Я становлюсь не собой в его присутствии.

— Значит, я не деятельный? — спросил я.

— Ты последнее время стал каким-то другим, чем был в школе. Как-будто тебя подменили... По существу-то ты остался таким же, но, должно быть, с тобой что-то произошло, чего я не знаю...

— Прекрасно ты знаешь, — с досадой перебил я. — У меня умер отец, мне на бульварах приходилось ночевать, да я и сейчас, по существу, без квартиры... Ты очень хорошо знаешь — лучше, чем кто-нибудь, как мне приходилось трудно... И вместо того, чтобы подождать, ты...

— Чего подождать?

— Ну... сама понимаешь чего. Что я, объяснять еще тебе стану?

— Конечно, должен объяснить, потому что иначе я ничего не пойму ж, — с горячностью сказала Сильва. — И совершенное свинство будет, если не объяснишь. Чего я должна была ждать?

Тут я понял, что сморозил глупость. Ведь между нами никогда в жизни не было сказано каких-нибудь слов, которые могли бы нас связать. В меня вошла какая-то гнетущая пустота, и я ни с того ни с сего стал ругаться. Мне даже стыдно теперь писать, что я тогда Сильве наговорил.

Она все терпеливо выслушала, потом спросила:

— Чего же все-таки я должна была ждать?

— Ну... мне казалось, что ты... за меня... выйдешь замуж.

— А ты когда-нибудь мне об этом говорил? — живо перебила Сильва. — Знай, что я в тебя влюблена была по уши... в школе. Но ты, во-первых, шился больше с Линой и с Черной Зоей, чем со мной, а потом... откуда я могла предполагать, скажи пожалуйста. Ты стихи написал Черной Зое, а вовсе не мне...

— Стихи были тебе, а вовсе не Зое.

— А я откуда знала? Ты их раньше ей дал прочесть. Да и вообще... поздно сейчас об этом разговаривать. По-моему, ты сам виноват, а я иначе поступить не могла. Хотя это пошлое слово,

а все-таки должна прямо тебе сказать: я люблю Жоржа и без него не могу.

— Ну, и ладно. Перестань.

Я уж не помню, как Сильва ушла. С самых тех пор я все занимался тем, что проверял себя, и поэтому не писал. Как все-таки важен взгляд на себя со стороны. Из моей жизни как-то ушло в лице Сильвы что-то большое, важное и светлое. Почему? — задавал я себе тысячу раз этот вопрос. Конечно, есть тысячи и тысячи девчат еще получше Сильвы, но Сильва мне родней всех. И я ее упустил.

Только сегодня утром меня озарило: конечно, потому она от меня ушла, что я перестал почему-то быть активным, растерялся в огромном коллективе вуза. Так нельзя. Нужно собрать себя. Жизнь валила мимо меня, а я созерцал себя в дневнике... Что за чушь. Делать нужно, а не наблюдать. Бороться, а не растериваться и не расстраиваться из-за пустяков в роде отсутствия жилплощади.

Эти пустяки нужно колотить по загривку, тогда завоюешь жизнь!

К чорту упадочнические настроения!

Буду работать над собой, над жизнью, буду строить со всеми, а не наблюдать. Дубровский у Пушкина пошел в разбойники, когда Маша сказала ему, что она — жена князя Верейского. Но это потому, что Дубровскому некуда было приложить свою энергию.

А мне есть куда:

Наука. Социализм. Борьба.

30 января.

Вчера нарсуд отказал моему первичному в том, чтобы меня выселить, раз я прописан, а сегодня я пошел на собрание младших, потому что меня туда упорно вызывали. Я решил показать вид, что подчиняюсь их авторитету.

Все они были чрезвычайно насторожены и смотрели на меня определенно и перманентно враждебно.

— Брат, — сказал белобрысый. — Нам всем кажется, что вы употребили во зло доверие, которое было вам оказано. Скажите нам, как вы объясняете свое поведение?

— Сват, — нахально ответил я. — Я не вижу ничего такого, в чем мне нужно оправдаться. Что я, маленький, что ли? У меня не было жилплощади, а мой первичный брат Ладанов уступил мне часть своей. А когда я вселился, он сейчас же стал намекивать, что это, мол, не на-совсем, а только на время, и что, вообще, не подыщу ли я себе какую-нибудь другую площадь. Чорта с два. Я полгода искал, я на бульваре ночевал, один раз у проституток даже пробовал, где же я еще буду искать?

— Я как только взглянула на него в первый раз — сразу увидела, что он пользовался этими... женщинами, — брезгливо ввернула маленькая сестрица с красным носиком.

— Конечно, конечно, — ответил я. — Вообще я негодяй. И, как таковой, заявляю, что площади своей никому не уступлю, будь это брат, сват, или сестра с красным носиком (она вся вспыхнула). Площадь — моя, и это вынес нарсуд в своем вчерашнем постановлении.

— Подождите, брат Рябцев, — перебил меня белобрысый. — Не стоит вести разговор в таком тоне. В данный момент никто не оспаривает вашего права на жилплощадь брата Милия. Мы хотим только установить, думаете ли вы построить социализм, если у людей друг к другу будет такое волчье отношение, какое вы проявили к брату Милию? Тем более, что вы как-будто из'явили искреннее желание стать в ряды проповедников любви к ближнему?

— Буза, — ответил я грубо. — Никакой любви к ближнему нет и не может быть. Вы все — или лицемеры, или дураки. Какая может быть любовь к ближнему, когда всякий ближний из открытых или скрытых материальных соображений норовит тебя надуть? Чем я мешаю Ладанову? Тем, что он не может приводить к себе девок, или по какой-нибудь аналогичной причине? Опять материя. Выйдет ли девушка, хотя бы эта красноносая сестра замуж за человека только из любви к ближнему? Чепуха! Даже она постарается найти себе парня, к которому отнесется чисто по-женски, а вовсе не из любви к ближнему... Э, да что с вами говорить...

— Прежде всего, никакой материализм не оправдает ваших ругательств, брат, — едва сдерживая себя, возразил белобрысый. — И достойней всего было бы прекратить с вами и эту беседу, и всякие сношения. Но младшим было бы интересно и поучительно выслушать от вас, какие же человеческие отношения вы предлагаете взамен братских и любовных? Согласитесь сами, что культивируемые материализмом волчьи отношения никак не могут помочь ни построить социализм, ни даже просто облегчить тяжелую борьбу за существование.

— Товарищеские отношения я предлагаю, — ответил я. — Товарищеские отношения на почве взаимных интересов и общей борьбы. Я знаю, что для вас не приемлемо слово товарищ, и один какой-то осел уверял меня даже, что до революции и слова такого не было. Да, товарищеские отношения, без всяких кисло-сладких приправ и поучений. А если уж вам нужна какая-то любовь, то да здравствует любовь к дальнему, к нашему потомку, который завоеует землю и двинет ее по пути, продиктованному человеческим разумом, а не случайностью!! (Недаром я столько времени просидел в библиотеке, у меня слова шли легко и свободно.)

— Это мы уже слышали, — сказал белобрысый. — Но это не убедительно: можно любить только то, что осязаешь и видишь перед собой.

— По христианству, — возразил я, — следует любить бога, которого никто никогда не видел и не слышал, а то, что вы говорите, это и

есть материализм. Ну, а я вот люблю землю, люблю человеческий разум, этот величайший мотор вселенной, люблю человеческую плоть и хочу, чтобы все это процветало и двигалось вперед. Любовь к ближнему — это помеха в общем движении, и поэтому — ну ее к черту! Помните, что творилось двадцать веков под ряд во имя любви к ближнему: войны, погромы, истребления, — все это почти всегда на религиозной почве, и даже величайший из любителей ближних — генерал Оливер Кромвель — сел в калошу, потому что он базировался на любви к ближнему. Но спорить с вами больше я не буду: ни к чему. Это была такая императрица, развратница, Екатерина Вторая, так она то же самое говорила, что и вы: «Сограждане, перестанемте быть злыми!» А сама гноила революционеров в тюрьмах и в Сибири, а Пугачева четвертовала. Так же и вы: любите ближнего до тех пор, пока не задеты ваши материальные интересы. И еще были масоны, которые тоже любили ближнего, а сами драла до смерти крепостных, — я сам читал, и меня не переубедишь. Вы их потомки, братцы, только силенки-то у вас не хватит... Прощайте, голубчики, любите друг друга, только за карманами своими следите...

Когда я вышел на морозный воздух, я очень жалел, что нет Сильвы, и не с кем обсудить все происшедшее. Но жалел я как-то больше головой, а внутри меня все ликовало и пылало. Хотелось продолжить борьбу, только с более сильным противником.

Ну, ничего. Такие еще будут.

.....
.....
31 января.

Получил письмо от Никпетожа с неясным штемпелем: похоже, что из Тотьмы. Это где-то на севере. Вот что Никпетож пишет: «Милый Костя.

Снега и даль, и я мчусь на розвальнях из деревни в деревню. Но не думайте, что эти снега и эта даль навевают на меня лирические настроения: некогда! Голова занята другим. Голова занята горячим, напряженным обдумыванием ответов на те вопросы, которыми закидывает меня деревня. Вы и ваш товарищ (да полно, пастух ли он?) помогли мне н а й т и с е б я в современных условиях. А то я было дошел черт знает до чего, сами знаете. Какой-то тупик, не было выхода. Вот мы всегда, городские люди, сидим в своих клетках и тупеем. И забываем, что есть огромная, необозримая Россия, деревенская Россия, на хребте которой мы живем. И знаете что, Костя: деревня не та, совсем не та, какой мы себе ее представляем и по официальным реляциям, и по подсказам шептунов. Революция и тесно связанная с революцией радиосеть перевернули деревню кверху дном. Деревня покорно несла на своей спине паразитов. Деревня бунтовала. Вот два проявления деревни, какие мы знали. А теперь деревня — знаете что? — деревня спорит. Она уже не подчиняется безропотно, но и не

бунтует бессмысленно. Деревня спорит... в одной своей части — за власть, в другой — против власти... Но спорит! А спорит — значит мыслит! А мыслит — значит растет!

Стройте там, черти, в городе технику! Сумеете построить, — деревня пойдет за городом. Не сумеете, — пеняйте на себя.

И — как можно больше городских людей в деревню. И не складывая, а теперь же, сейчас, в этом настоящая, острая, горячая нужда: нужны и врачи, и мотористы, и агрономы, и ветеринары, и даже такие, как я, нужны здесь до крайности...

Уже поздно. Случайные мои хозяева давно спят, а надо мной, мигая, мерцает электрическая лампочка, — да полно, не чудо ли это? — в таком медвежьем углу, вместо лучины — электричество (деревушка называется — Глухие-Углицы), но разговорчики о лампочках стали уже стандартом, тут дело не в этом, тут гораздо глубже...

Я вам написал, что не испытываю лирических настроений. Пожалуй, знаете, Костя, это неправда. Когда на горизонте в снежной мгле синий лес, а на другом — дальше сияние какого-то отдаленного завода, а по трудной дороге лошадка тащит розвальни со мной, ямщиком и почтой — ворохом жалоб, просьб, сведений, приказов, сообщений, денег, в этой триаде мне чудится какой-то смутный образ родины, и я иногда шепчу про себя:

— Вперед, милая Россия, вперед!

Правда, странно?

Но в общем пока хорошо.

Прощайте.

Ваш кольцевой почтальон Николай Ожегов».

Лианозово — Москва, — Кисловодск — Кунцево 1926—28 г.

Место под солнцем

Лирическая хроника

ВЕРА ИНБЕР

Оратор римский говорил:
«Средь бурь гражданских и тревоги
Я поздно встал и на дороге
Застигнут ночью Рима был».

Тютчев

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В южном городе, осенью в год гражданской войны, наступили прекрасные дни, когда море неомраченно синело, и ветер спал свернувшись, как якорный канат. Было так тихо, что даже у берега, там, где обычно курчавится мелкий прибой, синяя вода была как бы срезана ножом. В тот год был дынный урожай. Гладкие и змеино-пестрые дыни переполняли город. Ночи были темны и часто вздрагивали от падающих звезд.

Эвакуация белых началась с окраин, началась тихо и буднично: вывозили сено и пишущие машинки. Но постепенно она убыстрялась в ритме, как праздник или катастрофа, она шла к центру, она захватывала все новые улицы. Порт был захвачен ею, в порту люди дрались из-за вершка паровой палубы, паровые трубы вопили: «Скорей, скорей-ей», и только море синело безмятежно.

В шорохе опадающих листьев, в блеске падающих звезд, в чистоте и прибранности осенних улиц эвакуация окончательно дозрела. На второй день на приморском бульваре, из окон лучшей гостиницы летели вниз желтые, спелые, как дыни, чемоданы и с треском лопались на мостовой. Добровольческие мальчишки в шинелях английского образца набивали карманы бутербродами и патронами. Добровольческие деньги — денкинские «колокольчики» — звенели все тише и тише, едва слышно. Даже те, которым некуда и не от кого было бежать, впадали в сомнение. Вихревые клубы людей и вещей, летящие по направлению к порту, вселяли в сердце неистребимую тревогу. На крышах пустых уже домов ласточки сговаривались об отлете: их эвакуация тоже была близка.

Переулок был уже оставлен всеми: он был тих и слаб, как выходящий. Греясь на слабом осеннем солнце, лежала на мостовой собака; на ее белой спине сидела муха. Окна углового дома были открыты, и слышно было, как там играли на гитаре и пели песню:

Эх, зачем, почему
Наша жизнь проходит и тает.
Я бокала не допил
И сердце свое не раскрыл.
Ухожу навсегда из родного и милого края,
Где оставлено столько могил.

Дынная корка вылетела из окна на мостовую, муха сорвалась с белой собачьей спины, и голос снова запел: «Эх, зачем, почему...»

Красные были уже совсем близко, уже за лиманом стучал пулемет, тяжелое орудие заявилось где-то со стороны порта. И веселые маленькие пульки защелкали по улицам. В порту отчаянно и прощально заливались пароходные гудки.

В этот самый миг произошла встреча. По улице, прямо на меня, с чемоданом в руке и мешками под глазами, в тяжелой и нечистой шубе бежал хорошо мне знакомый человек. В наш город он попал случайно: его принесло сюда с севера, с берегов Невы. Кронштадтские матросы нажали на него, и он бежал, бросив в Петербурге свой письменный стол, свою кафедру, студентов и свои шесть тысяч томов. У нас в городе, на юге, он отдышался от быстрого бега и стал даже потихоньку обрастать книгами и друзьями. Он любил северные белые ночи, проведенные без сна над сборником стихов, шабли в цветных бокалах и юношей, зеленых от кокаина.

Несмотря на юношей, мы были с ним приятелями. С ним хорошо было сидеть поздно вечером за вином или без, и слушать его. Он любил и умел рассказывать о том, как в период упадка молодые и старые афинские адвокаты чудовищно и сладострастно любили стихи. Они собирались друг у друга без женщин. Венчая друг друга розами, они обнажали и смаковали какую-нибудь юную, только сегодня написанную строфу. Они вышелушивали ее, словно зеленую миндалину, и упивались ее звучанием. На другой день, вялые и шальные, они проигрывали дела и вскоре проиграли империю.

Теперь этот афиновед налетел на меня внезапно, как налетает на человека тоска или болезнь.

— Вы, — сказал он, приостанавливаясь на минуту. — Ах, это вы. А где ваш... этот самый. Одним словом, где?

— Что именно, Игорь Евгеньевич?

— Я хочу сказать, — чемодан. Словом, вещи. Они уже там? — Он подбородком указал на море и вытер потный лоб рукавом шубы.

— Нет, они там, — и я тем же способом указала на город.

В это время пулька щелкнула где-то рядом.

— Сумасшедшая женщина, — взвизгнул он. — Через два часа город будет взят. — Он нагнулся к моему уху: — Французский консул —

мой друг. Он берет меня на свой миноносец. Вот он стоит... за брикваттером.

— Желаю вам счастья, Игорь Евгеньевич. Жаль, что я ничего больше не услышу об афинских адвокатах, которые проиграли империю.

— Империя погибла, — возразил он и взмахнул чемоданом. — Варвары наступают. Прощайте. — И он исчез.

Он исчез. А я осталась. Хотя я нашла в себе мужество упомянуть об афинских адвокатах, но мысли мои были далеки от них. Мысли мои были здесь, в России, в родной стране, которая теперь перекраивалась наново. Пожалуй, еще и сейчас, в эту самую минуту, ухватившись за полу тяжелой и пыльной шубы, можно было очутиться на миноноске французского консула, который ждал за брикваттером. Осенние синие волны понесли бы меня в ту сторону, куда ночью уводит лунная дорога: в Константинополь. Стамбул!.. Я там была, там хорошо забывать. Там над Босфором и еще дальше, в деревнях, есть над самой водой старые турецкие дома, сухие и пахучие, как скрипка. Там можно будет жить ничего не делая, бродя и мечтая, если кто-нибудь согласится финансировать эти лунные ночи и мечтательные прогулки.

В Париже можно будет жить и работать. Можно будет шить белье или продавать шляпы. — Мадам, — скажу я, — если что-нибудь создано друг для друга, так это шляпа, которую вы держите, и вы. — «Моя милая, — ответит мне мадам, — кто научил вас говорить такие приятные вещи?» — Мадам, — скажу я снова, — у себя на родине я не предполагала, что мне придется стоять у прилавка. Я читала, раз'езжала по свету, беседовала с друзьями, словом, вела приятную и легкую жизнь. Естественно, что я накопила много приятных и легких слов. — Впрочем, конечно, вздор. В Париже дамы, покупающие шляпы, не разговаривают с продавщицами о жизни. Вообще я боюсь, что буду не на месте в шляпном магазине. Тогда остается белье.

Я умею шить и вязать. Перед тем, как родилась Киска, моя дочь, я сшила ей чепчик и связала фуфаечку. Не моя вина, если все это потом на нее не полезло. Я предполагала, что родится маленький хрупкий мальчик, а вместо него получилась огромная толстая девочка, которая плакала басом и так сосала кормилицу, что та попросила прибавки.

Но дело было в том, что я не хотела продавать шляпы и шить белье. Я хотела остаться здесь, где я есть.

Случилось так, что как раз в самую сложную и ответственную минуту моей жизни я осталась одна. Со мной, правда, была Киска и Юлия Мартыновна — Кискина бонна, но мужчин не было, — они внушают нам, женщинам, чувство соревнования. Соревнуясь же, мы становимся решительнее и умнее.

Положение было серьезно и не располагало к улыбкам. И все же уехать я не могла. Не могла и не хотела.

Вечером того же дня кончилось веселое, нарядное бабье лето и началась нешуточная осень. Красные заняли город. Войдя в него, они как бы принесли с собой нерастраченные заряды дождей, гул осеннего моря, тучи, тяжелые и рваные, как их шинели. Крышки их походных кухонь были окислены горькой солью степных обедов. Декабрь в лютой папахе сидел в тачанке: на груди у него голод и холод переkreщивались, как пулеметные ленты.

Вечером, занавесив окна спальни, чтобы не бояться ночи, я высыпала себе на колени все свои багатства. Я опорожнила все свои сумки, ящики и кошельки. Сделав это, я задрожала при виде стольких ничтожностей: у меня не было ничего. Мое состояние равнялось пустоте кольца: другими словами, нулю.

У меня на коленях лежали, главным образом, старинные пустяки. Панцырные браслетные змееныши, кусающие собственный хвост, брошь из синей эмали, наполненная воздухом, как пирожное. Пара плоских квадратных и раскосых часов на черной ленточке. Впоследствии часы эти я тщетно старалась выменять на маринованное сало. Баба, привезшая сало, сидела на возу, как башня. Она была окутана тремя великолепными пледами, на ногах ее лежала лисья шуба. Не сгибая головы, баба глядела вниз на колеса, где стояла я с часами в руках и говорила: — Да хиба ж это часы? Да чего ж воны скосоротились? Ни.

Так и не взяла баба часов, убоившись их необычности. Вся эта раскосая чепуха — это все, что у меня было. Как все это оказалось легкомысленно и ничтожно!.. Где были серьезные подлинные драгоценности, бриллиантовые звезды в атласе футляров, изумрудные стрелки, рубиновые мухи, круглые жемчужины, еще теплые от сейфов? Где были кольца с одним огромным камнем, освещающим всю руку? Ничего этого не было. Одно лишь было: кольцо опасности за окном, в огнях прожекторов и сигнальных ракет. Оно было близко и могло сдавить меня в любую минуту.

Киска крепко спала, положив себе под щеку плюшевого зайца: зайца звали Джерри. Джерри был старый, матерой русак, затравленный Кискиными ласками. Одно ухо у него было надорвано и висело, другое, чрезмерно укороченное починкой, торчало кверху. Питался он преимущественно паклей из дивана и шоколадом.

Вблизи Киски, разложив перед собой цветные клубки, Юлия Мартыновна на деревянном грибе штопала чулок. Ее светлые латышские волосы были оттянуты назад. Ее изумительная штопка, за которую в свое время она получила на состязании штопальщиц в Риге первую премию, была в эту тревожную ночь изумительна, как всегда.

— Юлия Мартыновна, — сказала я, перебирая ее клубки. — Должна вам сказать, что я сейчас бедна и одинока, как вот этот наперсток. Я ценю вас очень, Юлия Мартыновна: вы прекрасно смотрели за Киской, а однажды, помните, когда она проглотила пуговицу, вы

даже спасли ей жизнь. Но платить вам мне теперь нечем. И поэтому мы должны расстаться.

Говоря так, я лукавила. Мне казалось невозможным, чтобы Юлия Мартыновна оставила меня, меня, которая дарила ей шевиотовые платья и так охотно слушала ее рассказы о кузене в Риге, который, обещав жениться, изменил своему слову, открыл колбасную фабрику и влюбился в аристократку.

Выслушав меня, Юлия Мартыновна несколько минут молчала. Она взяла второй чулок, она вдернула новую нитку. Киска засмеялась во сне; осенняя ночь, пролетая над домом, дохнула ветром; я ждала, затаив дыханье. Юлия Мартыновна ответила мне:

— Я у вас очень хорошо жила. Я буду у вас дальше жить, если вы мне дадите в этот месяц пикейное одеяло и два полотенца. А в следующий месяц фибровый чемодан, а еще дальше я вам буду говорить, что мне нужно.

Ее ответ был для меня первым из той серии уроков, которые мне надлежало получить. Должна сказать, что в те тяжелые годы, которые мы провели вместе, она была мне опорой и защитой. И в тот день, когда она под выстрелами принесла для больной Киски кувшинчик молока, я подумала, что пикейное одеяло и фибровый чемодан, пожалуй, уж не такая дорогая плата за ее услуги.

Все было необычно в тот год на юге. В конце осени, когда полагалось лить докучным, но, в сущности, не злым дождям, внезапно, при страшной синеве неба без единого облака, без намека на жалость, при стальном и стеклянном ветре начались двадцатиградусные морозы. Море цвета бешеного аметиста, все в пенных сугробах, рвущее и ревущее, обрушилось на мол и пыталось сокрушить маяк. И тогда население города, ужаленное холодом, заметалось по улицам в поисках труб.

Топлива ни у кого не было, центральное отопление умерло, радиаторы были смертно холодны. Даже голландские и чугунные печи не шли в счет: они были слишком прожорливы. На смену им всем появились «буржуйки» — неприхотливые железные создания с тонкими ногами, прямоугольным туловищем и длинной шеей: такими Киска рисовала лошадей.

В первый же морозный день по городу замелькали эти печи. Их несли на плечах, везли на извозчиках, на тачках, в колясочках. Их покупали на последние деньги, выменивали на вещи, на хлеб. Лавчонки жестянников были мгновенно наводнены синими от холода людьми, жаждущими труб. Трубы продавались на аршин: колена и вьюшки шли отдельно. Самой убогой печке, как и человеку, полагалось два колена. Для колен требовалось время, для вьюшек тоже, для труб тоже.

Мы с Юлией Мартыновной, как и все, пошли к жестяннику, стали там в очередь, плакали перед седобородым важным евреем. Он нахмурил свою бровь, назначил срок, время и цену. Мы просили уменьшить и то и другое: он не согласился. Это был его день, и он был прав.

Принеся домой на руках холодную и острую печку и гремящие трубы, мы начали устраиваться на зимовку. Наш дом стоял там, где город понемногу разжимает каменные челюсти и начинает блаженно зевать пустотами садов. Дом был большой, новый, выверенный, как хронометр, рассчитанный на что угодно, только не на революцию. Вода, свет и тепло притекали в него точнейшим образом, когда в стране был порядок. Но в тот год дом этот с его застрявшим лифтом, погасшим электричеством, мертвым отоплением и безводными кранами, был страшен и жалок.

Нижний этаж был занят складом цветов и семян. Там в низких ящиках росла веселая низкая зелень, в шкафах лежали семена, на шкафах расположились гипсовые модели корнеплодов: морковь, свекла, репа и тыква. Все такое большое, новое и яркое, как в детских снах. В плоских ящиках спали будущие клумбы, газоны и огороды.

Четырнадцать смен правительств доканали всю эту растительность в самом зародыше: низ дома пустовал. Равным образом пустовали остальные этажи. И только на одном из них, бежав из больших северных комнат в маленькую южную детскую, жили мы трое. Но, конечно, трех наших слабых дыханий не хватало, чтобы наполнить хотя бы подобием жизни столько стекла и железобетона.

Море было рядом. По ночам оно вело себя как пятнадцатое, самое мощное правительство, идущее на город с тем, чтобы поглотить его. Ветер просторов и безлюдий тряс наши окна за плечи. Масляная коптилка в одну двадцатую свечи содрагалась от его ударов.

Воду приходилось носить из других, более низких частей города. Там, в чужих дворах, в чужих подвалах, в темноте, у крана выстраивалась очередь: ведро наполнялось десять минут. Порой кто-нибудь зажигал спичку, чтобы проверить уровень воды. Но это бывало редко: спички продавались поштучно, и каждая стоила дорого.

Нашу «буржуйку» мы питали прекрасно: преимущественно классиками и дубовым буфетом. Мы начали с Шекспира в издании Брокгауза и Ефрона. Издание это роскошно и чрезвычайно продуктивно в смысле топлива. Мы начали с него. Творения великого англичанина, как им и подобало, наполнились жаром и блеском страстей, пеплом раскаяния и пурпуром преступлений. Леди Макбет вставала в пламени, король Лир плакал в трубе. Горящий кусок буфета бушевал, как мавр в огненном плаще, покуда сверху, над ним, жарилась постная лепешка, желанная, как Дездемона.

В одну из таких ночей, когда неосвещенный и замерзший город был так тих, что в темноте можно было споткнуться о него, наша дверь задрожала от ударов. — Откройте, — сказал мужской звучный голос. — Обыск.

К нам в комнату вошли трое в шинелях и один в драной шубе, подпоясанной ремнем. Один встал у двери, другой, весь распухший, сел у стола, поигрывая ручной гранатой. Двое искали.

— Нам известно, — сказал человек с красивым голосом, — что у вас скрыта валюта: бриллианты, пшено и прочие драгоценности. Так вот...

— А не то к чортовой матери, — хрипло произнес сидящий с гранатой. — Революция не имеет пощады.

Тут проснулась Киска и заревела:

— Это мое, — сказала она, ухватив Джерри за больное ухо. — Это мое, потому что это заяц.

Все беспокойно зашевелились, а главный из них внезапно погрубел:

— Ну-ка, пусть девчонка помолчит, — сказал он. — Не то гарантирую неприятности.

— Обезвредить сволочей, — дрожа в ознобе, подтвердил человек с гранатой.

В эту минуту мне стало по-настоящему страшно: я поняла, что человек с гранатой болен и пьян.

Они ушли, унося с собой многое из того, на что мы собирались жить несколько месяцев. На утро мы узнали, что поблизости были ограблены не мы одни. Бандитская четверка, которая грабила, была вскоре поймана, и главарь их расстрелян. Я подозреваю, что это тот, кто гарантировал мне неприятности.

Через несколько дней, когда уже выпал снег, к нам пришли два матроса с целью реквизировать квартиру для отряда Особого Назначения. Один из матросов, в черной буршлатке, был аккуратен и чист до блеска. На его фуражке, на муаровой ленте грозная, хорошо всем известная надпись «Алмаз» сияла неомраченным золотом, как на детской шапочке слово «Шалун» или «Мамин любимец».

Матрос с «Алмаза» был совершенно спокоен: только на щеках у него ходили желваки, а ярко-синие глаза были безмятежны, как спирт в барометре, когда тот показывает бурю.

Мы прошли по оледенелым и покинутым комнатам, прошли гостиную, где увидели толстые, мохнатые от мороза стекла, кучу мерзлого картофеля под роялем и сам рояль в радугах стужи. В кабинете книжный шкаф был раскрыт, и полка Шекспира зияла бескровной, но смертельной раной.

Матрос с «Алмаза» сразу понял в чем дело. — Книжки жгете, — сказал он. — Жгете книги. Расхищаете народное достояние. Это вы которого же писателя пожгли?

— Шекспир, — ответила я. — Вильям. Жил в шестнадцатом веке.

— Такого не слышал. — Он наклонил голову, читая сбоку корешки книг. — Александра Пушкина не жечь. Николая Гоголя не жечь. Михаила Лермонтова не жечь тоже. Понятно? — спросил он, поворачиваясь ко мне широкой суконной спиной.

— Понятно, — ответила я.

Детскую, где мы обитали, он прошел из двери в дверь, как сквозняк, прошел, не вынимая рук из карманов, не останавливаясь и не опу-

ская глаз, устремленных как бы на далекий горизонт. Оттого, что он не глядел себе под ноги, он, проходя, разрушил строение из Кискиных кубиков. Но тайны женского сердца поистине глубоки. Вместо того, чтобы рассердиться, Киска улыбнулась. Ее тонкие бровки поползли кверху, на щеках запорхали ямочки, она сказала: — Ты самый симпатичный из налетчиков.

От ее слов, кровь зажужжала у меня в ушах, но матрос с «Алмаза» даже не взглянул на нее.

Квартира не подошла для Особого Назначения. Перед тем как уйти, матрос чернильным карандашом на измятой бумаге написал приказ о том, чтобы Пушкина не жечь, Гоголя не жечь, Лермонтова тоже. Рояль же, стоящий в холоде, «негодном для роялей», укрыть одеялом или ковром. Дальше было сказано, что рояль есть народное достояние, и что за каждую лопнувшую струну я отвечаю перед Республикой, равно как и за все свое имущество.

Приказ был написан мучительно квадратными буквами, печать была поставлена тут же. Печать была вынута из матросского клеша и оставила на бумаге волнистый след: вернее ее вовсе не было. И все же в приказе была сила, которой нельзя было не повиноваться.

И все же в скором времени я отчасти расхитила народное достояние, за которое я отвечала перед Республикой: я тайком продала три суконные портьеры, чтобы купить макухи и мыла.

Покупателя нашла Юлия Мартыновна. Это был синеватый брючет. настроенный конспиративно. О деле он говорил обиняком, облизывая глазами стены. — Какие дивные погоды, — начал он, — просто отдыхаешь душой. Покупаю ковры и меха за наличные. Какая замечательная девчурочка. Девочка, пойдн сюда. Желательна швейная машина, если есть запасные шпульки. Вид у вас из окна безграничный. Покупаю краны, звонки и паркет на корню. Вид божественный.

Он вывез портьеры в детской колясочке, свернув ткань наподобие детского туловища. Занавески были спущены и ножки были прикрыты цветным одеяльцем, чтобы не простудить дитяню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Почти у самого бульвара дома расступились плавным полукругом, давая место площади, посвященной Екатерине Великой. Перед императрицей в пролете зданий синел и зеленел лучший кусок порта, где бросали якорь лучшие корабли. Над ней синел и зеленел лучший в городе кусок неба, куда, как в гавань, заплывали на закате облака. Что касается земли, то на ней, по краям площади, было много греческих лавок: каждая из них пахла фруктами, орехами, вином и морем, словно лодка контрабандиста.

Екатерина была поднята на цоколь из красного гранита. На ней были все ее ленты и ордена. Ее шлейф, бесконечный, как ее империя, падал пудовыми складками. Пухлой и властной рукой она указывала на город, на степную и морскую Новороссию, распростертую во все

концы. У ее ног, окружив ее чугунным кольцом, стояли ее сподвижники, любовники и генералиссимусы: Потемкин, Орлов, Суворов и другие.

На этот цоколь, на этот темно-красный монолит было решено поставить Карла Маркса. Торжество открытия памятника состоялось в зимний день, когда туман клочьями носился по городу и за углом площади разрушался дом, из которого были вынуты все деревянные части для топки. Здесь же, на площади, лежала дохлая лошадь чугунного цвета и чугунной тяжести, словно Потемкин Таврический, стоявший раньше у ног Екатерины.

Памятник был закрыт парусиной. Наконец, холодные и злые трубы и волторны заиграли «Интернационал», и мы, стоящие внизу, увидели великого Карла. Действительно, он был велик, даже огромен. Памятник состоял из одной головы, как богатырь, с которым сразился Руслан. У Маркса не было ни плеч, ни шеи. Каменная волна волос сливалась с бородой, плоскости щек были квадратны, потому что скульптор был кубист.

То время вообще было богато памятниками. Революция была совсем еще молода, это был ребенок, который нуждался в игрушках. Во всех городах страны появились тогда самые разные сооружения, — то непомерно большие, то, наоборот, непонятно мелкие. Иногда это была голова Маркса на высоте, и даже не голова, а одна только едва оформившаяся мысль. Иногда невнятное скопление смутных фигур, стоящих почти на земле и обнесенных деревянной оградой. Приехав в Москву в двадцать втором году, я застала еще у Арбатских ворот стену, на которой были начертаны охрой мировые имена, имена бунтовщиков, ораторов, ученых, воинов и актеров. Рядом с Сен-Жютом была Дузе и рядом с Тимирязевым — Мирабо. Все было смешано, как в минуту сильного душевного напряжения. В этих спешно написанных великих именах, равно как и в путанице гипсов, размытых впоследствии дождями и искрошенных ветрами, было то, что поэт хотел сказать словами: «Мрак и холод молодых республик».

После труб и волторн на открытии памятника заговорили люди. На возвышении встал знакомый мне матрос с «Алмаза». Его куртка была расстегнута, и ветер обдувал его белую шею. Обращаясь к стоящим внизу и указывая рукой на город, на степную и морскую Новороссию, распростертую во все концы, он произнес речь. Я хорошо запомнила ее, потому что стояла близко, и слова летели надо мной, как дождь, погоняемый ветром. — Товарищи, которые внизу, — сказал матрос. — Мы свергли царя. Это не факт, это на самом деле было. Но мы пойдем дальше, потому что маятник двенадцатого часа подпирает уже под самое горло мирового империализма. Товарищи, вас будут и н з и т ь пули, но вы не обращайтесь на это никакого внимания. Товарищи, которые внизу, мы знаем...—В этом месте его речи за углом тяжело обрушился кусок дома, как бы ставя точку. Это была новая орфография эпохи; где были свои знаки препинания и свои

законы. Город был переписан наново, как декрет, и все ненужное вычеркнуто. Были вычеркнуты многие удачно разработанные жизни, как например, жизнь «Мистера Пирибингля». Тайну этого литературного псевдонима не следует раскрывать, потому что человек этот жив, живет в Париже и жадно читает советские книги.

Мистер Пирибингль был журналист и москвич. На юг его занесло случайно, как Игоря Евгеньевича, как многих других, но почему-то осенью он не уехал вместе со всеми. Он остался и скрылся много позже, ранней весной, когда сады уже запушились сиреневым пухом, и мы перестали рубить мебель на дрова. Тогда мистер Пирибингль нырнул в весенний туман, задернул его за собой и вынырнул по ту сторону границы, на румынском берегу, откуда перебрался в Париж.

Незадолго до его отъезда, мы пошли с ним за город на прогулку. Мы пришли на кладбище, где гробы отдавались напрокат от жилища покойника до его могилы: в нашем степном краю лес был слишком дорог, чтобы зарывать его в землю.

Мистер Пирибингль и я, мы обошли оба кладбища: еврейское и русское. На еврейском мы заглянули в склеп знаменитого цадика: там за решёткой были каменные скрижали, мерзость запустения, жирный мрамор и опрокинутые лампы. Тополь, росший до революции у склепа, был срублен. Все деревья обоих кладбищ были срублены, потому что красота не так нужна мертвым, как тепло живым. Памятники были расхищены, все было голо и безрадостно, как сама смерть.

В одной из боковых аллей мы застали конец погребения. Здесь не было ни священника, ни раввина: красное коленкорое знамя профсоюза «Игла» лежало на черной бархатной земле. Извлеченная из глубины земля эта была полна соков и богатств: нищета поверхности не коснулась ее. Мы услышали конец надгробного слова. — Он жил и работал, — было сказано о покойном.

Мы сели отдохнуть на кроткую христианскую могилку какой-то Аси, с хилым крестиком, на который не польстился ни один вор. Мы были очень задумчивы. — Жил и работал, — повторил мой спутник только что услышанные слова. — Это напоминает мне эпитафию на могиле одной греческой танцовщицы: «Плясала и нравилась». Больше мы ничего о ней не знаем. Какая краткость. Это кратко, как сама жизнь.

Мы помолчали.

— Необходимо как можно скорее уехать отсюда, — начал снова мистер Пирибингль. — Я не виноват, что эпоха сломалась именно на моем поколении, которое от этого кровоточит. Я не хочу быть раной.

— Лучше быть раной, чем опухолью, — возразила я. Потом мы снова надолго замолчали, следя за тем, как скворцы, прилетевшие из теплых стран, ищут деревьев и не находят их. Вскоре после этого мистер Пирибингль нырнул в туман: он предпочел быть опухолью.

Все это было весной, но зимой он, казалось, вовсе не помышлял об отъезде. Он жил, как все, и даже служил: он заведывал яичным отделом в учреждении, ведающем питанием. Белые и кремовые яйца

хохлатых украинских кур омрачили жизнь мистера Пирибингля неслыханными заботами. Отдавая яйцам столько времени и сил, он переключился на птичий лад свое мышление. Это стало совершенно очевидным в тот день, когда, разбив часы, он сказал: — Часы разбились, и время вытекло из них, как желток из яйца. — Положительно, он стал смотреть на мир с точки зрения курицы.

Так жил он. А мы... мы жили сурово. Мы плохо ели, мы пили чай с сахарином, который противоестественен тем, что нейтрален. Он не вреден и не полезен: он ничто. В жизни так нельзя.

Мы пили чай с сахарином, но Киске нужен был сахар. Она росла, и ей, этому комочку нежности, нужно было масло, молоко, сахар. Юлия Мартыновна в сапогах и тулупе, как золотоискатель, приносила с рынка маленький, тяжелый, сырой мешочек рыжего сахара, драгоценного, как золотой песок.

Юлия Мартыновна и я, мы вели жизнь пионеров и конквистадоров. Мы кололи лед, кипятили снег, чинили трубы, лечили Киску от желтухи. Я не знаю почему, но однажды ночью у нас пошла вода. Мы долго лежали в темноте, слушая и не веря, как в смежной ванной комнате нежно, словно неопытный соловей, защебетал маленький кран над раковиной, потом влажным широким горлом зарокотали большие краны. Как, наконец, захлебываясь и клопоча, вырвалась на волю мелодия воды. И тогда мы крикнули: «Вода», голосом колумбова матроса, увидевшего землю.

Я пришла к мистери Пирибинглю в его яичные владения за советом и помощью. Я пришла просить его о службе. Служба была нужна мне не только потому, что таяли запасы, не только потому, что жизнь, незащищенная удостоверениями и пайками, становилась чрезмерно сложной, но главное потому, что меня трепало и било ветром событий, меня сносило водой: мне нужен был хоть какой-нибудь якорек, чтобы удержаться в новом мире.

Яичный подотдел помещался на бульваре в одной из комнат особняка, обшитой дубом. Затоптанный бобрик, цвета петушиных гребней, устилал пол, и с потолка свисала венецианская люстра, как луна с локом.

Мистер Пирибингль сидел в драном кресле, крытом парчой. Черные резные амуры, дети негритянских ангелов, резвились на высокой спинке кресла и поддерживали тяжелые ручки. Такой же стол, черный, с амурами и крыльями, утопал, как в розах, в красных и зеленых квитанциях. Сбоку, на футляре от ундервуда, лежало продолговатое голубое, явно утиное яйцо.

Комната была нетоплена, и мистер Пирибингль, в пальто и шапке, разглядывал человека, стоявшего перед столом, и слушал его объяснения. Человек объяснял:

— Я, товарищи, не возражаю: реквизируйте. Но курица — птица нервная. Она впечатлительная, имейте в виду, и несется только при полном душевном спокойствии. Обращаю ваше внимание.

— Что же вы предлагаете? — спросил мистер Пирибингль, барабаня пальцами по голове резного амура.

Человек ничего не предложил, после чего ушел.

— Послушайте, — сказал я, выждав, когда человек ушел, — у меня к вам дело. — И в амбразуре квадратного окна, за яичными ящиками, я попросила его о службе. — Вы занимаете ответственный пост, — сказала я. — У вас связи. Вы можете мне помочь.

— Бедный цыпленок, — произнес мистер Пирибингль с административной нежностью. — Не бойтесь, я возьму вас под свое крыло...

Учреждение, где мне надлежало служить, не могло похвастаться ни венецианскими люстрами, ни амурами. Это была длинная, желтая и голая комната. Письменные столы, как верблюды, шли вдоль стен. Их ноги были покрыты ранами длительного пути, нутро набито грузом не всегда переваренных отношений и требований, и их чернильницы были бедны влагой. У двери, на табурете, зеленый, как оазис, курьер заведывал посетителями.

Главным вожаком каравана был бледный и упорный человек. Взамен правой руки, у него был пустой рукав, засунутый в карман. Это был товарищ Шуляк, мое начальство. За недолгий срок моего пребывания здесь я хорошо изучила его. Я видела его в трудные минуты, когда неслаженное еще и первобытно громоздкое учреждение стонало и скрипело на ходу. В руках товарища Шуляка, вернее в его единственной руке, было сосредоточено снабжение продовольствием общественных столовых. Он распределял нещедрые запасы муки, гороха, сала и, главным образом, ячневой крупы, бывшей на юге тем же, чем было пшено на севере. Кстати сказать, самое ужасное, что я когда-либо ела, была ячневая каша, облитая сахариновым раствором.

Товарищ Шуляк распределял все эти пайки, эти скудные рационы голодной зимы, когда досыта ели только те, кто сражались. Товарищ Шуляк и в тылу был тем же командиром бригады, каким был на фронте, пока не потерял руку. У него и здесь бывали страшные минуты, когда тыл был прорван, как и фронт. Когда даже для самых жидких похлебок не хватало припасов, и число больных различными тифами грозно увеличивалось. Тифы были разнообразны, и один из них, возвратный, в некоторых случаях возвращался до пятнадцати раз, словно неотвязный кредитор. Очень часто вместе с пятнадцатым разом приходила смерть.

Тогда товарищ Шуляк, начальник Шуляк, командир Шуляк развертывал свои резервы: бомбардировал город тяжелыми ядрами капусты, осыпал его картофельной картечью, слал на врага соленые синие лезвия сельдей, спрессованные для боя, и часто побеждал. При всем том, товарищ Шуляк был очень спокоен и внимателен ко всем. Он потерял спокойствие только раз, когда узнал, что по недосмотру заведующего складом крысы с'ели два пуда мороженого сала и мешок кукурузной муки. Заведующий складом был вызван товарищем Шуляком в отдельную комнату. Их беседа была тиха, ни единого звука не доно-

силось из-за закрытой двери. И все же всем стало смутно и грозно, как будто рядом судил военный трибунал.

В длинной желтой комнате на мою долю выпал крытый клеенкой письменный стол из сосны, заgrimированной под орех. На мне лежала обязанность регистрировать наименования и количество продуктов, отпускаемых общественным столовым. Мой день начинался так: мне приносили требования и расписки, нанизанные на железный прут, как шашлык. Я снимала их осторожно, я погружалась в зыбучие пески ячневой крупы, я вписывала все это в узкие книги. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна, каждая описка была преступлением.

Я старалась быть безошибочной и точной, но ошибки возникали снова и снова. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна, я была преступница.

Моим начальством был товарищ Шуляк, но, как всякое начальство, он был далеко: нас разделяло несколько столов и одна дверь. Рядом же со мной, моим прямым руководителем и соседом, был бывший бухгалтер. Он видел все мои промахи, которые были велики: мои ничтожные достижения ускользали от него. Он не понимал, как можно иметь почерк такой, как мой,—я тоже не понимала этого.

В один особенно злосчастный день бывший бухгалтер, поглядев на мою страницу, испещренную помарками, ничего не сказал, но тихонько замурлыкал в свои висячие бурые усы: «Сердце мое, моя плутовка», что служило у него признаком сосредоточенной и хорошо отстоявшейся ярости. Товарищ Шуляк был далеко и, казалось, ничего не видел. Но, проходя, он попросил меня остаться после работы на два слова.

Двух слов товарища Шуляка я стала ждать с тревогой в сердце. Кроме того, как раз в этот день я спешила. В одном из ящиков моего стола лежал сверток, чья судьба волновала меня. По поводу этого свертка у меня было назначено свидание с американцем из «Ара»: час свиданья был уже близок, а товарищ Шуляк велел мне остаться.

«Ара» было американское общество помощи голодающему населению Украины. Америка посылала Украине муку, яичный порошок, какао, сало и кокосовый жир в больших светлых банках. Служащие «Ара» были большие светлые люди в шерстяных жилетах и прекрасной проузоренной обуви. Они держали себя, как ясные лицом и сердцем крестоносцы среди мелкого и дикого сарацинского населения, достойно презируя мужчин, улыбаясь девушкам и великодушно выменивая свои сокровища на темные туземные драгоценности. Драгоценности эти были старинные русские вещи, которые они вывозили пудами.

Некоторые из «аровцев» говорили по-русски, другие об'яснялись жестами. Однажды, у самого входа в «Ара», на улице, тяжелый американский грузовик растряс и просыпал на мостовую рис и какао. Беспорозные, как воробьи, слетелись к месту чудесного происшествия, но стояли поодаль, боясь иностранцев. Тогда рослый смуглый американец, позолоченный сытым солнцем Филадельфии, наклонился, и, снимая перчаток, собрал с мостовой горсть какао, риса и пыли и, обра-

щаясь к ближайшему беспризорному, сказал: — Америка дает вам. Возьмите. — Это был великолепный жест.

У меня дома, среди моих вещей, был будильник, как бы созданный для того, чтобы отмечать одни только приятные минуты жизни. Фарфоровые незабудки заплели его со всех сторон, и циферблат выглядывал из вороха цветов. Своими незабудками будильник этот как бы просил не забывать. В семнадцать лет эта нехитрая символика восхищала меня: теперь она казалась мне трогательной.

Мне не хотелось продать эту игрушку, которая жила у меня так долго. Но мистер Герст из «Ара», любитель и коллекционер будильников, давал за него банку сала и кило какао. Будильник лежал у меня в ящике, я спешила к мистеру Герсту, но товарищ Шуляк вклинился и помешал.

Когда все ушли, и табачный дым рабочего дня начал постепенно рассеиваться и оседать, товарищ Шуляк приступил к разговору. Комната была пуста, скудное электричество, питаемое неполным током, горело слабо и желто. За окном раскачивались деревья, и невеселая морская оттепель растекалась грязными слезами.

— Товарищ, — сказал мне товарищ Шуляк, что называется в лоб, — вы, стало быть, не годитесь для вашей работы. Вы видите это сами.

— Вижу, — ответила я.

— Вы не на месте, ясно. Но что же дальше?

— Дальше ничего, — ответила я.

— Врете, — сказал товарищ Шуляк. — Такого, чтобы ничего, не бывает. Всегда должно быть что-нибудь. Не может этого быть. Вы учились, я так полагаю. Мозги у вас есть. Вы не имеете права, — повысил он внезапно голос и ударил карандашом о крышку чернильницы. — Вы что же, разве из тех, что продают вещи, чтобы не умереть с голоду и потихоньку ждут возврата старого? Я вас не так понимал, простите. Вы учились. Где ваши знания? В какой области? Подавайте их сюда. Мы учили, стало быть, все возможности страны, склады исследовали, а сюда (он коснулся карандашом моего лба) сюда не влезли. Что у вас там жужжит? Может, нужное нам. Что же вы молчите? Думаете о чем?

Я молчала. Я думала совсем о другом. Меня гвоздила мысль о будильнике. Она пришла незаметно. Слушая товарища Шуляка, я думала: «А вдруг будильник зазвонит. Что бы это было? А вдруг он зазвонит. А вдруг он заведен. Крутили мы его с Киской». И эта мысль о заведенном будильнике, мелькнувшая сначала легко и сжато, расширилась, раздулась, заполнила всю голову. «Если он зазвонит, — думала я, — я должна буду объяснить в чем тут дело. А я не хочу, чтобы он знал, что я продаю будильники. А я не хочу думать о том, что он подумает, когда узнает, что я продаю будильники». Эта мысль сидела во мне и мучила, а в это самое время товарищ Шуляк говорил нечто важное для меня. Я должна была ответить, а была занята вздором.

— На что вы годны? — настойчиво допрашивал он. Я должна была ответить ему, а может быть, и самой себе, на что я годна, но вместо

этого думала о будильнике: «А что если он позвонит?». И он позвонил. Раздался твердый, резкий, уверенный в своей правоте звон. Он был прав, а виновата оказалась я. Он шел из ящика моего стола. Пустота сумерек наполнилась этим звоном.

— Что это? — спросил товарищ Шуляк и встал.

Я вынула из ящика сверток и развернула бумагу. Фарфоровые незабудки зашевелились, как живые. Товарищ Шуляк молчал. Быть может, он окончательно убедился, что я годна только на то, чтобы делать ошибки в записях и продавать будильники, заведенные неизвестно зачем.

— Дождь, — внезапно сказал товарищ Шуляк, глядя в окно. — Так и льет. А ведь зима.

— Один раз в Швейцарии, — ответила я, — был такой град, что... Мы вышли из комнаты.

В передней, на скамье под вешалкой, понуро сидел Авель Евсеевич с большим черным зонтиком.

— Я принес вам зонтик и галоши, — сказал он. — Не то насморк, например...

Увидя выражение моего лица, которое он так хорошо изучил, увидав товарища Шуляка с пустым рукавом вместо руки, Авель Евсеевич дрогнул и сказал, прижимая галоши к сердцу:

— Не следует относиться к насморку легкомысленно. Им страдали все народы во все века. Древние арабы звали его «ветер в ноздрях» и лечили бирюзой, истолченной в новолуние. В данное время японские врачи готовят...

— Прощайте, — сказал товарищ Шуляк. — Я тороплюсь. — И он вышел первым, не дослушав о японских врачах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Для веселия планета наша мало оборудована.

М а я к о в с к и й

У Авеля Евсеевича в лаборатории при университете были чистота и тишина, несмущаемые никакими бурями. Сильнейшие раскаты грома отдавались здесь легким дрожанием реторт. Синие язычки спиртового пламени покорно лизали медные и никелевые сосудики. На отдельном неподвижном столе расцветала главная достопримечательность этого места: розовое, как лепесток, заячье ухо. Отрезанное от живого зайца, оно питалось физиологическим раствором. Раствор вводился в него особой иглой, проходил по ушным капиллярам, пульсировал тончайшим серебром, трепетал и дрожал, после чего вытекал через стеклянную трубочку в стаканчик. Если же, вместо раствора солей, попытаться ввести какую-либо ядовитую жидкость, то ушные сосуды сжимались и не пропускали ее. Заячье ухо и в отрезанном виде желало жить.

Здесь, в тишине и точности, существовал Авель Евсеевич. Его медленные руки с необычайной осторожностью двигались среди всего

этого стеклянного хозяйства. Там были маленькие весы такой чуткости, что они отмечали легчайшую щепотку соли и, вероятно, могли определить удельный вес любой слезы.

Моя неудача со службой, мой прощальный разговор с товарищем Шуляком всей своей тяжестью обрушились на весы Авеля Евсеевича. Все затуманилось и заколебалось в его лаборатории. И хотя я хорошо знала, что галоши и зонтик были только дополнением к основному несчастью, это не спасало положения. Винават всегда тот, кто сильно любит, и в данном случае Абель Евсеевич был несомненный преступник.

Судьбы наши нам неизвестны. Мы не знаем, какие встречи ждут нас в течение дня. Абель Евсеевич был вдвойне беззащитен: с женщиной он обращался, как с молекулой—математически нежно.

Любя и понимая самые различные дисциплины, их солнечную незыблемость и звездную стройность, Абель Евсеевич не любил и даже боялся музыки. Теплое гудящее чрево виолончели и прохладное лебединое горло флейты были равно враждебны ему. Музыкальная фраза распадалась для него, как щетка, на ряд отдельных щетинистых скрипов: лучше всего была пауза. Абель Евсеевич считал музыку одним из наименее удачных опытов человечества, и все же мы познакомились на симфоническом концерте, единственном в его жизни. Наши места были рядом. Во время Гайдна Абель Евсеевич развлекался тем, что разглядывал в бинокль мою ладонь. Впоследствии он не раз говорил:

— Гайдн—это множество линий, как на спектральном анализе.

Грустнее всего терять то, чего не имеешь. Будучи взята на испытание, службы по-настоящему я не имела. И службу я потеряла. Видя мою грусть, Киска делала попытки меня развлечь.

— Мам,—говорила она,— вот я нарисовала портрет тех дядей, которые приходили ночью и хотели забрать Джерри.

— Один общий портрет, Киска? Этого не бывает.

— Бывает, мам, потому что у меня мало бумаги. Вот как вышло: ну-ка, посмотри.— Я посмотрела. Был нарисован неправильный круг с зубчиками по краю. В кругу сидели мохнатые точки, в середине помещался отгороженный крестик.

— Что же это, Киска?

— Это их голова, мам. Это их глазки во все стороны. И замечательно много ушей.

— А крестик посередине, Киска?

— А это, мам, их могилка. Одна для всех.

— Ну, Киска,—отвечала я,—это у тебя очень удачно получилось. Хорошо бы послать этот портрет их родственникам в письме, но, к сожалению, мы не знаем их адреса.

— Письмо, мам?— Оказывается, Киска не знает, что такое письмо. Это явление выпало уже из нашей жизни.

Я говорю:

— Письмо — это вот что. Например, ты уехала в другой город и там живешь. Я беру бумагу и пишу на ней печатными буквами: «Милая Киска, не хорошо ковырять в носу. Я очень люблю тебя. Твоя Мама». Потом я беру эту бумажку, кладу ее в плоский мешочек и опускаю в ящик на углу. Мешочек вынимают оттуда, везут на поезде и привозят к тебе в другой город. Ты читаешь его, и уж никогда, честное слово, не трогаешь носа.

— Никогда, честное слово, — повторяет Киска и спрашивает задумчиво:—А когда это было, письма?

— Давно. Уж я не помню.

— Как отсюда до солнца или еще дальше?

— Нет, ближе, но все-таки давно.

Почты не было, но книги остались. Сначала я внутренне бушевала, сопротивлялась и вела с отсутствующим товарищем Шуляком принципиальные споры. Я утверждала, что моя жизнь принадлежит мне, что содержание моей черепной коробки неприкосновенно.

Но постепенно я утихала. Моя горячность прошла и сменилась сонливым спокойствием, нездоровой тишиной оранжереи, где в январе вызревают бледные, пухлые и лицемерные плоды. Я начала много читать, что было странно и противостоестественно в дни, когда ради тепла сжигали Шекспира и когда в муку подмешивали молотый горох.

Выбор авторов был нездоровый выбор. Из всего, что было написано на земле, я читала только Диккенса и Франса. Каждый из них был умен и добр, но каждый, если следовать за ним неотступно, мог завести в бездну.

Один приходил с радостными слезами, другой—с грустной улыбкой. Один утверждал, что главное в мире, это—сердце, цветок, возвращенный в христианских катакомбах и благоухающий нежностью. Другой утверждал ум. Человеческая мысль, холодноватая, как хрустальная грань, улыбка над жизнью, улыбка над смертью, над женщиной, этим «пленительным сочетанием атомов», — вот что было важно.

Убогие и больные, косноязычные уроды, сироты, отданные на выучку вора, бывшие каторжники, старые невесты, безумные от любви, застенчивые клерки, скромные предметы—поющие чайники и сверчки на печи—это был мир Диккенса. Это был уют старого рваного плаща, под которым преступник, голодный пес и бродячее дитя равно находят спасение от зимней ночи.

Диккенс знал теплоту счастья. Он писал: «Ребятишки собираются один за другим у пылающего камина. Мать подбрасывает свежих поленьев: отец сейчас вернется домой, а отец только что обменялся дружеским кивком с кучером дилижанса за добрую милю от своей фермы и теперь стоит, обернувшись назад, и смотрит вслед удаляющимся путникам».

Франс утверждал: «Время и пространство не существуют. Материй тоже не существует. То, что мы называем этими словами, есть

именно то, чего мы не знаем, то препятствие, о которое разбиваются наши чувства. Мы знаем одну лишь реальность: нашу мысль. Она творит мир. И если бы наша мысль не взвесила и не назвала Сириуса, то Сириуса не существовало бы».

И у Диккенса и у Франса была убедительность, перед которой я была беззащитна. Холод одного и тепло другого протекали сквозь меня, как физиологический раствор сквозь заячье ухо в лаборатории Авеля Евсеевича. Но мне было этого мало. Я была живым зайцем, которому была нужна живая, невыхоленная правда жизни, а не стерильная книжная мудрость.

А в это время дни шли, и зима все углублялась.

Новый год приближался. Было не вполне понятно, каким образом встречать его и встречать ли вообще. И главное, когда. Все было сдвинуто со своих мест, старый календарь вырван с корнем, а новый еще не врос как следует, не привился. Тринадцать промежуточных дней висели в воздухе, как выдернутые из земли корешки. Кроме того, часы были передвинуты на два часа назад. Утро наступало неестественно рано, и солнце по вечерам не заходило, когда следовало. В городе говорили: — Приходите в десять часов по-ихнему. — «Ихнее» время было время не солнца, а красной звезды.

Мистер Пирибингль разработал проект встречи нового года по старому стилю. Предполагалось провести эту знаменательную ночь на одной адвокатской квартире, почти единственной в городе, где каким-то таинственным образом сохранилось пять сравнительно теплых комнат, ковры, посуда и интимность, связанная с диванными подушками.

Встреча организовывалась на паевых началах. Было ясно, что ничьих индивидуальных достатков не могло хватить на прокормление и опьянение тридцати человек: необходимо было коллективное усилие. Размеры каждого пая были точно установлены. Принимая во внимание финансовый кризис, пай допускались не только денежные, но и продуктовые.

Я к тому времени уже порядком обнищала и потому внесла лишь малую толику мерзлого картофеля: остальное довнес за меня спиртом АVELь Евсеевич. Благодаря университетским связям, у него были какие-то спиртные возможности, которые он и использовал. Мистер Пирибингль сделал исключительно ценный взнос: десяток яиц. Впрочем, в самую последнюю минуту, уже на самом вечере, выяснилось, что собранных средств не хватает. Был констатирован перерасход, который пришлось покрыть.

Приглашенных было около тридцати человек — последняя горсточка бывших хозяев говорливого и горячего города. Все те, кто до страсти любил оперу, «негоциантки молодые», смуглые, как бархат лож, их мужья, любители кафе, где пенится мрамор столиков, любители весел, когда запах акации сладко кружит голову, как только что заключенная сделка на пшеницу или каустическую соду. Все те, у кого

были кирпичные заводы, заводы красок, суконные фабрики. У кого на той стороне залива были версты и версты широкого и пустынного пляжа, где со временем полагалось быть курорту. Пока же этот далекий оранжевый берег был населен одними чайками. Над ним опускалось соленое синее небо, и странно было думать, что столько воды, птиц и драгоценного одиночества не так давно принадлежало людям, подобным тем, что собрались в этот вечер на тахте адвокатской жены.

В соседней комнате звенели рюмки, белела скатерть. Пронесли гвездь вечера — большого костистого гуся, родоначальника многих племен. У него торчали локти и колени, но он был пышно зажарен, как драгоценная дичь, и украшен бумажными плюмажами. Вокруг него, как родственники у гроба, толпились рюмки.

Университетский спирт, добытый Авелем Евсеевичем, был отвратительной очистки, от него так и разлило сивушным маслом. Но разбавленный кипяченой водой и сдобренный небольшим количеством сахара, он, при желании, мог сойти за водку. Этот же спирт, настоенный на ягодах, косточках и корках, получал повышение в чине и именовался ликером.

На большом блюде в шумящих салфетках пронесли и поставили на стол нечто неслыханно-великолепное, почти забытое в шуме дней, нечто золотисто-белое, пахучее и мягкое, — другими словами, белый хлеб, испеченный специально для этого вечера.

Без пяти минут в полночь нас пригласили к столу. Там на бумажке каждый нашел свое имя, все соседства были строго обдуманы. Гусь был разбит на участки, телятина тоже: каждый гость имел право только на один кусок. Все было шикарно: встречали старый новый год, «настоящий», «неподдельный». Ура!..

Мистер Пирибингль встал с бокалом в руке. Он был великолепен в этот вечер. Его пробор был проведен с европейской элегантностью, лакированные туфли сверкали, и в петлице кудрявилась белая хризантема. Мистер Пирибингль поднял бокал, и подкрашенный спирт запылал огнем, как отличное вино. — Господа, — воскликнул мистер Пирибингль, — старому году осталось жить пять минут. Поговорим о нем, об этом без пяти минут покойнике, который думает, что смерть спасет его от нареканий. Нет, мы не последуем примеру древних, мы скажем о мертвом все дурное, которое он заслуживает. — Мистер Пирибингль говорил дальше. По его словам, умирающий год был ублюдок и вор. Он отнял у нас красоту и изящество жизни, все ее прекраснейшие качества, оставив нам только некоторое количество сумрачных дней. Он отнял у нас свет и уют. Литературу и письменность. Орфографию. — Однажды, — продолжал оратор, ускоряя темп своих слов и глядя на часы, — довелось мне встретиться с офицером одного из старинных шотландских полков. У него на спине, на мундире, была нашита черная атласная ленточка, назначение которой мне было неясно. На мой вопрос офицер ответил мне: «В то время, когда наши

стрелки носили пудренные косы, эта лента предохраняла воротники от пудры. Теперь мы не носим кос, но мы сохранили ленту. Мы сохранили ее на память о первых стрелках, которые одержали первую победу с косами на затылке». Наша буква ять подобна шотландской ленте. В данное время она не нужна нам, но она наше славное прошлое, наша юность, наши победы, одержанные Державиным и Пушкиным. Мы не отдадим ее!.. Я пью за традиции, я предлагаю тост за букву ять. За то, чтобы эта ночь была осенена забвеньем всего, что было в последние месяцы. Друзья мои, не правда ли, ничего не было. С новым годом! Со старым счастьем!

Бой часов слился с возгласами. Бокалы столкнулись над столом, звеня хрустальной грудью. Соседка мистера Пирибингля, Вишенька, пила, закинув голову. Вишенька не имела другого имени, как Вишенька. В то время много было женщин, носящих имена цветов, плодов или птиц. Они появлялись из ниоткуда, как бы вызванные духом тревоги, и неизвестно куда исчезали.

Вишенька была в черных кружевах, черные волосы гладко закрывали ей уши, и подведенные ресницы вздрагивали, словно угольные бабочки. Она тоже произнесла тост, тоже подтвердила, что ничего не было, и все бокалы потянулись к ней.

— Как! — произнес гневный голос, полный недоумения и ужаса.—Как ничего не было! Было, и еще как было, а главное, что еще будет! — Но этот голос утонул в море восклицаний.

После ужина, нагруженная до предела нарядным и теплым грузом гостей, вся в подушках и полупритушенных огнях, тахта всплыла в новогоднюю ночь. Ковры в этот вечер были цветущи. Рояль, покрытый испанской шалью, блестя зубами, как тореадор, был готов к бою.

Один из гостей, нервический и бледный музыкант, сел на круглый табурет перед роялем и предложил сыграть историю мира. Все закричали: «Просим!» Авель Евсеевич, увидав, что надвигается музыка, попытался было скрыться, но музыкант сказал: «Не бойтесь, это будет недолго: скорее чем выкурить папиросу». Авель Евсеевич, отроду не куривший, опять было возмутился, но я удержала его за рукав, и он сел на ковер, составляющий продолжение тахты.

Музыкант положил руки на клавиши, все притихли, и над тахтой поплыла простая свирельная мелодия: жалоба первой птицы на земле. Потом понеслись угловатые пестрые аккорды архаических культур, зажужжало веретено, заскрежетали машины. Вперемежку с псалмами загрохотали войны. Затем сумбур, мрак, закат человечества. И, наконец, простая свирельная мелодия: жалоба последней птицы на земле.

Может быть, все это было не так. Может быть, птицы не пели и веретена не жужжали. Может быть, это были гусь и спирт, сытость и опьянение, преобразавшие бречание клавиш в столь причудливые звучания. Я склонна думать, что так оно и было. Но это и не важно. Важно то, что под эти звуки впервые за весь вечер мне стало легко. После долгих и тихих часов в нашей детской при свете коптилки,

в шерстяных чулках; чтобы не мерзли ноги, вдруг щедрый свет и шелковая гладкость во всем.

Сидя на тахте вместе с другими и плывя неизвестно куда, я думала так: «А может быть, правда, что ничего не было. Да и что может быть? Музыка права: все равно все кончится. Земля опустеет, обезлюдует. Жизнь пустяшно коротка: клочок синего тумана в снежном облаке. Не все ли равно, как прожить ее, эту кратчайшую из жизней. В этой краткости и есть разрешение задачи и утешение. Нельзя быть слишком несчастной на протяжении мига. Ничего не было».

Я сплела пальцы и положила их под затылок. Держа в руках свою голову, так удобно было думать, как бы замыкая свои мысли. Думать, улыбаться, качаться, плыть. Ничего не было. Ничего... Ничего...

Я переменяла позу и почесала локоть: очевидно, шитая золотом подушка защекотала меня, золото вдавило в локоть узор, и теперь кожа горела. Вокруг говорили о любви. Тахта была полна нежными словами.

— Любовь скрыть легко, ненависть трудно, равнодушие невозможно, — говорили в одном углу.

— Любовь не стоит на месте: она увеличивается или уменьшается, — утверждали в другом.

— Не будем говорить о любви, — шептали в третьем углу. И все же говорили о ней.

«Ничего не было», продолжала я думать дальше. Но локоть чесался все сильнее, так, что я отбросила в сторону подушку. Я поднесла локоть к глазам, я взглянула на него внимательно: у самого локтя, там, где образуется впадина, на дне ее сидела вошь.

Вши были тогда всюду. Они переползали с людей на события, они угрожали революции, они принимали участие во всем, они стали государственной проблемой. Нужно ли удивляться, что одна из них или, быть может, даже несколько решили встретиться с нами новый год.

— Ничего не было, — повторяла я, лежа в шелковых подушках.

— Б ы л о, — сказала вошь.

На девятый день после встречи нового года я проснулась от запаха уксуса. От него нельзя было отделаться, но это был не уксус, а тиф, который шутил со мной злые шутки. При содействии тифа вышли из повиновения все мои пять чувств и вели себя мстительно и злобно, как-будто ненавидели меня всю жизнь, и только теперь нашли исход своей ненависти. Особенно донимало меня обоняние, это тихое кроткое чувство, никогда не замеченное ни в чем худом. Только теперь оно явило во всем блеске подлинную свою натуру.

Начав с уксуса, оно повело меня через запахи гнилого дерева и пробки к зловонию погреба, где разлагаются бочки и плесневеет тряпье. Оно измучило меня зеленой и горькой окисью меди. И лишь

однажды обрадовало ароматом свежесоструганного дерева: это было предвестником выздоровления.

Я болела в маленькой комнате при кухне, где раньше жила прислуга. Киска каждый день приходила к дверям, прикладывала губы к скважине и спрашивала: — Мам, чем сегодня пахнет?

Порой мелькала Юлия Мартыновна с огромным градусником, в роде тех, которые висят на стенах домов. Она наклонилась ко мне, и, удивительное дело, градусник умещался у меня подмышкой. Я была так слаба, что не могла слышать громкого голоса, я уставала от напряжения чужой диафрагмы. Однажды Киска, войдя ко мне в комнату, уронила мяч. Очевидно, повторив невольно вслед за ней движение мышц, я потеряла сознание от слабости.

Бывали дни, когда я как бы тонула в тоске и болезни. Я тогда хорошо поняла смерть. Смерть—это не есть нечто резко отличное от жизни, наподобие того, как день отделяется от ночи: скорее это сумерки, когда темнеет незаметно и неотвратно. Это не есть другая категория, как думают иные. Не срыв, а постепенное сползание. Вот сейчас чувствуешь себя плохо, еще немного хуже—это и будет смерть. Это очень жизненно, повседневно, буднично, близко от каждого, словно почтовый ящик или остановка трамвая. Выздоровление — вот в чем необычность и праздничность.

Однажды ночью так умучил меня запах плесени, так я жаловалась и стонала, что Юлия Мартыновна, укутав меня шубой, открыла форточку. Мне было тошно и липко, простыни пахли плесенью. Комната, мутно качаясь, валилась ко мне на подушки. Юлия Мартыновна, бледная от недосыпания, спала в кресле. «Я закрою глаза, — подумала я, — и буду считать до ста». Для этого нужно было усилие воли, почти невыносимое для меня. Но через это усилие, как через узкую калитку, я должна была вернуться к жизни.

Я закрыла глаза и тотчас же, вся в багровых и желтых спиралях, тьма ринулась на меня, словно курьерский поезд. Но я держалась крепко. Я начала считать с таким расчетом, чтобы на каждую паузу падало два дыхания. Заметив, что я дышу прерывисто, я призвала себя к порядку, как на уроке плавания. И постепенно тьма улеглась, сердце начало стучать ровнее, лоб высох и посвежел.

Когда я открыла глаза, предчувствие рассвета было уже разлито в воздухе, и комната уже не качалась. В открытой форточке отчетливо и кругло висела звезда. За то время, что я дышала в темноте, она выросла и округлилась, точно капля. Внизу, на улице, загрохотал первый воз. «Нно, сволочь, нно»,—закричал кто-то на лошадь. И внезапно шум колес в прозрачном воздухе, укол звезды и ругательство соединились с рассветным дуновением в одно целое, пахнущее в поперечном разрезе свежим древесным соком: это было утро и это было выздоровление.

Теперь меня ждали блаженные и ясные дни, когда я училась распознавать вкусы и запахи, весь мир, как в детстве. Вкус чая поразил

меня, мыло пахло незнакомо и пряно. Кроме того, я училась ходить. В мягких туфлях на шатких и валких ногах я совершила свой первый рейс от кровати до печки и обратно. Моим главным учителем в этом деле была Киска. Она держалась с достоинством, даже с гордостью, и делала чрезвычайно дельные замечания. — Ты, мам, сгибай колени, а то ходишь, как на спичках, — говорила она. Или еще: — Ты не сразу двумя ногами ходи: поставь одну ногу, а другую потихоньку придвинь.

Когда я от слабости хваталась за стенку, Киска снисходительно говорила: — Чего ты боишься, трусишка. Я же тебя держу.

Моя бритая после тифа голова смущала ее. Она говорила о ней понизив голос, как о несчастном и стыдноватом происшествии. Мой вид казался ей несовместимым со званием матери. — Бывают ли еще на свете бритые мамы, или ты одна только такая? — спрашивала она и прибавляла: — Ну, ничего. Я все-таки люблю тебя.

Когда кто-либо приходил навестить меня, то она, стараясь отвлечь внимание от моей злополучной головы, заводила светские разговоры: — Скажите, — спрашивала она, — а ваши дети тоже раскуты-ваются ночью? Вы сами их укрываете или сердитесь на них?

Однажды она села поодаль в кресло и ни за что не хотела сойти с него. — Это не хорошо, Киска, — сказала я ей, когда мы остались одни. — Люди, которые тебя мало знают, могут подумать, что ты просто упрямая глупышка.

— Ты никогда ни о чем не думаешь, — возразила Киска, почти рыдая. — Ведь на этом кресле дырка, и даже пружина видна. Я закрывала все это, когда сидела: не могла же я встать, на самом деле.

Киска была консервативнее, чем я. Я, например, вовсе не боялась вылезавших пружин. Наоборот, я была довольна, что многие тайные пружины, управлявшие раньше мной, сделались теперь явными. Что можно было видеть их недостатки, лечить их, а если нужно, то и заменить новыми.

Говорят, что после тяжелой болезни обновляются ткани человеческого организма. Возможно, что после тифа у меня обновились клетки, заведующие ощущением жизни. Мне хотелось теперь работать, делать что-нибудь самое простое, устраивать свою судьбу. Видя, как Юлия Мартыновна колет щепы или трет кастрюлю, я думала: «Как ловко, славно как! Вот и мне бы!».

Как всегда после тифа, мне очень хотелось есть запрещенные вещи: картошку с салом, например, которую ели при мне здоровые люди. Однажды я попросила себе тоже. — Нельзя, — ответила Юлия Мартыновна и, очевидно, усвоив уже суть советских лозунгов, добавила, улыбаясь: — Нельзя. Кто не работает, тот не ест.

— Юля, — сказала Киска, — она будет работать, когда выздоровеет: дай ей кусочек. Ведь ты будешь, мам?

— Ну, Киска, — ответила я, — честное слово, я постараюсь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Весна наступала медленно и робко. Оттого, что почти все деревья были срублены на дрова, в городе не осталось почек, не осталось тени, всего того, что час за часом отмечает движение весны. Весна сохранилась только в воздухе, в бурно несущихся теплых облаках, в дожде и солнце, когда небо смеется и плачет одновременно. Да еще трава лезла из каждой скважины, из каждой трещины тротуара, как-будто все неиспользованные силы земли устремились именно туда. На главной улице, на мостовой, почти нетревожимой колесами, выросли одуванчики.

Постепенно наш дом начал оттаивать. Промерзший до мозга стропил, оледенелый, угрюмый, он начал светлеть. Его мрачные сухие глаза затуманились влагой и горели на закате золотом и пурпуром. Но долго еще зданию не могло отогреться как следует. И даже, когда снаружи было уже тепло и светло, и легкий воздух ходил над домом, внутри стояла синеватая стынъ: это камень отдавал холод, впитанный им за долгую зиму.

Я выучилась плести веревочные туфли: их носили тогда все. Самое трудное было прикрепить веревочный верх к деревянной подошве. Это была работа сложная и ответственная. Я занималась ею на балконе, на солнце. Внизу, подо мной, качалась четырехэтажная глубина, полная тепла и света. Веревочные петли располагали к размышлениям: я размышляла о судьбе рук.

Вот вырастают у нас две руки, талантливые и умницы: самые талантливые изо всего нашего тела. Они все умеют, особенно правая. Левая немного обделена судьбой, но и она, если поучить ее, может хорошо работать. А правая, — та просто молодец. Она пишет, здоровается, угрожает, приветствует, шьет веревочные туфли. Ее жизнь разнообразна, ее утрата незаменима. Но почему мы так плохо учим ее, почему она так мало знает?

Моя клиентура росла, мои туфли имели успех. Особенно хорошо у меня выходил носок, ответственной место, где петли должны быть особенно крепки, чтобы дать опору большому пальцу. За пару туфель я получала фунт муки или немного масла.

У меня появился новый клиент, раненый красноармеец из соседнего госпиталя. Он пришел вечером. Я видела его, как он шел по двору; потом он стал подниматься по лестнице и делал это очень медленно и тяжело. Потом раздался стук в дверь, и в комнату вошел громоздкий человек на костылях; одной ноги у него не было вовсе. Очевидно он не привык еще к тому, что изувечен, он долго прилаживал костыли, и тело тяжело висело на них. Он показал мне опухоли подмышками: тоже от костылей.

— Сестрица, — сказал он, — слышаны мы, что туфли больно ловко изготавлиешь. А у меня... ранен я, видишь ты. И нога эта, здоровая, до чего ж она жгет и крутит. Вот туфлю изготовь мне.

А сколько возьмешь? За одну-то дешевше, небось. Да ты говори свою цену, не задумывайся.

После его ухода Киска, молча, с жадностью глядевшая на него все время, сказала: — Мам, если у него одна нога, она должна быть посредине. Нет разве, мам?

Я изготовила ему невиданно большую туфлю без каблука, которой он остался очень доволен. Ногу он потерял недавно, осенью, когда белые, уходя из города, наввертели колючей проволоки на окраине, между двумя домишками. Смысл этого поступка был мало понятен: положение было вполне определенное и безвыходное. Никакая проволока не могла ни спасти, ни даже отсрочить прихода красных отрядов. Бессмысленность этой раны, полученной где-то на задворках, без славы, без пользы, без чести, впопыхах, явно огорчала моего заказчика.

— Коряво получилось, — повторял он мне не раз. — Шли, шли и, глянь-ка, напоролись. Как вошел в меня шип железный, как зачало мясо гнить, ну, думаю, это тебе не пуля, эта подлость не выйдет, покада свое не возьмет, ж р а в ч и н а этакая. Эх, ну и подлая же!

Вторая нога его была искривлена окопным ревматизмом: большой палец был тверд и узловат, как дубовый сук. При малейшей сырости в воздухе в ноге начинались боли, от которых раненый не знал куда деваться. Иногда он даже сомневался, ту ли ногу ему отрезали, и высказывал предположение, что, может быть, к «жравчине можно было бы приобькнуть и притерпеться», а вот «эту нудную» отрезать бы. Но было уже поздно об этом думать.

Он привел мне своего товарища, у которого сбе ноги были целы, но зато была выбита ключица. Это был невысокий, не вполне русский, извилистый человек. Ход его мыслей удивлял меня: у него была мания переустройства всего, что было уже создано. Увидав мои туфли, он сказал: — Приделать бы к ним большой палец, хорошая бы рукавица вышла. А подметка деревянная на растопку пошла бы.

Про Красную армию он говорил, что «наша Красная армия, если бы ее по-иностранному оборудовать, первая была бы по рудокопному делу. Врылась бы в землю. А там уголь, алмазы, драгоценные соли в непонятных количествах. Все бы забрали». Звали этого человека Сигизмунд Горбин.

Придя ко мне в одно из воскресений в новых туфлях, причесанный, он спросил, умею ли я играть на рояли. Узнав, что умею, он попросил, если возможно, сыграть что-нибудь «грустное, доходящее до сердца». Я подумала и заиграла «Песню без слов».

Рояль уже оттаял к тому времени совершенно. Картофеля под ним уже не было, и только под педалью лежала заваливающаяся луковка; темная, вялая, пустая, как мешочек, из которого тянулась остренькая изумрудная стрелка: рождался молодой лук. День был воскресный. Золотые пылинки плясали над роялем. Где-то далеко на берегу чинили лодку, и удары топора по дереву были отчетливы, как-будто

между нами и топором совсем не было воздуха, а только один свет. Сигизмунд Горбин стал за моей спиной, тень его упала на клавиши, он попросил играть «медленно и внятно». Замедленные звуки стали падать в воскресную тишину: удары топора на берегу отбивали такт.

— А не можете ли вы на словах объяснить, что такое вы играете? — спросил Горбин. — Чувствую, что грустное, но в точности не могу определить.

Я взглянула на его гладко причесанную голову, на искривленное плечо. — Представьте себе поле сражения, — сказала я, — которое всеми покинуто. Все живые ушли, остались только мертвые. Остались брошенные пушки, пулеметы...

— Хочу заметить, — перебил Сигизмунд Горбин, — что пулемет бросить никак нельзя: вещь первой необходимости.

— Да? Ну, значит не было пулеметов: одни пушки. Все спутано, все в беспорядке. А с неба не переставая падает снег, падает, падает, заносит трупы. Тогда поднимается раненый, который не умер, но умирает. Он зовет людей, товарищей, он хочет услышать человеческий голос. Но вокруг тишина, молчание. Он забыт. И только снег падает, падает.

Я смолкла, ожидая хотя бы слова от Сигизмунда Горбина, но он молчал. Он был очень взволнован, хотел говорить, но не мог. Тогда мне стало стыдно, что несколько мелодичных звуков, приправленных солнцем и сквернейшей лирикой, произвели такое действие. Я попыталась улыбнуться, но Сигизмунд Горбин глядел на меня строго, и я не посмела. Он сказал:

— Если бы многие люди получили образование в музыке, то война не могла бы иметь место. Аэроплан тоже может играть, если к нему приузорить струны, как вы полагаете? Целый уезд сразу может слышать одну песню.

— Вы что же, здесь останетесь или на родину думаете ехать? — спросила я.

Горбин выпрямился: — Да вот жениться задумал, не знаю, как вы скажете.

— Вот уж не знаю. Трудно так сразу. А кто она, ваша невеста: городская, деревенская?

Он помолчал и ответил: — Да это вы. Я на вас хочу жениться. Вы не думайте, я тоже обучался. Я даже в университете был.

— На каком факультете? — спросила я от смущения, только чтобы что-нибудь сказать.

Он ответил без запинки: — На третьем.

Мы еще поговорили с ним о женитьбе. Я объяснила, что у меня Киска, дочь.

Он возразил, что это не имеет значения, что он по профессии слесарь, что работу он всегда найдет. И если в хозяйстве что трудное попадется, например, стирка, то он поможет... Расстались мы с ним друзьями.

Веревочные туфли шли своим чередом. Однажды это производственное спокойствие было прервано появлением существа в ушастой шапке. Человек принес мне краткую повестку из Политпросвета с предложением явиться. Не могу объяснить, как мне это показалось странно! Меня зовут в Политпросвет... для чего?

Политпросвет помещался на площади, против памятника Карла Маркса. Дом был велик. Он был наполнен людьми, желающими учить и учиться, организовывать зрелища в клубах и на площадях, где заходящее солнце играло бы роль красного значка в петлице неба.

Меня приняла стриженная девушка, похожая на зырянского паренька, скуластая и раскосая. Она сидела на стуле, как на льдине, заливаемая волнами посетителей. Отведя меня в укромную бухточку между шкапом и печкой, она предложила мне прочесть на учительских курсах небольшой цикл лекций по истории костюма.

Услыхав про историю костюма, я спросила: — А откуда, собственно говоря, вам это известно?

— Нам все известно, товарищ, — ответила девушка. — Нам известно, что вы, живя в Париже, интересовались этим вопросом, писали о нем, и т. д. Мы хотели бы использовать вас в этом смысле. Будьте добры к завтрашнему дню разработать план программы...

План программы был представлен, одобрен и я приступила к лекциям. Каменные коридоры бывшего епархиального училища были полны воспоминаний. Сравнительно недавно здесь проходили парами гладко причесанные и пелеринчатые епархиалки, мечтая о красавце-дьяконе, похожем на Христа-спортсмена. У дьякона были серые глаза с поволокой, гефсиманский пробор и великолепные сильные белые руки. Весной в епархиальном саду расцветала голубая и красная персидская сирень.

В актовом зале училища, взойдя на ту самую кафедру, с которой в свое время распределялись похвальные листы и золотые и серебряные медали, я вдохнула воздух, чтобы начать.

Передо мной сидели рядами учительницы в стоптанных бескаблучных башмаках, в облезлых горжетках и шляпах образца 1910 года. Шляпы эти были так сплюснуты, как-будто министерство народного просвещения холодной тяжестью своих циркуляров давило именно на них. В задних рядах чернели учителя.

Новая советская школа тогда еще не рождалась. Случайные дети приходили в школу для того, чтобы поесть и согреться. Каждый ребенок приносил с собой полено и ложку.

Учительские курсы были устроены с расчетом на то, что старые, еще досоветские педагоги, подучившись, сами будут лучше учить других, пока не подрастет новое, молодое, советское племя учащихся. Педагогам читали лекции по литературе, психологии, гигиене, политграмоте, истории искусства. Каким-то образом попала туда и история костюма.

Мне думается, что физкультура не была включена только потому, что ее еще не было.

Жадность и внимание моей аудитории смутили меня. Все сидели с карандашами и тетрадками. Все стремились расширить свой умственный кругозор, пополнить запас знаний. Они верили, что история костюма поможет им уяснить себе поступь и осанку сегодняшнего дня.

Готовясь к выступлению, я добросовестно возобновила в памяти все, что знала, и пересмотрела несколько альбомов и книг. Первую свою лекцию я посвятила древнему Востоку, главным образом, финикийцам. Я всегда испытывала симпатию к этим предприимчивым и энергичным людям, которые, руководствуясь одними только звездами, плавали по морям, экспортируя цивилизацию в тех формах, в каких она была в то время возможна.

Финикийские купцы, очевидно, удались мне. Я заключила это из того, что мои слушатели, забыв тетрадки и карандаши, смотрели мне прямо в лицо, мало двигались и почти не кашляли.

Покончив с Востоком, я перешла к Риму. Мне хотелось подробнее остановиться на римлянах, на этих, по словам одного историка, «маленьких смуглых людях, владеющих лучше киркой, нежели мечом». Но в самую неожиданную минуту, когда я описывала одежду римского легионера, раздался звонок, возвещающий конец часа.

Уходя, я унесла с собой круглый, пахучий ржаной хлеб, прекрасно выпеченный. В общей сложности, я получила пять таких хлебов — по одному за две лекции.

Возвращаясь со мной из бывшего епархиального училища, идя со мной рядом по неосвещенным улицам и неся подмышкой мой хлеб, Авель Евсеевич, присутствовавший на лекции, высказывал мне по этому поводу свои соображения. — Вы говорили не плохо, — сказал он, — но не обольщайте себя тем, что были безупречны. Так, например, по моему глубокому убеждению, вы приписали хитону то, что относилось к пеплumu. Вы не согласны со мной?

Услышав в ответ мое молчание, Авель Евсеевич смутился, наткнулся в темноте на столб, сказал: «Извините», и уже до самого дома не произнес ни слова. Я же в это время мысленно беседовала с товарищем Шуляком. — Ну, как, товарищ, — спрашивала я его, — похоже это на настоящее? То ли это, что должно по-вашему «жужжать» во мне, или не то? — Товарищ Шуляк, поигрывая карандашом, молчал, но мне чудилось, что в его полуулыбке было нечто ободряющее. Хотя и не окончательно.

Самой удачной из всего цикла оказалась лекция о модах Французской революции. Я не собиралась задерживаться на этой эпохе особенно долго. Кроме того, не соразмерив время в самом начале и уделив чрезвычайно много внимания древним, я должна была спешить. Но одна из моих слушательниц, большая мужественная женщина с седыми усами, бывшая преподавательница рукоделия, попросила меня, если можно, остановиться более подробно на этом пе-

риоде, сказав, что ей, как заведующей костюмной частью одной клубной постановки, это интересно. Ее поддержали ее коллеги, и тогда я, отодвинув на время наступающий XIX век, подробно рассказала о том, как во Франции был вотирован декрет, по которому наследникам казненных и осужденных Конвентом возвращались обратно конфискованные имения и имущество. Наследники эти, большей частью молодые люди, превращенные таким образом из бедняков в богачей, и опьяненные этим внезапным богатством, предались самым эксцентричным удовольствиям. Ими устраивались «балы жертв», на которых кавалер, отводя даму на место, отвешивал быстрый и резкий поклон, напоминающий судорогу казненного. Для усиления этого мрачного эффекта щеголи и щеголихи брили себе волосы на затылке, как это делал палач перед казнью. Дочери казненных ввели в моду красные шали, в память того красного платка, который был сброшен перед смертью на плечи Шарлотты Корде. И, наконец, они носили красные ожерелья, настолько плотно прилегающие к шее, что это напоминало кровавый след от гильотинного ножа.

К последнему из хлебов, полученному мною в последний день, было прибавлено несколько рукопожатий различной крепости. Было сказано, что я оправдала надежды Политпросвета и что умственный кругозор моих слушателей заметно расширился.

ГЛАВА ПЯТАЯ

С наступлением тепла наш дом наполнился жизнью. Все его зимние недостатки—его удаленность от центра, близость моря, северные комнаты, — все превратилось в достоинства. Кроме всего прочего, ясно обозначилась близость Чека.

На широкой улице, самой тихой в городе, там, где раньше жили богатые греки, отдыхающие от жизни, в жемчужно-сером выхоленном доме с атлетическими юношами у входа, с цветами в нишах и маленьким бассейном, помещалось грозное учреждение. Вокруг него на заасфальченной земле стояли машины, и пыльный усталый конь, привязанный к ноге каменного юноши, отдыхал от длительного бега.

Две девушки в сандалиях, в синих косоворотках, простоволосые, тронутые первым загаром, осмотрели наши большие прохладные комнаты. Не обращая на меня внимания, они измерили шагами пол и открыли все окна. Я хотела предупредить, что одно из окон хворое и что трогать его нельзя, но не успела. Окно распахнулось под решительной рукой, рама рухнула вниз, стекла зазвенели, и ненатертый паркет покрылся бриллиантовой пылью.

•Одна из девушек, переступив через битое стекло, как, вероятно, переступала через все препятствия на свете, сказала:

— Здесь станут кровати.

Вторая сказала: — А здесь станет стол.

Первая сказала: — Если нет воды, мы будем подыметь ее на блоке снизу. Обливаться можно на кухне и в ванной.

Вторая сказала: — Рояль здесь ни к чему: мы перенесем его в клуб.

Первая сказала: — Не в клуб, а в автобазу. Там ребята устраивают концерты.

Вторая сказала: — Да.

Первая и вторая ушли с тем, чтобы вернуться завтра. Наша квартира, за исключением двух комнат, превращалась отныне в общежитие сотрудниц Чека.

Товарищ Клавдия, та, которая разбила окно, была первая и главная среди остальных. Товарищ Клавдия была очень красива. Никогда мне не доводилось видеть еще таких совершенных черт лица, такого точеного носа и таких трепещущих ноздрей. Черные брови расходились аккуратными высокими дугами, темные с бронзоватиной волосы были коротко острижены. Это не была хитрая и сложная стрижка теперешнего времени. Товарищ Клавдия была острижена, как мальчик, на пробор; на затылке у нее торчал ежик.

По утрам голая, в одних трусах, она шла в ванную обливаться холодной водой, которую подымали снизу на блоке. Она шла из далекой гостиной, проходила коридоры и комнаты. Пучок солнца, как луч прожектора, шел за ней по ее плечам и груди. Потом она входила в тень, тело остывало, потухало, синие трусы становились почти черными. По дороге из гостиной в ванную она свистела: «Яблочко, да куда ты котисься». Свистя, она дирижировала мохнатым полотенцем.

После нее в ванной комнате оставались потоки и реки. Тщательно берегаемое мыло плавало в воде, мокрая мочалка свисала с края ванны, как утопленница. Юлия Мартыновна, мрачная и ненавидящая, сжав губы, вытирала пол и выкручивала мочалку.

От всей этой непривычно грубой работы и от неумолимой латышской чистоплотности руки Юлии Мартыновны потрескались, как неродящее поле. Из бараньего жира, глицерина и еще чего-то она приготовила себе снадобье для огрубевшей кожи и держала его на полочке в ванной. Однажды утром, выйдя из ванны, стройная, как амазонка, стриженная, бронзововолосая, насвистывая прекрасными губами «Яблочко», совершенно голая, сидя на подоконнике в позе мальчика, достающего из ноги занозу, товарищ Клавдия смазывала баранье-глицериновой мазью составные части своего браунинга.

Мне казалось, что товарищу Клавдии не доступны никакие нежности, что она не замечает природы, не чувствует весны. Но лунными ночами, которые в ту весну были великолепны, возвращаясь поздно вечером на клокочущей машине, усталая, замученная, товарищ Клавдия принимала лунную ванну. Опять-таки в одних трусах, как будто дышать всем телом было ей необходимо, она бросалась на кровать, ложилась прямо под лунный душ.—Этакая стерва, сволочь какая,

чорт бы ее подрал! — повторяла она с восхищением и глубочайшей нежностью. Все это относилось к луне.

Ей были подвластны автомобили: Рено, Форд и полугрузовик, один из тех, которые в первые дни революции выносили на своей спине солдатские тела, тяжелые от ненависти. Рено—замученный синий мотор—был похож на призового скакуна, переведенного на полевые работы: он был слаб и жалок. Маленький проворный Форд беспечно прыгал по кочкам.

Кроме автомобилей, у товарища Клавдии находились в подчинении две лошади. Они жили где-то в другом месте, не у нас, я их не видела, но слышала о них очень много. Товарищ Клавдия и товарищ Ольга, ее соседка по кровати, говорили о них по вечерам в часы лунных ванн. Дверь в переднюю была открыта, их голоса свободно разносились по комнатам. Они говорили громко, им нечего было скрывать. Как далеки были эти беседы от женских шопотов в лунные ночи!

Клавдия говорила: — У Ворончика грудь широкая, он просто глотает воздух. Просто горит земля у него под ногами. А помнишь, как он взял канаву перед кирпичным заводом? Перелетел, сволочь, и сам не заметил. Уж потом только уши наставил: сам удивился.

Ольга возражала: — У Сокола морда лучше. И глаза. Он крепче, потеет меньше. Он, когда пьет, на воду смотрит, а не на человека: значит характером добрее. И умен очень.

— А у Ворончика... — говорила снова Клавдия.

— А Сокол... — возражала опять Ольга.

Это была беседа двух амазонок ночью, после набега.

Двигаясь стремительно и быстро, Клавдия часто сокрушала на своем пути мелкие предметы и разрывала одежду. — Бах! Бум! Дзинь! — раздавался звук, что-нибудь фарфоровое или стеклянное летело на землю, после чего слышался треск: это рвалась материя. Одежда рвалась все чаще, прорехи становились все шире, будавки были бессильны. Загнанная в угол автомобилями, лошадьми и прорехами, товарищ Клавдия теряла спокойствие. Уж близок был миг, когда она, вынужденная просить у нас помощи, должна была нас заметить — меня и Юлию Мартыновну. И миг этот наступил.

Товарищ Клавдия появилась на пороге нашей комнаты, куда она ни разу до того не заглядывала. Мы с Юлией Мартыновной как раз исследовали дырявое дно ведра. Ведро устало, оно больше не желало служить, оно не хотело жить. Обычно я не задумывалась над вопросом, сколько времени живет ведро. Ведра были во всех магазинах в неограниченных количествах. Они были прекрасного качества и вполне аполитичны. Так казалось. Но сейчас было ясно, что продвижение белых, успехи или неудачи красных, голодовки, тифы, международное положение,—все это влияло на судьбы ведра.

— Жестяник сказал, больше починять он не может: надо новое дно, — говорила Юлия Мартыновна, держа ведро перед собой и говоря в него, как в рупор, глухо и громко.

— А если новое дно, например?

— Дно мы не можем себе позволить: он за дно такое возьмет, что... Он...

— Послушайте, нет ли у вас иголки? — прозвучал с порога чужой голос. — Ну, и нитки.

Я обернулась. Юлия Мартыновна вынула голову из ведра. Обе мы смотрели на товарища Клавдию. Обеими руками она закрывала громадную прореху на плече: очевидно ей уже стало невмоготу.

— Иголку? (интонация Юлии Мартыновны сделалась непередаваемой) — ах, иголочку вам (сколько ядовитого меду было в голосе). — Очень, очень сожалею. Но, к сожалению, к великому сожалению, иголки у нас нет.

В эту минуту Юлия Мартыновна мстила за все: за трусики, возмущавшие ее целомудренность, за ванную комнату, за револьвер. Весь этот разговор был столкновением иглы и револьвера.

— Я дам вам иглу, товарищ Клавдия, — сказала я. — Только она толстая и ржавая: не знаю, как вы будете шить. Другой у меня нет: все остальные у Юлии Мартыновны. Не знаю, сошьете ли.

— Ну, и я не знаю, — мрачно ответила товарищ Клавдия.

Толстой и ржавой иглой с вдернутой в нее лохматой ниткой она зашила свое платье большими косыми стежками, похожими на осенний дождь. Юлия Мартыновна, глядя на это неудачное рукоделие, вздыхала от счастья...

Ворончик, тот самый, который перелетел канаву и сам, сволочь, не заметил, Ворончик захворал, и его перевели болеть к нам во двор, в сарай, где раньше лежали дрова. Ворончик ничего не ел и стоял понуро, как-будто размышлял о бессмысленно прожитой и никчемной жизни.

Мне же, наоборот, казалось, что жизнь его была удачна и богата. Несомненно, он побывал на фронте, на разных фронтах. Он знал удачи, запах опасности щекотал его ноздри. Ветер преследований и погонь гудел в его ушах, дни его были полны, ночи озарялись кострами. Чего еще можно желать от лошадиной ли, человеческой ли жизни. Теперь он все это забыл. Проходя мимо сарая, можно было видеть коричневый круп, заслонявший небольшое окно: круп все худел и опадал, занимал все меньше места, и в сарае становилось все светлее.

Испробовав домашние средства, к Ворончику решили позвать ветеринара: сделать это было не легко. Город не был приспособлен для болезней не только лошадей, но и людей. В ближайшей больнице подвалы были забиты трупами. Зимой они были безобидны, они лежали твердые и сухие, как поленья. Но весной необходимо было их убрать. Каждую ночь их вывозили на телегах, спеша и богохульственно ругаясь. Весна шла быстро, она не принимала во внимание стремитель-

ного разложения тканей человеческого организма, наоборот, она торопила эти процессы. Ей необходимо было, сгноив в земном чреве все эти кости и мышцы, выгнать потом на поверхность буйные травы и цветы.

Больничным сторож — северный мужик с бородой, и главный врач — недавний студент, розовый и близорукий, советовались друг с другом, как быть с трупами... Как быть с людьми, которые умирают в таких количествах, совершенно не считаясь с условиями момента.

Главный врач, безбородый и близорукий, был совершенно умучен: он лечил внутри больницы и вне ее. В пасхальную ночь, когда больница была сравнительно тиха и вывезенная в предыдущую ночь двойная порция покойников давала возможность встретить пасху, в эту ночь главврача спешно вызвали на окраину города к одной корове, ободравшей себе вымя о плетень.

Тщетно уверял доктор, что коров он не лечит, что его этому не учили, что вымя — вещь малоисследованная и опасная. Посланный за врачом человек смотрел на него в упор, вертел веревочку в руках и видно было, что он не уйдет: корова была необходима, так как обслуживала ясли.

Главврач со страхом взирал на свою пациентку. Надев пенсне, он подлез ей под брюхо и исследовал рану: рана была устрашающая, вымя разодрано, словно картуз в драке.

Главврач, забирая голову в плечи, чтобы не видеть склоненных над собой рогов и безумного коровьего глаза, чтобы не слышать мычанья, которое было ревом, влажной и дрожащей рукой зашил рану. Вокруг стояли люди с фонарями. Желтый круг света освещал прошлогоднюю солому на земляном полу, корыто с помоями и коровий хвост, перепачканный кровью. Корова перетерпела все без наркоза. Кроме того, она была так крепко привязана и схвачена руками, что не могла шевельнуться. Но, перетерпев все, она отплатила главврачу, как могла.

Вымыв руки над корытом с помоями и уже собираясь уходить, он пожелал еще раз взглянуть на свою пациентку. Он подошел к ней вплотную, поправил стекла, склонил голову на бок, и, отведя в сторону качающийся хвост, с гордостью взглянул на очаровательно зашитое вымя. Тогда корова, вырвав из рук врача хвост, молниеносным ударом рогов сбила с него пенсне, выбила зуб, одним словом, сотворила все то, что в официальных бумагах именуется «ранением, полученным при исполнении служебных обязанностей».

Главврач поклялся, что никогда в своей жизни не прикоснется ни к одному четвероногому. Но через некоторое время к нему в больницу легкой походкой вошла товарищ Клавдия и пригласила его следовать за ней к больному Ворончику, который худеет. — Я слышала, — сказала Клавдия, что вы здорово понимаете это дело. А конь должен быть здоров, вы понимаете. — Главврач, брызгая слюной

сквозь выбитый зуб, попробовал было отказаться, но очень скоро очутился у нас в сарае.

Товарищ Клавдия не была оратором, это не входило в число ее умений, но тут она сказала все, что хотела. — Конь должен быть здоров, — сказала она. — Пусть поддыхает кто другой, а не он. Вы скажите, что ему нужно, доктор: мы все достанем.

Главврач был очень взволнован: красота Клавдии пронзила его сердце, к этому прибавлялся еще несказанный страх. Но правду сказать нужно было. — Не примите это за саботаж, — выговорил он, стуча зубами, — насколько я понимаю, у больного сап. Медицина в таких случаях бессильна.

В тот же вечер у нас во дворе раздался одинокий выстрел. Это Клавдия пристрелила Ворончика, который не мог больше жить...

Ворончик исчез с лица земли, как-будто его копыта никогда не топтали легкие следы травы у дороги. Его следы сохранились только на этих страницах. Хорошо, что я видела и рассказала о его недолгой жизни и мгновенной лошадиной смерти: через это многие узнают, что он жил.

События в жизни проходят не даром. Встреча с Клавдией была мне полезна: она показала мне женщину не такую, каких я знала до сих пор. Клавдия была резка в обращении, и самый горячий ее почитатель не назвал бы ее приятной собеседницей. Но я видела выражение ее лица, когда умирал Ворончик. Еще я наблюдала за ней в минуты ее разговоров по телефону. Если там вдали, на том конце телефонной проволоки говорили о хорошо выполненном задании, об удаче в деле, тогда ее суровые глаза светлели до самой своей глубины. Она была стремительна в жизни: — бух, бум, дзынь, — расшвыривала она препятствия. Она не знала усталости, эта женщина трудной эпохи. У нее не было ни книги, ни иголки. У нее был конь и револьвер. И революция, которая ее породила...

С весной участились в городе случаи воровства и холеры. Воровство было и раньше, но теперь оно перешло в отчаянность. Беспризорные шныряли по городу: у них не было прошлого, не предвиделось будущего, и с настоящим они обращались безжалостно.

Однажды Юлия Мартыновна пришла с базара бледная, что с ней не часто случалось. Она хотела говорить и не могла. Наконец, она рассказала, что обменяла мое черное шелковое платье на курицу. Курица была худая и старая, под перьями у нее было пупыристое жилистое тело. Но глядела она бодро, и Юлия Мартыновна предполагала, что она сможет нести яйца.

Держа в руках курицу, Юлия Мартыновна шла между возов и корзин. Внезапно вынырнул беспризорный. — Пусти, тетка, — закричал он. Она прижала добычу к сердцу. — Не отдам, — сказала она. Беспризорный озверел, он кинулся на Юлию Мартыновну и здесь же,

у нее на груди, вонзил зубы в трепещущую птицу. У живой он выгрыз у нее крыло. Давясь и спеша, он глотал синее куриное мясо. Когда его оторвали и повели, — лицо у него было в крови, перья облепили его брови и ресницы.

В другой раз мы шли с Авелем Евсеевичем по улице. Заплеванный, заваленный шелухой и мусором, со снятыми вывесками город был очень страшен. Пыльные смерчи шли по мостовой, как в пустыне... Внезапно перед нами побежали люди. Возле одного из домов стояла толпа, головы были подняты вверх, и пыль засыпала глаза.

— На чердаке, — говорили одни. — Вон пожарную лестницу понесли.

— Белье красть, это что ж такое? И так все раздетые ходят.

— Теперь он свое получит.

— Шаромыжник, — сказала одна старая почтенная женщина. — Что себе думает его мать, так это один ужас.

Все посмотрели на нее с удивлением. Никто не подумал о матери вора, а она подумала.

Люди внизу медленно и страшно накалялись: каждый приготовил бранное слово и удар. Но вор обманул всех. Увидав себя окруженным со всех сторон, он бросился вниз из чердачного окна. Он не рассказал никому на что надеялся. Хотел ли он спастись или предпочел умереть от падения, чем от побоев, было все это неизвестно. Только он прыгнул и упал на тротуар. Он был уже мертв, он лежал страшно неудобно: руки были вывернуты назад, и в одной из них было зажато полотенце и пара кальсон.

Его смерть не устроила никого: все проклинали мертвеца и приписывали ему десятки краж в разных частях города. Находили, что у него руки насильника и подбородок убийцы. В то время, как все судили и рядили, женщина из толпы, не та, которая сказала про шаромыжника, другая, вздохнула глубоко и развела руками.

— Мамочка, — закричала она, — ой, боженьки мои. — И она забилась в судорогах.

— Холера, — крикнули все в один голос, и улица опустела. Бегство было мгновенно. Холерная упала рядом с трупом.

— Что же это будет? — спросила я, наконец. — Еще немного и в нашей стране не останется людей. Все умрут, кто же останется? Как жить? — В этот миг мне уже не казалось, что жизнь пустяшно коротка («клочок синего тумана в снежном облаке»). Наоборот, она казалась мне бесконечной, уходящей вдаль без конца, без конца.

Но Авель Евсеевич, который все знал и все умел ставить на свое место, ответил мне: — Не бойтесь. Были времена гораздо более тяжелые. В четырнадцатом веке в Англии во время чумы вымерла треть населения. Дороги были пустынные, города одичали. Голод и падение нравов дошли до того, что в одной тюремной камере заключенные ночью растерзали и с'ели одного из своих товарищей по несчастью. Казалось, что цивилизация кончается. И имейте в виду, что это была

чума, страшная болезнь средневековья, с которой не умели бороться, и которая шла гибелью на человечество. Теперь совсем не то.

— Тогда была чума, теперь холера: разница не так уж велика.

Авель Евсеевич, не слушая меня, продолжал: — Теперь совсем не то. Мы страдаем во имя будущего. Я не сторонник переворотов, они мешают работать. Известно, что Эммануил Кант потерял рабочий день из-за Французской революции. Но, если отрешиться от эгоизма ученого... Наука всегда в союзе с теми, кто силен. Чем больше будет сильных, тем шире разольется наше море.

Разговаривая, мы неспешно проходили одну улицу за другой. Даже если допустить, что революция способствует процветанию наук, спешить нам было некуда: особенно мне. Мой дом был не настолько очарователен, чтобы служить для меня магнитом. В то время Юлия Мартыновна разводила у нас кроликов, этих плодовитых, вкусных и питательных зверьков, которые, по ее мнению, должны были обогатить нас.

Наша комната превратилась в кроличий родильный дом. Белая самка с детьми лежала у меня на диване, и я не могла достать из-под него своих башмаков, чтобы не волновать ее. Молодая девственная кроличиха прыгала повсюду и грызла все, что видела. Кролик-самец, оранжевый красавец, хворал несварением желудка, и наши стулья хорошо знали это.

Так и на этот раз: вспоминая кроликов, я не очень спешила домой. Мы шли все дальше. На пустынной улице, стоя у ворот, двое, юноша и девушка, говорили о любви. Вечерняя тишина донесла до нас их слова. Юноша говорил о том, как он любит ее, что ее глаза самые прелестные на свете, и что поженятся они очень скоро... как только произойдет мировая революция.

И случилось так, что все ощущения этого вечера: смерть вора, холерные корчи, разговоры о чуме в Англии в четырнадцатом веке и вот эти последние слова о любви, все слилось в ощущении жизни, которая идет, не останавливаясь ни на минуту. И мировая революция, немедленно после которой должна была соединиться влюбленная пара, была близка в этот вечер, как весна. А весна была очень близко.

Несколько слов о весне. Она наступает тогда, когда человек пришел уже в отчаяние. Капля воды может переполнить чашу, но является солнце и выпивает каплю. Весна— это чаша, разгруженная от капли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Черное море не слишком богато рыбой. Эта глубокая впадина, синяя от глауберовой соли, с бездонными пустотами, где лежит черный, вязкий, дурно пахнущий ил, не приспособлена для рыбьих жизней. Рыба здесь невеселая: бурой окраски и мрачного характера. И только скумбрия, эта ласточка Черного моря, узка, серебриста, весела и проворна.

Волны расписали ее спинку синими полосками, и брюшко у нее перламутрово-голубое.

Трое студентов, приятели Авеля Евсеевича, организовали рыбацью артель. Они раздобыли лодку и сети. Они внесли в дело свои паи: молодость, зоркие глаза, упругие мышцы, набитые здоровьем. В наставниках у них был дядя Юра, рыбак, соленый грек, который по запаху волны мог определить все, что должно случиться.

Артель поселилась на глинистом склоне в маленькой хибарке. Три стены у нее были вполне нормальные, четвертая же, задняя, вросла в глыбу красной глины. На утопанной площадке перед домом лежала лодка, которой делали новое дно. Она была вся сквозная, как грудная клетка кита: все ее ребра торчали наружу. Воздух и солнце обтекали ее черные ребра: она дышала, старая лодка, и никак не могла надыхаться.

Внизу, на берегу, стояла вторая лодка, здоровая. Под ней крупная галька переходила в мелкий сухой песок. Он влажнел, светлел; чем ближе к воде, тем драгоценнее становились осколки раковин. Уральские богатства, индийские россыпи сыпались там промеж пальцев. Все это постепенно уходило под воду и под водой продолжало жить еще пышней, еще драгоценнее. Медуза, раскрытая, как цветок, приплывала из глубины и становилась над каким-нибудь безвестным алмазом. Синие миди жили на соседней скале под водой. И каменные крабы проходили над ними, как облака над саклями.

Рыболовная артель начал работать. Трое мальчиков здорово изголодались за зиму, насиделись в нетопленных комнатах, отморозили все пальцы. Теперь они накинулись на весну. Солнце вставало для них недостаточно рано, и они ругали его за лень.

На закате молодая скумбрия, чирус, играла над водой. Она выпрыгивала наполовину и, сверкнув на солнце, как перочинный нож, снова исчезала. В те дни горизонт был чист, никакие дымки не туманили даль. Никакие суда не приходили и не уходили, потому что была блокада. Море, со всеми его рыбами и тишиной, принадлежало нам. Вверху, над морем, цвели фруктовые сады, потом на них показалась завязь: все это происходило в тишине. Бывали ночи такого звездного могущества, что от Юпитера шла по морю полоса, как от небольшой луны.

Первый мой визит к рыбакам был короток и официален. Пришли: АVELЬ Евсеевич, Киска и я. Мы шли гуськом по узкой тропинке. Киска шла позади, разговаривая с большим булжником, который она завернула в платок и считала грудным ребенком. АVELЬ Евсеевич, спотыкаясь, говорил мне:—Славные мальчики, вы увидите. Им всем не легко: это все первый курс. Они родились на пороге, вот что плохо. Революция наступила на их восемнадцать-двадцать лет. Но когда-нибудь они будут очень довольны, что жили именно в это время.

Рыбаки были одеты довольно легко: главной их одеждой были волдыри от неумеренного обращения с солнцем. Мы посидели недолго,

и все же за это время Киска успела слегка загореть и крепко подружиться со всеми. Она заявила, что не уйдет отсюда никогда в жизни, и что зимой можно будет спать под лодкой, где должно быть тепло и уютно.

Мы стали приходить все чаще и чаще, а иногда оставались даже ночевать в старом гамаке, повешенном между двумя кольями. Гамак был так стар и дыряв, что Киска вываливалась из него огромными кусками.

С непривычки артель очень уставала: она выезжала в море подвечер ставить сети, и на утренней заре выезжала снова за рыбой. Потом эту рыбу носили в город на базар, обменивали и продавали. Но, несмотря на усталость, на неудачи, связанные с неопытностью, невзирая на греческую придирчивость дяди Юры, который жил неподалеку и приходил в самые неурочные часы, артель находила время для душевных бесед.

Я не могла и не хотела оставаться паразитом в столь трудовом коллективе: я варила уху, мыла корзины из-под рыбы и подметала площадку перед домом. Я хотела шить (женщина, я хотела помогать мужчинам всем, что было в моих силах). Но шить было нечего: артель носила трусы, как товарищ Клавдия, и ничего больше.

Рыбаков было трое, но это было три различных ума, все принимавших по-разному. Первый, Лева Симцис, сын портного, осенью собирался в Москву. В скором времени это явление должно было стать всеобщим, но тогда это была первая ласточка. От энтузиазма он заикался, на губе у него вскипал маленький пенный пузырек. На юридическом факультете он был по ошибке, по воле отца, который мечтал о дне, когда в городе будут говорить: — Сегодня в суде очень интересное дело: обвинение в ритуальном убийстве. Защищает известный Симцис.

— Какой это Симцис? — спросит собеседник.

— Как, вы не знаете? Сын старого Симциса, портного.

Но Лева не имел никакого отношения к отцовским мечтам. Сам он думал о живописи. Он не сомневался, что революция широко запахнула двери карандашу и кисти, и что в самом скором времени города превратятся в груды сокровищ, где каждый дом будет расписан снаружи и внутри. Когда никто еще не помышлял об этом, он грезил о трамваях, украшенных портретами вождей и эмблемами труда.

В свободные минуты Лева представлял себе свою встречу с Луначарским. — Товарищ Луначарский, — должен был сказать Лева, прямо с вокзала очутившись в приемной наркома. — Вот я приехал. Вот вам мои руки: распоряжайтесь ими.

— Товарищ Симцис, — должен был ответить Анатолий Васильевич, — вот вам ордер на Москву: сделайте из нее чудо искусства.

Второй член артели, Викентий Ковалевский, происходил из военной семьи и имел на своем попечении полусумасшедшую бабушку и сестру Галину. В один несчастный день, когда сделалось известно, что

паламида вошла в залив и распугала скумбрию, бабушка и Галина нанесли визит Викентию Ковалевскому и его товарищам.

— Мой милый, — сказала бабушка Леве Симцису, — поднося к глазам лорнет без стекол, — что слышно у вас в лице, и главное, как здоровье наследника?

— Он просто цветет, — ответил Лева, беспокожно шаря глазами по сторонам. — Я еще в жизни не видел такого здорового мальчика.

— Я рада слышать это, мой милый. Хотя здесь говорили, что Бадмаев, этот жидовский доктор...

— Бабушка, — перебила ее, краснея, пятнадцатилетняя Галина, — посмотрите, какая красивая лодка.

— ... что Бадмаев, этот жидовский доктор, — продолжала с упорством бабушка, — совершенно уморил этого ангела.

А лодка, действительно, выглядела необычайно. Воспользовавшись днем, когда рыба плохо шла, Лева выкрасил ее снаружи черными эмблемами труда на красном фоне. Внутри она была зеленая, и в таком виде поразительно напоминала арбузную корку, вывернутую наизнанку.

Третий артельщик, Костя Крошкин, любил понятные вещи: это было его особенностью. Он многого не понимал и часто начинал фразу именно этими словами: «Я не понимаю».

В теплые темные ночи, когда вода внизу издавала только легкое шипение, и светляки слетали сверху из сада, в такие ночи раскрывались сердца. В котелке над огнем варилась уха, как в книгах: но это было в жизни.

Лева Симцис говорил об искусстве. — Я — культурная единица, — говорил он, — я приезжаю в Москву, я говорю так и так. Разве не правда?

— Я не понимаю, — возражал Костя, — почему культурная единица должна непременно переть в Москву: и здесь, в провинции, можно работать.

— Страна больна, — думал вслух Авель Евсеевич. — Москва — это сердце: у сердца всегда теплее.

— Страна не больна, — возражал Лева. — Это не болезнь, а родовой процесс: больно, но полезно.

Авель Евсеевич не оспаривал родовой процесс. Уха закипала, падучая звезда перечеркивала небо. Ковалевский молчал, как обычно. Появлялся дядя Юра. Он высыпался быстро: в час ночи он был сыт по горло сном. Он сообщал нам, что море теперь полно мин. Громадные мины в форме торпеды плывут в морской воде, и рыбы боятся их. Первой начинает бояться камбала, умнейшая из рыб. Она учит остальных, и море пустеет на многие мили. — Мины везде, много-много мин, — заканчивал дядя Юра и показывал рукой по направлению Константинополя.

Мы следили глазами за его рукой и не верили ему: море было спокойно, — легкое летнее море.

Потом мы глядели на небо. Авель Евсеевич обводил пальцем черные пространства, где не было звезд. — Это пустоты вселенной, — говорил он. — «Угольные мешки». — Он рассказал нам об одной звезде в южном полушарии, которую звали Канопус. — Она так велика, — сказал он, что если в одну точку вселенной каждый час будет падать капля величиной с наше солнце, то понадобится два с половиной года, чтобы образовать Канопус.

— Пожалуйста, не надо, — растерянно выговорил Лева Симцис. После чего эта «культурная единица» закрыла глаза руками, будучи не в силах выдержать блеск страшной звезды.

— Цк-цк-цк, — сказал дядя Юра.

— Я не понимаю, — в последнюю очередь высказался Костя. И это был редкий случай, когда он был прав. Ковалевский молчал.

Ковалевский всегда молчал: он был самый странный из всех. Иногда мне казалось, что в нем заключена частица его сумасшедшей бабушки, а может быть, и нечто совсем другое. Днем, сидя на скале, он удил рыбу не для продажи, а для себя. Это было смехотворное занятие, потому что вода в том месте была тепловатая и до смешного мелка: не вода, а водица. Даже городские мальчишки презирали ее. Улов там был сответственный: маленькие бычки, почти прозрачные. Они распускали плавники, как настоящие взрослые рыбы, но видно было, что это дети.

Ковалевский не смущался ничтожностью добычи и бережно складывал ее в жестяное ведро. Но какой-то одной рыбешке он яростно срывал голову. Безголовая, она летела в море, за ней остальные, после чего ловля кончалась: рыбак сматывался и уходил. Не один раз я следила за ним, и всегда это было одно и то же: спокойствие до одной какой-то точки, потом внезапная ярость и — конец. Однажды я спросила его, в чем тут дело.

Он посмотрел на меня и ответил нехотя: — Это семнадцатый: семнадцатому я обрываю голову.

— Я вижу. Но почему семнадцатый?

— Потому что в семнадцатом году началась революция: ужасный год. — Больше я ни о чем не спрашивала его.

Лева Симцис, на которого была возложена обязанность товарообмена, каждое утро отправлялся с корзиной рыбы на базар. Чтобы не распугивать покупателей, он надевал штаны, закатанные до колен: верхняя часть тела оставалась голой. Он нес на плече корзину, полную серебра и соленой свежести—это была скумбрия. Лева уносил в город рыбу и приносил нам слухи. Слухов было так много, что они вскипали пенными пузырьками на его румяных губах.

Однажды Лева Симцис, помимо слухов, принес домой шишку на лбу, подбитый глаз и порванную штанину. — Меня побили рыбаки, — с гордостью сообщил он. — Рыбаки-профессионалы за то, что мы взяли за их дело. Но я объяснил им, что революция уничтожила все эти подразделения.

В другой раз он пришел по-настоящему смущенный.—Говорят,— сказал он,— о каком-то заговоре. В городе беспокойно, много арестов, были облавы, обыски.

— Какого же рода заговор? Кого подозревают? Кто заговорщики?

— Бывшие офицеры как-будто, и даже студенты. Нашли концы и теперь ищут главный узел. Говорят, что все они связаны с Врангелем. Говорят о какой-то подводной лодке здесь поблизости. Скверная история.

В тот же вечер заглянул к нам прохожий человек, очевидно, один из тех, которым нечего делать, и которые существуют в природе неизвестно зачем. Он сошел сверху с горы, в руках у него был прутик, которым он подхлестывал воздух, как ленивую скотину. Человек попросил у нас пить, потом попросил спичку, потом сказал, что ссадил себе ногу и ему необходимо переобуться. Наконец, он уселся плотно, заявив, что устал как собака, и что ему приятен здешний воздух. С этой минуты он окончательно перестал нам нравиться, хотя мы и раньше были от него не в восторге.

А прохожий человек сидел и разглагольствовал, словно он давно не находил себе собеседников по душе и теперь хотел вознаградить себя. В ответ на все его речи мы молчали как убитые. Молчание наше становилось все тягостнее: необходимо было прервать его, и Лева Симцис сделал это не вполне удачно, заметив, что лето в этом году пыльное. Мы все смутились, только не прохожий человек. Он даже как бы обрадовался и начал нас расспрашивать о нашей жизни здесь на берегу.

— Живем, — сказал Лева. — Ловим рыбу. Надо немножко подготовиться к осени. Рыбаки-профессионалы против нас, но на это не нужно обращать внимания, потому что революция уничтожила все эти подразделения. Осенью надо ехать в Москву.

— Вот здорово, — воскликнул человек. — А кто же именно здесь живет?

— Я, — ответил простодушный Лева. — Моя фамилия Симцис. И два моих товарища: Крошкин, вот этот... с расцарапанной щекой. И Ковалевский, тоже студент. Вон он чинит корзину.

— Где? — спросил человек с удивительной живостью.

Лева обернулся: Ковалевского не было, и недочиненная корзина была брошена в песок:

— Вот здо-ро-во, — протянул человек необычайно разочарованно.

Он ушел через несколько минут, как-будто с исчезновением Ковалевского здешний воздух потерял для него всякую прелесть. Мы больше не видали Викентия Ковалевского. От него остался только ровный ремень и носовой платок, которым он повязывал себе голову от солнца. Но и эти невинные предметы были в наших глазах полны недобрых тайн. С ними были связаны слухи о заговоре, воспоминание о незнакомце с хлыстиком, о какой-то неведомой опасности, которая была близка, и которую мы по своему легкомыслию не заметили.

Последующие наши дни были беспокойны. Человека с хлыстиком не было видно, но он присутствовал незримо, он мелькал где-то на горизонте. Мы не понимали, мы не знали кто он, и с какой точки зрения был ему интересен Ковалевский. Был он ему друг или враг, и если враг, то почему не тронули нас, живших с ним бок-о-бок? Все это было непонятно, но тревога была так явственна, что можно было ее ощупать рукой.

Тревога была не только в нас; она была и в природе: наступили безрадостные знойные дни, когда солнце, вставая утром из воды, было как бы покрыто пылью. Желтое море бросало на берег слишком теплые и пенистые волны: рыба не ловилась вовсе.

В один из таких дней на закате появилась большая туча. Она шла со стороны Крыма и была тревожна, как эстафета. Нам с Киской были знакомы веселые ночные дожди, которые чаще всего приходят на рассвете, умывают листья, вытаскивают за уши из земли ленивые травы и, навевая порядок, уходят. В таких случаях мы укрывались брезентовым чехлом и, лежа под ним, слушали щебетанье дождевых капель. Если же дождь становился слишком силен, то мы уходили в так называемый дом и укладывались там в углу на сеннике, подальше от Левы Симциса, который во сне бывал буен и продолжал сражения, начатые наяву с профессиональными рыбаками.

Но на этот раз туча имела нешуточный вид. Она шла и набухала, холодная синяя тень мчалась впереди ее, захватывая все новые пространства. Она дохнула холодом и влагой, и листья яблонь на горе, и особенно листья тополей прилегли на серебристое брюшко, трепеща и вздрагивая. А над ними неслась пыль и клубы воздуха. Покуда мы с Киской советовались, не уйти ли нам по добру по здорову в город, уходить сделалось уже поздно. Туча стояла как раз над нашим обрывом: спастись от нее нельзя было.

Настала гроза, воздух закипел от ливня и ветра, море издало рев. Оно ревело нутром, всей глубиной своей, которая обычно безмолвствует. Гром начинался в одной точке неба, потом обрушивался на вселенную. Раздавался удар, проходило мгновение, когда мы не дышали, и фиолетовая молния врывалась в наши крепко стиснутые веки, вырывая из них огненные куски. Так называемый «дом» хотел оторваться от земли и не мог: он вздрагивал, и мы вздрагивали вместе с ним.

— Я не понимаю, — сказал Костя Крошкин в минуту сравнительной тишины, — как он выдерживает это.

И, правда, это было удивительно: мы этого не ожидали. — Стихает, — сказал Лева, глядя в пенистое окно. — Стиха... — В это мгновение что-то случилось с воздухом. Раздался грохот: он шел не с неба, а с земли, он затопил весь мир. Наше окно вылетело вместе с рамой, мы повалились друг на друга, грохот все шел, хотя ушные раковины уже не вмещали его. И дождь барабанил теперь прямо по нашим головам.

Это взорвалась одна из мин, о которых нам рассказывал дядя Юра. Буря сорвала ее с места, тащила по морю, пока не швырнула о скалы неподалеку от нас. На утро весь берег был покрыт камнями, у скалы вырван бок и вода покрыта оглушенной рыбой: среди рыб плавала брюхом вверх и камбала, умнейшая из рыб. Даже прославленный ум не спас ее от катастрофы.

Этой бурей и этой взорвавшейся миной как бы завершилось лето. Море похолодало, попрозрачнело, и горизонт приобрел ту стеклянную хрупкость, которая является предвестницей осени.

Сейчас, в эту минуту, увлекаемая ходом книги, принужденная идти дальше, я ловлю себя на том, что в воспоминаниях мне не хочется уходить от того лета. Тревога, безденежье, непрочность настоящего и туманность будущего, исчезновение Ковалевского, разговоры о Москве и звездах, наконец, взрыв мины, все это было крепко сварено в морском котелке: этой ухой мы были сыты долгие дни.

(Окончание следует)

Два короля

Рассказ

П. ПАВЛЕНКО

Капли солнца заплескивались в стаканы англичан, и англичане пили из солнечно-грязных стаканов мутное самосское вино, рожденное легендой о девушке, брачным ложем которой были первые гроздья самосских лоз.

Был месяц студеных благоуханий, первый месяц осени, пахнувшей спелыми дынями. Едва расплескивая голубизну неба, солнце лениво гребло через залив Измир. На краю моря, за заливом паслись голубые острова. Смирна лежала в тишине послеобеденной дремы, раскинувшись набережной, смуглой, как анатолийская женщина. Столик англичан стоял у ее ног. Они отдыхали в уюте смирнского мрамора, довольные пыльным очарованием города после странствий по гнойникам анатолийских деревень. Они пили вино и говорили о вещах, далеких от будней. Завладев общим вниманием, Исаак Ру рассказывал занятные вещи о том, что он называл философией труда.

— Народ, создавая безыменные были, создает и пересоздает их веками,— говорил Исаак Ру.— Былины и орнамент живут столетиями. Иконопись всех веков родственна Сказки у многих народов одинаковы. Проходят века раньше, чем гениальный глаз безыменного бунтаря внесет в классические формы новую линию, которая, вращая в материнский массив, начинает день следующего стиля. Безыменное искусство как коралловый риф: каждый миг в каждом дне растут и отмирают кораллы, их ветви множатся, кривятся, ширятся, отпадают, новые полипы изменяют черты массива,— и так же никогда не устает расти и совершенствоваться творчество, пока само бытие не выветрит из сознания влечения к данной форме.

Так говорил Исаак Ру, агент общества «Америкен Карпет Компани», а шестеро сидели вокруг него и слушали, не прерывая.

Они были англичанами, все шестеро, лучшие из выпуска нации за последние тридцать пять лет, специального заказа для работ в колониях, точные, как те винтовки Манлихера, что были выпущены для

колоний вместе с ними. Они были англичанами, а за ними, за их столиком, шла тишайшая осень Ионийского моря — месяц ласкового покоя; будни должны быть заполнены честно, — и англичане отдыхали. Они говорили об отвлеченных вещах и пили самосское вино, острое, как иней. Роберт Бекер работал с шерстью, и о шерсти никогда не придумаешь ничего смешного, — шерсть серьезна, как стерлинг; Боб и Генри строили химические заводы, — что тут смешного? Эдвард и Коэли экспортировали «гаванну» из Смирны, а Оскар — хлопок из Аданы, но и тут решительно ничего не было смешного, и они смеялись над рассказами Ру, потому что ковер на то и ковер, чтобы доставлять удовольствие, с какой бы философской точки зрения его ни рассматривать. Исаак, впрочем, не всегда разделял их веселость, но он был таким же англичанином, как «гаванна» из Смирны, — сын левантийца и еврейки.

— Вы знаете, как создавались ковры? — спросил Ру.

Он был худ и высок, с бородой цвета мореного дуба и глазами черного дерева; борода росла у него, как бурьян на пожарище — из разных мест, неровными кустами и стекала ручейками косм к подбородку, где образовывала узкий клин. Он владел негромким, всегда простуженным голосом, знающим много оттенков убедительности, и выносливым, как анатолийский мул.

— Два слова, — и вы поймете, а потом я расскажу вам действительно смешную историю, — говорил он. — Сначала были шатры и люди в шатрах. Старший в роде начертал на полотнище шатра свой знак. К этому знаку прибавили знак рода, потом знак бога, охраняющего род. Род вырос в племя, и знак его поместился там же. Другие роды пришли соединиться и набросили, как визитную карточку, свои значки на общий узор племени. Потом тут же записали ремесла племени, начертали рыб и зверей, формулы рыб и зверей, пометки о войнах, о морах, о победах, о вождях...

— Что мне сейчас пришло в голову, Ру, — сказал Генри в хохоте. — По вашей теории орнамент создан на липком листе «мухолова». Лежит такой лист, а на него летят и прилипают мухи иероглифов.

— Совершенно так оно и было, — ответил Ру, — уже значительно позже какие-то руки, любящие музыку глаза, распределили этих «мух» на липком листе собирательного искусства так, чтобы было выразительнее и проще.

— Давайте-ка, Ру, лучше вашу смешную историю, — сказал Оскар. — Чорт возьми, это до невозможности скучно, — то, что вы рассказываете.

— Еще одно слово, и я перехожу к истории, — ответил Ру. — Липкий лист был заполнен, племена размножились, вырастали в народы, народы строили царства, роднились с другими народами, орнаменты тоже роднились, скрещивались, изменялись в деталях, отражали в себе язык эпох. Тысячи ткачей ткут один и тот же орнамент,

но мы с вами покупаем неповторимо сделанный, ибо он живет новым преображением старого. Стиль вещей ограничен, вещи имеют свою биологию, точную, как и наша.

— Понятно, — сказал Генри. — Давайте теперь вашу историю. Но Боб прервал рассказ Исаака Ру.

— Знаете что, — сказал он, — я вижу, мы не найдем лучшего подарка королю, чем хороший ковер. Это будет подарок от англичан, поднимающих Азию. — Он взял Исаака за руку. — Вот, где нужно развернуть вашу теорию об орнаменте, если она, конечно, жизненна. Пусть в орнаменте на фоне ваших полумистических иероглифов найдет себе место повествование об эпохе нашей цивилизации, об эпохе нашей работы в дикости и невежестве Азии.

— Более оригинального подарка мы не найдем, — признал Исаак, и остальные согласились с ним.

Это были дни, когда Георг, принц Уэльский, благополучно занял, по законам своего ремесла, трон короля Англии. Вопрос о подарке был решен. Разговор перешел на темы о его выполнении, никто не вернулся к обещанной Исааком Ру смешной истории.

* * *

Возвращаясь через месяц из деревень Мээмурет-Эль-Азиса, Оскар, покупатель хлопка, встретил в пути Исаака Ру, направлявшегося в Ушак закупать ковры для своего общества и заказать подарок королю.

Ушак, город ткачей, воспетых в анатолийских газелях, лежал от них в трех-четыре дня пути, но они должны были его проделать в неделю, ибо Исаак Ру шел с караваном ковровщиков. Ковровщики неустанно бороздят страну вдоль и поперек, ищут старые ковры и заказывают новые на будущее, везут с собой рисунки западных художников, краски немецких фабрик и дешевую бумажную пряжу. Это они и он, Исаак Ру, научили подменять искусство немецкой фабричностью, едкими анилиновыми красками и мертворожденными узорами машинного штампа, и во многих местах теперь уже не ткуют ковры, как ткались они раньше, — для себя, для друзей, для дома, на приданое. Прежде ковры ткались годами, — мастер неторопливо отшлифовывал рисунок подобно граверу, мастер всю свою жизнь ткал один рисунок, орнамент рода, вкладывая свое мастерство в труднейшее, в гениально-трудное — в тонкость работы, стремясь проявить себя, как художник, лишь в сильнейшей, выразительнейшей передаче векового рисунка. Ковровщики продавали анилиновые краски, дешевую бумажную пряжу и покупали ковры, памятуя за собой века. Их караван медленно шел, заикаясь колоколами, медленно тряс людей и тюки по шершавым анатолийским полупустыням. Они проходили села. Женщины встречали их шумными криками, женщины волокли на площадь к каравану полотнища ковров, паласов, хурджин, занавесей, они пели легкомысленные песни, чтобы привлечь к себе внимание, расхваливали

ковры и себя, упрашивали купить у них весь товар, обещая за это какие-то хорошие вещи, и бедность кричала их криками.

Караван-баши и Исаак Ру работали глазами. Ковер создан для глаза, глаз создает ковры, глаз покупает ковры. Им не нужно было касаться товара руками, ибо глаза их были цепки, как обезьяньи руки. Крючками глаз они вытаскивали хорошие куски, видели дыры, недостатки, кривизну. Они садились на старые керосиновые бидоны, чавкали мундштуками кальянов или жевали густое по-султански кофе и смотрели пыльными глазами на ковры, которые перед ними либо раскладывали пестрым пасьянсом, либо перелистывали, как страницы книги, снимая по одному с кипы, уложенной четко, как колода карт. Они читали ковры, как когда-то в детстве читали, зорко следя за шагистикой еще не примелькавшихся букв, первые фразы своего, всегда чудесного букваря. Иногда они перебрасывались короткими фразами.

— Кто это?.. Арнаут Кясим?.. — спрашивал Ру, указывая на ковер, когда затруднялся определить ткача по «почерку» узора.

— Хайр ¹⁾. Его племянник, — отвечал караван-баши, не вынимая мундштука. — Плохо. Кясим никогда так не делает каймы.

И они читали дальше. Иногда караван-баши лениво поднимал глаза и говорил презрительно: «немецкая краска!», но иногда он поднимал руку, и тогда ковер, обративший на себя его внимание, отбрасывали в сторону: это означало, что после осмотра он ткнет ногой в стопку отложенных и назовет цену раза в три ниже того, что они стоят. Тогда поднимутся дикий плач и вопли, женщины будут колотить себя в груди, кричать, что их грабят среди бела дня, отбирая у них только лучшие куски, что они бросят ткань ковры, раз с коврами на немецкой краске, привезенной Исааком Ру, не заработаешь и на хлеб, потом они залепечут ласковые слова, пообещают добрый и ласковый ночлег у себя и лепешки на меду к ужину. Но будет молчать караван-баши, и будет молчать Исаак Ру, будут молча курить погонщики верблюдов, и женщины одна за другой отдадут отобранные ковры, а остальные злобно потащат по мостовой, чтобы опять со слезами и криками показывать их через несколько дней другому каравану. Тогда караван-баши разрешит разгрузить на отдых верблюдов, прикажет затюковать купленный товар и уйдет поболтать о новостях в кофейню — тут же рядом с караван-сараям.

Людно и весело проходят дни в караван-сараях вдоль больших дорог, где встречаются караваны Тавриза с караванами Юзгада и Смирны. Слепые медлахи ²⁾ рассказывают были и небылицы, безработные погонщики верблюдов клячат работу, хвастая своими достоинствами и прельщая хозяев низкой ценой, выискивают недостатки у работников пришедших караванов, или вслух бранятся, взбивая воздух колотушками голодных своих голосов. Рядом с караван-сараями живут кофейни и лавки. В лавках преют мука и крупы, чеснок

¹⁾ Нет.

²⁾ Бродячие рассказчики.

оббивает заскорюзлыми ожерельями стены, парит зловонием отхожих мест бастурма — лакомство дорожных бродяг. У лавок и у кофеен дрожит толпа. Медлительность в пути, где человек подчинен верблюду, забыта, здесь все в движении, в размахе, в криках, — движения и крики нужны, как отдых, после столбняка медлительных дней на горбе верблюда. Вдоль узких улочек, пробегающих мимо лавок, старухи расстелили пыльные коврики с произведениями своего несложного мастерства. Они торгуют чулками из грубой коричневой шерсти, кисетами из дешевого шелка, кошельками из стекляруса. Рядом с ними в песке и солнце выдерживает свой товар чувячки — он предлагает туфли без пяток и лапти из сыромятной кожи, ремни и пояса. Молча, в сознании серьезности своего ремесла, дремлет над ящиком с коробками и пузырьками сивобородый фалджи—снотолкователь и знахарь. Изредка он вопит грустным воплем, похожий на сонную, все перепутавшую птицу. Его специальность—порошки от рези в желудке и мазь от сыпи на груди и язв, для которых нет ничего лучше смеси из теплого коровьего помета с мелко просеянной медной пылью, им заговоренной.

Караваны отдыхают иногда по несколько дней; в эти дни погонщики верблюдов испиливают в порошок медяки и охотятся по селению за пометом, чтобы успеть зарубцевать старые язвы своих степных романов. По ночам за кофейнями, у ворот каждого караван-сарая, и в стойлах, и на сеновалах любят женщин, ткачих и продавщиц джурабок, курят опий и играют в кости, чтобы, выиграв или полюбив, наутро покупать кошельки из стекляруса, цветные джурабки, благовония и халву, а проиграв, самому нести на улицу запасные сатинетовые штаны или только что снятые с ног желтые исподники,—вещь безусловно ненужную в дороге. Во дворах караван-сараев перетюкуют груз, и караван-баши разных караванов меняются друг с другом коврами. Старухи и девочки здесь же штопают брак.

Вечером, в кофейне, отложив в сторону роман Гэлсуорси, Оскар попросил Исаака Ру прочесть ему ковер, на котором они сидели.

— Хорошо, — ответил Ру. — Только сначала расскажите мне, что видите вы сами.

— Я вижу, — сказал Оскар, — вишневое поле, усеченное неширокой каймой на вишневом поле; как в веселом аквариуме, играют мелкие букашки, пятна, крестики разных цветов; по вишневому полю и по этим букашкам, не заслоняя их, но просвечивая сквозь них виден контур причудливой вазы, из нее ниспадают книзу линии стилизованных гилянц...

— Ну-с, — Ру улыбнулся хвостиками губ.

— Да вот, пожалуй, и все, — ответил Оскар — Я рассказал то, что я вижу. Ну, а вы?

— Я скажу почти то же, но несколько иначе. По черепу, найденному в земле, мы научились распознавать эпоху, когда жил человек и, может быть, даже класс, к которому он принадлежал. По осколкам мы научились воспроизводить самые статуи, и по стилю статуй мы

угадываем ее возраст, национальность, мастера. Слушайте внимательно меня и глядите на ковер: основа ковра — чистая шерсть, ковер окрашен растительными красками, его размер невелик и такой, какие не идут на рынках, но рассчитанный на размеры определенного жилья. Этот ковер ткала девушка, — видите, как тщательно и терпеливо завязаны узлы, подрублены края, подстрижена бахрома; она начала его весной, — весенняя шерсть курчава и мягка, — и на вишневое поле, в узор из мелких красочных пятен, она бросила голубых бабочек и темных — крестиками — скорпионов, ибо в ее краю весна приходит бабочками и скорпионами. Она начала ковер в месяц скорпионов, стало-быть, в мае, и закончила его осенью, в дни изобилия, урожая, покоя: смотрите — пятна на фоне из бабочек и мух в нижней половине фона превратились в зеленых мушек, — жителей дней, когда поспевают дыни и инжир, и в цветы, которыми зарастают сжатые нивы. То, что вы назвали вазой, это — рог изобилия, это — старый орнамент кирманских ткачих, рог изобилия перекипает гирляндами цветов, пеной ирисов, классических цветов Юноны — богини плодородия и счастья. Они стилизованы, и их трудно узнать, но, когда прилькнешь к здешней манерности стилизаций, тогда легко различить лилию от ириса или розу от граната. Из трех типов каймы, принятых в Кирмане, ткачиха выбрала ту, что называют «китайские облака», кайму дарственных, трудных, искусных ковров. Вы видите, кстати, голубую бусинку с краю, в бахrome. Ее заткала девушка неспроста, но чтобы предохранить от дурного глаза того, кому ткала она шерстяную песню о днях урожая, покоя и плодородия. Жизнь вырвала ковер из этой трогательной обстановки и бросила его на рынок. Несчастье? Смерть? Разрыв? Голод? Надо уметь раскрывать и эти тайны. Хаджи! — крикнул он хозяину. — Где это ты достал такой хороший ковер?

— На рынке, эффендим. Прошлой осенью здесь, на рынке.

— Беднеют, говоришь, люди в Кирмане?

— О, нет, эффендим, — возразил Кафеджи, — в Кирмане всегда жили сыто.

— Кирман... Кирман... — бормотал Ру. — Ты купил его осенью, говоришь? Так. Этому ковру, по-моему, не менее пятидесяти лет. Анилиновые краски были изобретены в 1870 году, а он весь окрашен растительными, бумажная основа вошла в моду с тех же, примерно, пор, но его основа чистой шерсти. В восьмидесятых годах в Кирмане появились немцы, и уже первые ковры того времени отдают лейпцигским лубком, особенно в трактовке каймы, но и этого не заметно здесь. Я считаю, Хаджи, что ему не меньше пятидесяти лет, как ты думаешь?

— Вы хорошо это сами знаете, эффендим, — ответил Хаджи. — Я думаю, вы правы.

Ру думал.

— Да, — оживился он вдруг, — совершенно ясно. Ведь в 74 году там была холера, Хаджи, — не так ли?

Теперь настала очередь хозяина задуматься и уйти в прошлое. — Холера? — вспоминал он. — Ну, верно, эффендим, верно, как-будто бы это говорит наш хаким-баши¹⁾, а не вы. Ну, как это я мог забыть! Конечно, была холера.

— Холера и выбросила на рынок этот свадебный коврик, — печально улыбнулся Ру. — Его некому уже было подарить, я думаю.

* * *

Саади был стар, подслеповат и мокр от постоянной испарины, липким жирком покрывавшей его лицо и руки. Ноги его дрожали и путались при ходьбе. Губы, когда он говорил, вздрагивали неуправляемым тиком и громко шлепали одна о другую. Он брил бороду и носил одни усы, длинные и неуклюжие, плотные как из глины, оттого что табак и еда, оседая на них годами, нафабрили их навсегда густо и клейко. Глаза его были, как запущенная старая язва, плоски, красны, с белыми и синими канатиками; тяжелые дряблые веки, как припухшие швы рубца, мертво накатывались на них.

В его сакле пахло потом неопрятности. Два станка, два нелепых сооружения из дурно отесанных и примитивно организованных планок, занимали комнату. Здесь же валялась пряжа, и был расстелен тощий матрасик, покрытый дешевым ковриком; на коврике в табачной трухе восседал Саади и управлял ткачихами, напевая вполголоса песню, ритм которой диктовал ткачихам движение нити, как палочка дирижера диктует оркестру движение звуков. Саади был последним великим мастером старого Ушака. Его имя знала мировая литература. Ученый Якоби написал о нем исследование. Американец Льюис взял его натурой для героев своей замечательной книги «Летопись ковра». Немецкий профессор Нейгебауэр упоминал его в своем труде «Искусство восточных ковров», как величайшего мастера. Агент бюро путешествий Кука всегда водил к нему туристов, посещающих Ушак, и показывал его, как занятную и наукой еще необъясненную особь. Его ковры были в Зимнем дворце в Петербурге, в Мюнхене, в Лейпциге, в Вене, в Чикаго, в Париже, в серале падишаха, в мраморной оправе сказочных зал Долма-Бахчи, в гареме Илдыз-Киоска, в мечетях Бруссы и Кони, в мечетях Мекки, в дворцах египетского хедива. Его ковры были и в Тегеране, в покоях царя царей и шаха шахов, и когда царь царей Магомет-Али бежал от своей страны в Одессу, ковер Саади был продан им с аукциона в Париже за сто тысяч франков, и деньги, вырученные за ковер, долго служили ему службу, а ковер оказался в Лувре.

Исаак Ру объяснил старику свой заказ. Ру написал контракт, и Саади, омочив в гуще кофе свой горбатый бронзовый пален, приложил к контракту бурое пятно своей подписи. И пообещал кончить ковер в два года.

Саади постиг перевоплощения шерсти, как постиг своим нутром, что люди любят вещи за труд, в них отложенный и ничем нераствори-

¹⁾ Хаким — врач.

мый. Вещи — иероглифы труда, труд — формула людей. Идет река жизни по ступенькам камней, идет волна, в волне идет армия капель, волна идет и уходит, и только осыпанный ими в камни дна золотой песок остается вещью движения.

Саади отдал шерсть вымыть в воде, вымыть, выбить колотушкой и высушить на солнце. Солнце сделало шерсть и чистой, и легкой, и сухой. Ее очистили струной, натянутой на кривой смычок, и отдали прясть на самопрялке, а не на веретене, как обычно, чтобы добиться тончайшей нити. Потом тонкие, острые, как девичий волос, нити сучили и выравнивали стальным прутиком, и нитка стала послушным нервом, готовым врасти в любую ткань и протянуть по ней свою живую паутину. Сам же Саади, пока готовили ему шерстяные нервы, запершись в камерке, куда никто не смел входить, приготавливал, подобно доктору Фаусту, отвары по одному ему известным рецептам. Нерв должен жить, и цвет — жизнь нерва. В шерстяном этом нерве он находил частицы своего существования, и все, и куски узора, все краски отдельных его линий и фигур, темные, яркие, блестящие, скользкие и мрачные, пробуждали в нем отдаленные воспоминания, как-будто краски сохранили в себе нечто неумирающее. Он давно отделался от того, что для него самого представляли цвета и линии в смысле приятности или неприятности. Только то проникало в него, что должны постигать те, кто воспримут эту радугу красок и паутину линий. Его воля была сосредоточена на одном — преодолеть все, что лежит между ним и шерстяным нервом ковра.

Обычно он приготавливал черный цвет из отвара дубовой коры с железным купоросом, но на этот раз он извлек из потайных мешочков сандал и варил его с корой граната; красный цвет он рождал из отвара плодов сумаха, привозимого ему с Дагестана, или корня марены; желтый — из отвара корней барбариса, листьев шелковичного дерева и персика; на темно-желтый не пожалел он на этот раз чистейшего шафрана, дорогого, как золото, дающего цвет вековой прочности. Баяхчи Измаил принес ему бычьей желчи, и, выварив желчь с корнями виноградной лозы, Саади получил коричневый цвет. Вымочив нитки в растворе квасцов, он бросил их мотки в горшки с растворами красок. Шерсть перестала существовать.

В горшках уже варился зародыш ковра.

* * *

В июле второго года в отель, где жил Ру, пришла девочка. Она выглядела десятилетней, но лицо ее уже было покрыто чарчафом, на детском теле следы материнства выгнули напряженный овал. Она переступала, как утка, — живот, опадая, раздвигал ей ноги. Она подала записку. На бумажке, наверно извлеченной из мусора и потом тщательно разглаженной на колене, был выдавлен отпечаток кривого пальца. Девочка, подав записку, сказала:

— Хаджи Саади ждет вас к джуме¹⁾. Через день после завтрашнего дня.

Ру оповестил друзей, — все шестеро были в Смирне, — и они решили выехать в тот же вечер, чтобы побыть у старика в праздник...

Машина Роберта, синий узкий «Бюик», разматывала рыжий клубок дороги. В беге автомобиля терялась анатолийская медленность, рожденная зыбью верблюжьего шага. Автомобиль стегал пейзажи скоростью, пейзажи бежали, рассыпаясь в стороны, оставляя перед машиной и англичанами рыжий камень и пыль сугробами, горькую, как кайенский перец. Пейзажи убегали в стороны и скрывались за домами Ушака — и здесь толпились оазами, рощами, холмами, болотами, грязью прямо на улицах, среди жилищ. В тот день был шумный базар в Ушаке. Улицы, нутро которых было базаром, дрожали от воплей, криков и песен, икали ослы, верблюды стонали гнусавыми охами, шла пыль частым рыжим дождем, и в воздухе пахло корицей, козьим духом и человеческой грязью. Авто англичан проковыляло по суставчатым улочкам, через базар, вползло в щели проходов между домами за рынком и остановилось у дома Саади, гудевшего народом.

Во двореике, за глиняной стеной, кружились люди. Саади на куцом своем матрасике занимал низкий, почти в уровень с двором, балкон, кокетливо выложенный кирпичами. Перед ним разметался, как крылья гигантского жука, его новый ковер; несколько других, поменьше, лежали сбоку. Неторопливо шевеля короткопалыми руками, Саади рассказывал что-то о себе. В этот день, раз в году, он всегда созывал гостей и показывал им новый товар, как художники на Западе показывают себя на выставках. Вокруг него, на праздничных ковриках, сидели торговцы шерстью и мастера-ковровщики.

Они приходили, принося с собой узелки с подарками — горшочками сметаны или горстью отличных смокв, и долго говорили о старом искусстве Ушака, вспоминали его мастеров, хвалили работу Саади. Саади рассказывал о себе, шлепая губами и зловонно дыша.

Когда он смеялся мокрым ртом, гости смеялись вместе с ним, хотя и не понимали смешного в его словах. Когда он говорил о серьезном, они поддакивали и придавали его словам проникновенный смысл, которого у него не было, и который они хотели найти в нем, несмотря ни на что.

А за ними, за стеной почетных гостей, у ковра ползали на пятках ткачихи Саади и чужие ткачихи. Они мяли и тискали ковер, шептались, разглядывали узлы и, прислушиваясь к разговору на праздничных ковриках, восторженно ахали, закатывая глаза. Среди них было много бывших учениц Саади, бывших его ткачих и жен, теперь работающих от себя, они держались, как опытные мастерицы, прошедшие долгий искус учебы, они покровительственно шлепали по плечам девочек Саади и осматривали их понимающими взглядами, но уши их были

¹⁾ Праздник.

обращены в сторону Саади, и его слова заставляли их быть готовыми к покорности, если ее от них потребовали бы.

Когда англичане под'ехали к калитке, ковровщики и друзья Саади бросились к ним навстречу.

Раздались приветствия.

— Привет господам!.. Привет друзьям Хаджи-Саади! Да будет удачна ваша покупка! Хорошие вещи всегда идут в хорошие руки!

Ру с друзьями подошел к старику, старик привстал на дрожащих ногах и смущенно потряс непослушными губами, чтобы произнести приветствие, потом он снова сел на матрасик, и гости уселись возле него на праздничных ковриках.

Ковер для короля лежал перед ними. Вокруг него, как вокруг ровистой лошади, осторожно ходили скупщики ковров и друзья Саади, они мельком гладили его бархатную кожу, расправляли края, щелкали языком, глядя на рисунок, на шерстяную душевность красок и, сравнивая с другими работами Саади, находили эту лучшей.

— Говорят, Малую Азию со всеми ее чудесами с'ели козы, — сказал Боб, — на козьей же шерсти человек создал другую Азию, отразив в ней все чудеса прежнего... Тут нельзя приспособить какую-нибудь философскую теорию, Ру?

Ру не ответил. Он читал ковер.

* * *

Обычная кайма Ушака — это пышная ветвь цветов граната, ветвь жизни, — Ева дала Адаму гранат, — переплетенная с сизыми листками оливкового дерева, которое давно уже названо человечеством эмблемой мира. Жизнь, заплетенная миром — кайма Ушака. Центральное поле — почти всегда квадрат с вписанным в него восьмиугольником, восьмиугольник — земля с восемью точками компаса. На гранях восьмиугольника, вне его, в углах квадрата четыре великих индиговых моря волнистыми краями своими замыкают систему земли. В восьмиугольнике брошен пышный орнамент. В нем есть давно нечитаемый лотос, цветок Венеры и богоматери, и снова гранат в стилизованных композициях, почки, цветы и плоды граната на теплом вишневом фоне, а в середине острый арабеск из всех эмблем, повитый кудрями плодоносящего гороха.

Таков обычный рисунок и тон Ушака. Но Ру читал ковер Саади и, прочитав, понял замысел мастера. Основной фон ковра был блекл и торжественно сучен—мастер выцветил краски. Он взял орнамент классической каймы, и ветви гранатовых цветов повязал серыми шипами терновника, он отделил листки олив — эмблемы мира и покоя — от их ветвей и бросил их пожелтевшей стаей, взметенной осенним ветром. Он разрубил орнамент в середине ковра—чудесный и сложный арабеск из плодов граната и лепестков лотоса — и из гранатового тела кровавые капли зерен вытрусил на восьмиугольник бурой земли,—капельки зерен капали кровью.

— Не валяйте дурака, Ру, — сказал Генри. — Надо решить, — мы берем ковер! Мне он дьявольски нравится, по правде говоря.

— Ковер отличный, — подтвердил Колли, — в нем есть нечто особенное, какая-то новизна, дерзкое новаторство. Ру, ваша теория права. В рисунке есть что-то от нас, да! От запада. От англосаксов.

Ру отвел глаза от ковра.

— Да, — ответил он. — Да. В нем чувствуется особенная культурность рисунка. Ковер исключительный.

Боб стэком щелкнул старика по колену.

— Так и быть, мы возьмем у тебя ковер, не дрожи, пожалуйста.

Он поднялся и позвал всех остальных к выходу.

— Поднимайтесь, Ру, — сказал он, — тут такая вонь, что я больше не могу.

— Я немножко задержусь, — ответил Ру, — поезжайте, я подойду.

Ру подвинулся к мастеру и взял его за руку.

— Ну? — сказал он, недовольно морщась, — что же ты это надумал, Саади?

Старик перебрал губами.

— А что прочел инглиз-эффендим? — спросил старик. — Эффендим — ученый человек, Саади — старый дурак, что может Саади придумать...

— Что я прочел? — переспросил Ру. — Нехорошие вещи прочел я, Саади. Зачем ты рассек старый узор Ушака? Зачем заменил ты старые краски, радость превратил в печаль, веселые линии согнул болью?.. А ведь мой заказ был точен, Саади, — сказал он. — Ты помнишь мой заказ?

— Как же, эффендим, — ответил старик, — помню, все помню. Ты сказал: возьми старинный узор Ушака и погляди хорошо, что в нем стало мертвым, и выкинь это мертвое. Ты сказал: все новое от англичан. Новое надо сделать так, как делают его англичане.

— Ну, и что же ты сделал? — спросил Ру.

— Я так и сделал, — продолжал, кланяясь и улыбаясь, старик. — Что умерло, эффендим? Хорошая жизнь. Что новое, эффендим? Все новое от англичан. Где был мир — там теперь распри, где люди ели лепешки на меду — там едят теперь корни диких растений. Я сделал новое так, как ты хотел, как делают его англичане. Шипом терновика я рассек гранат, что почитаем мы за плод плодородия и счастья, и бросил зерна его на весь узор, как разбросало ваше новое детей Анатолии.

— Саади, — перебил его Ру, — скажи спасибо, что язык ковра понимаю один я. Если мои друзья могли бы читать ковры так, как я, они...

— Эффендим, — сказал тогда Саади, — а разве король англичан разговаривает со всеми?

— Не говори чепуху, — сказал Ру.

— Подожди, эффендим, — Саади прикоснулся горбатым пальцем к рукаву еврея. — Скажи мне, эффендим, зачем это делает твой но-

вый падишах монеты со своим лицом? Зачем, эффендим, когда много еще есть у вас монет с лицом отца его? Много было узоров в Ушаке, эффендим, но Саади — один, и Саади выбирает. Твои дети будут вспоминать тебя по делам твоим, мои дети вспомнят меня по моим коврам.

* * *

Шафрановые вечера Ушака приходят с гор, они сухи и движутся быстро, легкой поступью диких коз, — и на обратном пути вечер обогнал авто. Свет фонарей рвал медленную нить дороги и рвал в глазах Исаака Ру нить коврового узора, развернутого им на станке горизонта. Автомобиль бежал черным тараканом, бойко шевеля огневыми усами. Англичане вполголоса пели песни о девочках из мюзик-холлей. Шофер разламывал и крошил пейзаж скоростью. Исаак Ру перебирал в памяти ковер Саади; священный лебедь Чи, изображаемый иероглифом облака в виде суставчатой змеиноподобной спирали, лебедь Чи, столетиями шедший из Китая, через руки китайцев, персов, армян, курдов, греков, к османам явился не лебедем Чи, а облаком, и не просто облаком, а облаком бессмертия, того, которое возвестили суфии¹⁾. Мертвые не умирают, не умирают облака. Их белок вечен, он живет амебой, дробясь, вырастая, оформляясь в тучи, сжимаясь в грозовые ядра. Прямая линия в Японии, стране туманов, символизирует небо, а волнистая линия обозначает землю; в Китае прямая — земля, а волнистая — небо; в Анатолийской Азии земля — волнистая линия, прямая линия — жизнь и небо. В Мексике, за океаном, стены храмов расписаны так же, как индийские храмы. Иероглиф лотоса и граната — цвет эв жизни — одинаков в Иране, в Египте и в Мексике, отделенной океанами от Ирана и Египта. Линии вещей многоречивы. Труд обладает речью. Труд говорит. Труд разных народов, на родственных ступенях их развития, говорит на одном языке. Отсюда вывод...

Но автомобиль вламывается в дорогу ударами и толчками, и мыслы хлюпают в голове, расплескиваясь, как бензин в запасном баке, они идут клочками, похожие на испуганные ветром облака, сливающиеся одно с другим в хаотическом хаосе.

«Отсюда вывод, не может ли мир в какую-то эпоху своего бытия заговорить на одном языке». Но труден путь его мысли, и Исаак Ру прислушивается к скороговорке песен о девочках из мюзик-холлей. Пригород. Запахи дымной бедности, согревающей себя кизяком. Пыль. Огни и шумы улиц.

— В отель Франко, — командует Боб. — Сегодня в полночь уходит «Liverpool». Зашить в брезент, сдать в багаж, предупредить капитана, я успею. Генри, ты приготовишь письмо президенту англо-восточной торговой палаты сэру Герберту Лайну. Ру, на вашу долю остается пресса. Выжмите все ваши философии и напишите поэму об этом ковре.

¹⁾ Суфизм — философская школа Ислама.

— Я напишу, — говорит Ру. Он устал. Тысячи лет его национального мудрствования, дерзновенно пронесенного через эпохи, вырываются из британской скорлупы. — Я напишу о Хаджи-Саади, — говорит он.

— О ковре, — поправляет его Боб.

— О мастере, — повторяет Ру.

— Ну, как вам удобнее, — соглашается Боб.

— Мне удобнее о мастере, — объясняет левантиец. — О короле Саади.

— Только, прошу вас, пишите на свежую голову, — говорит Боб. — Еще, чего доброго, напишете о короле Саади и старом нищем Георге Уэльском. Начните писать через неделю.

У под'езда отеля Ру прощается. Его друзья входят в фойе, их встречает метрдотель кирпичной раскраски, одетый в смокинг с золотыми позументами на рукавах.

Улицы Смирны шуршат мелким гравием. Шорохи гравия на границе улиц для смирниотов музыкальны. Из садов, окружающих дома, белые, как сахарные кубы, истекают запахи апельсинов и лавров. Бекджи — ночные сторожа — железной палкой стучат по граниту, — делают порядок ночи.

В домах поют. Есть улицы греческих, галльских и британских песен, есть улицы песен еврейских, русских, татарских, есть улицы левантийских песен на международном жаргоне, уродливых, и все-таки экзотических.

Ру жил в левантийском квартале, где говорили по-английски, но считали и молились на древнем иврит—языке Иова и Иеремии.

Его комната была просторна и светла и, как все на Востоке, убрана блестящими вещами, как кабинет хирурга или зубного врача.

Медная кровать, медные канделябры и рамы зеркал, медно-решчатые сундуки и даже письменный стол, украшенный медными узорными бляхами. Ру развернул толстую папку бумаг. Среди рукописей лежали акварельные копии ковров, сделанные художниками. Это был зародыш его книги о ковровом искусстве. Ру открыл свежую страницу и начал главу о короле Саади.

С о н

Мих. ГОЛОДНЫЙ

Замечательный, друзья мои, мне снился сон.
Наконец-то был судьбой я вознесен!
Стал и я по-европейски знаменит,
Сладкий шум похвал в ушах звенит.

Маяковский жмет мне руку, говоря:
«Рад, у нас учились вы не зря».
Крепко руку жму ему в ответ:
«Передайте Н. Асееву привет».

Ах, что слава может сделать, чорт возьми!
Слышу, очередь живая за дверьми:
«Как здоровье? Как желудок? Как живот?
Как Михал Семенович живет?..»

Саша Жаров подает мне сапоги,
Вера Инбер преподносит пироги.
Дамы шепчут: «Ах, красавец молодой!».
Критик важно им качает головой.

Изменилась жизнь моя совсем,
Каждый день, как лошадь, пью и ем.
Только утро — рецензенты под окном;
Спор критический до драки об одном:

«Он — Некрасов! Нет, он Лермонтов! Нет, Блок!
Нет, со Свифтом заключил он тайный блок».
Месяц жизни не прошел такой, увы,
От тоски хожу без головы.

Дни проходят — проклинаю жизнь свою:
Подают вино мне — я не пью,
Первым встречным исповедуюсь в грехах,
Никакого темперамента в стихах.

И решил я: будь, что будет, все равно —
Темной ночью я махну через окно.
Только ночь прошла, и я бежал
От тоски, от скуки, от похвал.

Шел я, шел широкой степью на Херсон,
По дороге оборвал я скучный сон,
Потому что захотел я жить опять,
Потому что не болван я, чтобы спать!



На кордоне

Н. НЕЗЛОБИН

I

На лесном кордоне у Бикей
Хорошо с киргизом-стариком.
Вечер дышит теплым суховеем
И парным кобыльим молоком.

Круглый кош из белоснежной шерсти
Снизу заткан шелком дорогим,
А вверху, в открытое отверстие,
Смотрит небо, синее, как дым.

У Бикей есть четыре сына:
Все большие, ловкие, как сам.
Впрыгнув на-конь, не сгибая спины,
Мчатся с гиком к диким табунам.

У Бикей есть ученый бёркут
На цепи, в узорном колпачке.
Любо глянуть, как на кличку сверху
Хищник камнем падает к руке.

Но всего дороже у Бикей
Та, что вот кумыс нам подает,
Опустив ресницы и робея, —
Золотая смуглая Маот.

И когда, как лошадь над кормушкой,
Засыпает над кордоном ночь, —
Мы уходим с девушкой опушкой
От кордона сказочного прочь.

Стонут в небе кроншнепы, как трубы,
Далеко в степи дрожит костер,
И молчит, сомкнув немые губы,
Точно вдруг задумавшийся бор.

— Ну, целуй, целуй же! Скоро лето,
Твой Маот уйдет из этих мест... —
...И качает ветер до рассвета
Золотые камышинки звезд.

II

По-над бором изумрудный
Звезд и сбен звон.
Мне с опушки очень трудно
Не зайти в кордон.

На кордоне у Бикея
В сумерках поет,
Смуглых сумерок смуглее,
Стройная Маот:

«Золоченую уздечку
Свесил месяц в кош,
На червонное колечко
Сердце не возьмешь»...

Зноем жгут степные губы,
Спит старик-киргиз.
Ах, как нежен голос грубый,
Как душист кумыс!

Душат ласками ладони,
Жмет змеей рука.
...У Бикея на кордоне
Ночь так коротка.

За живой и мертвой водой

А. ВОРОНСКИЙ

(Продолжение¹)

От Варюши я поспешил к Яну. Над городом, над скалами, над рекой вечерний медный звон плыл успокоительной прохладой. Ян выслушал мой торопливый рассказ, трубоподобно сморкаясь, свернул чудовищных размеров цыгарку, рассыпал по столу полукрупку, натужился так, что ременный яюас заскрипел на нем, он расстегнул его, бросил на кровать, побагровел, засверкал возмущенно глазами, не заговорил, а скорее закричал на меня. Позор! Неужели я и в самом деле поверил вздору, который наплела эта гимназистка, дочь исправника? Сплошная и нестерпимая чепуха! Миру все знают, она—преданный ссылке товарищ. Нельзя досужей сплетней, сочиненной, вероятно, к тому же в полицейском участке, порочить имя революционерки. Он, Ян, давно предупреждал, что не будет добра, если я стану засматриваться на разных смазливых мещанок, на дворянок, кататься на катках с жандармскими барышнями и с подобным отродьем! Я попытался заметить, что таких предупреждений я никогда от него не слышал, но он решительно перебил меня, рывком скинул пиджак, стал с вызывающим видом, широко расставил ноги, засунул глубоко руки в карманы, спросил, с какой целью, по-моему, эта самая, как ее, Ина, стала бы раскрывать ссыльным предателей? Мне нужно было повторить простые слова, сказанные Иной при прощании, что ей противно предательство Миры, нужно было дальше сознаться, что я убедился в правдивости Ины, потому что поверил ее мизинцу, складкам ее платья, когда она стояла против меня в Варюшиной спальне, — только это я и мог бы ответить Яну. Но я не смел, не сумел ему в этом сознаться. Это прозвучало бы смешно и неубедительно. И еще: оттого ли, что Ян заставил меня снова усомниться в рассказе Ины, оттого ли, что я испугался, когда Ян упомянул о моей ответственности за сообщенное, но я больше не защищал Ины. Больше того, я постарался непринужденно развалиться в дырявом кресле, неискренне и даже как бы подловато засмеялся, промолвил в ответ легкомысленно и внешне пренебрежительно:

¹) См. «Новый Мир», кн. 9 и 10 с. г.

— Откуда я знаю? Может быть, порыв благородного сердца. Скорее всего ты прав: одна болтовня и сплетня.

И тут же мне стало обидно и за себя, и за Ину: зачем, к чему я лгал? Неужели в каждом из нас сидит лгун и предатель? Я зажал ручку с пером меж пальцами и с хрустом сломал ее.

В комнату вошел Аким с берданкой за плечами, в высоких сапогах, — от них пахло болотом и дегтем. Он возвращался с охоты, в его сумке серели убитые утки. Несмотря на усталость, он казался веселым и возбужденным. Ян с осуждением и возмущением передал Акиму заявление Ины. Аким слушал Яна с непроницаемым видом, отогревая руки у печки. Я подтвердил слова Яна, прибавив, что Ина предлагает проверить свое сообщение. Аким насторожился, густые брови его сдвинулись и нависли коршунными крыльями, он вобрал голову в плечи, озабоченно, твердо и быстро сказал с хрипотцой:

— Это надо непременно сделать, и чем скорее, тем лучше.

Ян спросил Акима, что он думает по поводу «всех этих рассказней». Аким закрыл левый глаз ладонью, потер ею и глаз, и морщинистый лоб, задумался, спросил неожиданно:

— А что эта барышня говорила об Андрее? Знает он или не знает, что жена бывает у исправника, ходит к нему сам или нет?

Вопрос Акима застал меня врасплох. Я был столь поглощен свиданием с Иной и ее рассказом, что совсем забыл спросить ее об Андрее. Я пожал недоуменно плечами, пообещав расспросить Ину. Ян пробурчал что-то опять о чепухе, о сплетнях, о вертхивостках. Аким отмалчивался. Мы расстались, условившись, что проверкой сообщения Ины займутся Ян, Вадим и я.

Последующие дни я провел в изнурительной сумятице. Я избегал встречаться с Мирой, опасаясь нечаянно выдать ей свои подозрения, видел ее однажды всего, лишь мельком. Она остановила меня на мосту, нагруженная кулками и свертками, справилась, почему я не захожу к ней. Я сослался на головные боли. Я долго не мог оторвать взгляда от скорбного пятна на ее матовой щеке. Заявление Ины вновь показалось мне неправдоподобным, но, оставшись один, я опять поверил ей. В конце концов, все мои помыслы сосредоточились на двух женских образах. Куда бы я ни шел, что бы я ни делал, я волей-неволей держал их в памяти. Я путался в сомнениях и предположениях, не спал по ночам. Вид смятой простыни, сбитой подушки, скомканного одеяла усиливал тоску, с отвращением я бросал книги, журналы, кое-как одевался, по тюремной привычке ходил из угла в угол. Непотухающие зори передвигались по небу, седыми покровами ложились на траву сильные росы; едва скрытые в бледных сумерках белых ночей беззвучно, мирно и широко раскрывались леса, острова, тундра; величаво вставало солнце. Как тихо, спокойно, как прочно и уверенно в себе все кругом и как все это далеко от того, что происходит во мне и со мной! С поблекшим лицом, с отягченными бессонницей веками я подходил иногда к зеркалу, мной овладевало непреодолимое желание гримасничать. Я дергал себя за волосы, показывал себе язык, грозил кулаком. Я говорил вслух: — Не находите ли вы, синьор, свое поведение дурацким? Находите? Прелестно. — Будто в отместку этому другому «синьору», рассудительному и наблюдающему за гримасами, я совсем

идиотски надувал щеки и хлопал себя по ним. Потом наступали моменты бессилия и равнодушия ко всему. Может быть, я делал все это, чтобы отвлечь внимание от мрачного раздумья.

Я с нетерпением ждал, когда позовет меня Ина. Она позвала меня спустя дней десять после первого нашего свидания у Варюши. Варюша передала записку с лукавым видом, будучи уверена, что является посредницей в сердечных делах. В записке кратко сообщалось, что Мира находится «у папы». Я сказал Варюше, что ответа не будет. Кажется, она удивилась, но мне было не до нее: я спешил к Яну.

Дом исправника находился на берегу реки. Внизу, наискось от дома, берег был загорожен штабелями дров, амбарами, пакгаузами. Мы засели сторожить, выбрав удобный угол сарая. Почти у наших ног река несла полные, мутные весенние воды. Серый, чинный двухэтажный дом исправника с парадным крыльцом показался мне таинственным и тревожным. Ждать пришлось долго. Улица, уходившая одним своим концом в сторону кладбища, была пустынна. Прошла домой от Варюши Ина. Она отчетливо простучала каблуками по деревянной мостовой. Ян неизвестно зачем толкнул меня локтем. Я недовольно посмотрел на него. У меня дрожали губы, и я с трудом удерживал себя на месте. Должно быть, у меня пробудился древний инстинкт охотника. Странное дело, я поймал себя на мысли, очень настойчивой и для меня необычайной: мне хотелось, чтобы Мира оказалась предательницей и чтобы мы ее выследили. Я взглянул пристально на Яна: он глубоко затягивался махоркой, лицо его сделалось напряженным, горячим, нос покраснел. Вытянув шею, он не сводил с парадной двери дома исправника глаз, они стали у него колкими, в них вспыхивали и гасли острые огни.

«Он тоже охотится, — подумалось мне, — и хочет уже поймать Миру. Мы в засаде и сторожим, отслеживаем Миру, точно дичь. Если забыть, если много забыть в сложной окружающей нас жизни, взглянуть на то, что мы сейчас делаем и что мы чувствуем, простым, свежим, наивным взглядом, то как все это почудится диким, непонятным и недостойным человека! Есть области, есть такие стороны в нашей жизни, когда человек ползает на четвереньках, на корачках, щерится, показывает клыки, готов вонзить их в другого человека с радостью, с ожесточенным блаженством. Закон революции требует, чтобы я и Ян сидели вот теперь в засаде, но откуда это чувство охотника за дичью?».

Прошло минут двадцать. Стало томительно и скучно.

— Ян, — шепнул я приятелю, — закон революции есть высший закон, не правда ли?

— Закон революции есть высший закон, — ответил Ян шопотом, не отрывая взгляда от парадного крыльца.

— А над революцией стоит человек, революция во имя человека, человечества и человечности, не правда ли?

— Революция во имя человека, человечества и человечности, — ответил Ян.

— Бывают случаи, когда революция поднимает свою руку против человеческого и человечности. Революции жестоки и необузданны.

— Что есть человеческое? А это правда, — революции жестоки и необузданны. — Больше Ян не прибавил ни слова.

— А если для дела революции иногда приходится будить грубые, злые инстинкты?

— Это временно, — строго сказал он. — Это окупится с лихвой и оправдается. Об этом позаботятся история и более счастливое, чем наше, поколение.

— А мы менее счастливые?

-- Мы менее счастливые.

— Ян, — шепнул я снова приятелю после некоторого молчания, не глядя на него и тоже не сводя взгляда с крыльца, — я все же не хотел бы быть с теми, со счастливыми, на них тоже падет ответственность за то, что мы делаем, а они будут довольные. Я даже думаю, что чем дольше живет человечество и чем оно старше, тем более на нем ответственности за прошлое. А человечество забывчиво до тупости, до жестокости.

— Выдумки и резонерство. Я живу настоящим, довлеет дневи злоба его, — заметил тихо, но еще строже Ян... — А я тоже не хотел бы жить с будущим счастливым поколением, но по другой причине. Настоящие, теперешние люди труда мне ближе и родней... Что-то никого не видно, надоело сидеть.

Мы примолкли, опять напряглись от ожидания. Проскакал на вороном коне стражник, дробное цоканье копыт о камни было сухо и бездушно. На соборной колокольне ударили к вечерне, на окраине одинокий женский голос тянул однообразную песню без слов, на небе легли алые мечи. Мы хоронились от редких прохожих, и мне все чудилось, что все они глядят на наш угол. Наконец, парадная дверь в доме исправника открылась, на крыльце показалась Мира. Я знал и был уверен, что она покажется, однако горячая волна ударила мне в лицо, я жадно вглядывался в Миру, точно видел ее в первый раз. Она на мгновенье задержалась на крыльце, оглядела улицу напразно и налево сторожким взглядом, качающейся, ровной походкой пошла по направлению к своему дому. На ней было серое весеннее пальто, в изгибе ее спины и плеч таилось что-то неверное и опасное.

Ян густо крикнул и, точно опасаясь быть услышанным, прикрыл рот ладонью. Когда Мира скрылась за углом, он зашептал:

-- Обойдем ее слева, спросим, где она была.

Мы бегом миновали сарай и штабеля дров, поднялись навверх, надеясь на перекрестке встретить Миру, в чем не ошиблись. Заметив нас, Мира заулыбалась. Я как бы беспечно спросил ее:

— Гуляете?

Помахивая слегка ридикулем, она просто и с готовностью ответила:

— Нет, я ходила по делу.

— По очень важному? — спросил шутливо Ян и засмеялся. Смех у него казался почти естественным, но был излишне громким. Впрочем, Ян всегда громко смеялся.

Мира переложила ридикуль из одной руки в другую, оправила выбившуюся из-под шляпы прядь волос, глядя на нас открытым взглядом, промолвила:

— Я была у исправника. У меня запутанная история с паспортом. Третий месяц пишу прошения, заявления, объясняюсь с полицией.—Вздыхнув, прибавила: — Скучно все это. Проводите меня лучше домой.

Ян взглянул на меня вскользь убийственным взглядом. Я вдруг почувствовал, что мои руки неизвестно зачем привешены к телу, нелепо болтаются, я не знал куда их деть. Мира о чем-то спросила меня. Я невпопад ответил ей. Не глядя больше на меня, Ян пошел рядом с Мирой. Я, как осужденный, поплелся за ними. Расставаясь, Мира пригласила нас непременно быть у нее, не помню, на мужниных именинах или на дне рождения. Мы с поспешной готовностью дали обещание.

— Сплошные выдумки, — решительно и возмущенно заявил Ян, когда мы остались одни. — Обманщица твоя барышня. В лучшем случае, она ошибается: Мира ходит к исправнику по своему личному делу, а твоя приятельница, может быть, по молодости и неопытности, наплела на нее нивесть что. Дело очевидное.

Я подавленно пробормотал, что все это возможно, что я будто бы никогда серьезно и не верил Ине. Дальше я с раздражением придрался к словам Яна «барышня» и «приятельница», — заявив, что никаких приятельниц, прикосновенных к полиции, у меня нет и быть не может, что я не ожидал от него подобных выпадов против меня. Словом, я едва не поссорился с Яном, отказался к нему зайти, отправился домой, но по дороге свернул к Варюше, попросил ее устроить мне на завтра свидание с Иной.

На другой день, перед вечером, я встретился с ней. Деревянным голосом, стараясь не принимать ее взглядов, я рассказал ей, что я проследил Миру, очень ей, Ине, признателен, но Мира объяснила, что она ходит к исправнику из-за паспорта.

Ина слушала, опустив голову, не проронив ни слова, пока я говорил, потом встрепенулась, сосредоточенно глядя на меня, почти шопотом спросила: — Скажите откровенно, вы не доверяете мне?

Я ответил угрюмо, что доверяю, но что она, Ина, возможно, ошибается.

— Нет, я не ошибаюсь, — горячо и с упорством возразила Ина. — Никакого дела с паспортом у Миры нет. Она очень, очень нехорошая. Она ходит и рассказывает, что делается среди ссыльных. Вы проследили, сколько времени она была у нас?

— Около часа.

— Зачем ей сидеть у нас целый час? И кроме того, — о паспорте говорят в правлении, а не на дому.

— Возможно, — неопределенно согласился я с Иной. Ее горячность почему-то мне не понравилась и показалась неестественной. Ина нервно теребила косу. Я вспомнил об Андрее.

— Вам известно что-нибудь о муже Миры? — спросил я ее тоном допрашивающего.—Бывает он у вашего отца, знает он, что Мира ходит к вам?

Ина отчужденно и холодно ответила:

— У нас он не бывает. Возможно, он не знает, чем занимается Мира.

Ина глубоко вздохнула, положила руку на спинку кресла, сжав губы. Ее брови сошлись у переносицы и поднялись у висков.

— Все это очень странно.

Она ничего не ответила. Мы молчали, как люди, которым нечего сказать друг другу. В полуоткрытое окно было слышно, как у столба гудели телеграфные провода. Чайка острым крылом разрезала воздух. На реке от прилива качалось судно, черным острием мачты чертя невидимые узоры в упругой небесной синеве.

Ина ушла оскорбленная, но обещала сообщить, когда Мира снова будет у отца.

Несколько дней я избегал встреч с Яном. Я осуждал себя то за то, что верил Ине, то за то, что не верил ей, но еще хуже было, что дорогой мне образ, мой образ счастья осквернялся подозрениями и сомнениями. Они накладывали на него темные неизгладимые пятна. Я переживал дни бескровного убийства.

Спустя неделю я опять по вызову Ины, на этот раз уже с Вадимом, сторожил Миру в засаде на прежнем месте. Она пробыла у исправника минут сорок. Мы проследили ее еще через несколько дней. Я больше не сомневался и чувствовал облегчение. Ина при встречах держалась деловито и сухо. Но один случай показал мне ее в другом виде. После третьего свидания у Варюши, когда я оставил ее дом и уже шел по улице, я заметил, что забыл портсигар, решил возвратиться. Открыв дверь в первую большую комнату, служившую Варюше и столовой, и приемной, и мастерской, я увидел Ину, стоящую против большого мутного трюмо. Около нее хлопотала Варюша, ползая по полу и прикалывая булавки. Ина примеряла новое платье. Я остановился на пороге, но Варюша крикнула:

— Ничего, входите, они одеты.

Глядя на себя в зеркало и стараясь увидеть, как платье сидит сзади, Ина спросила новым, задорным и веселым голосом:

— Идет мне это платье?

Платье было летнее, белое. Ина стояла ко мне в полуоборот, показывая крепкие ноги и вытянув шею. Она походила на молодого оленя. Ее сиявшие глаза были счастливы. Я ответил, что платье ей очень идет.

— Вам нравится? Мне тоже нравится, только нужно, по-моему, Варюша, увеличить вырез на шее сзади.

— Что вы, Иночка, — возразила Варюша, оправляя складку, — ничего не нужно. Платье — как влитое.

Серый котенок, с белыми «чулками» на лапках, выгнув вверх спину, потянулся, выпрямился, стал тереться у ног Ины. Она нагнулась к нему. Я увидел сзади теплый изгиб шеи, блеск кожи, нежно обозначившиеся полудетские позвонки. Они были чисты и трогательны. Теперь она стояла против меня с котенком в руках, полураскрыв губы, белое платье оттеняло их девственную алость. Растопырив слегка пальцы свободной правой руки, она оттянула немного повыше колена платье, сделала шуточный реверанс. Это было уже совсем по-детски. Я вспомнил засады, как я пытал и допрашивал Ину, людей в голубых мундирах — и все это показалось мне неправдоподобным и жутким сном. Должно быть, взгляд мой в этот момент был странен, потому что Ина остановилась, опустила на пол одной рукой, не сгибаясь,

котенка, глаза ее отразили недоумение, удивление, почти испуг, она как бы спросила ими:—Что же это такое, я ничего не понимаю?—Я не выдержал ее взгляда, быстро прошел в другую комнату, взял портсигар, торопливо попрощался...

Вадим пригласил меня, Яна и Акима на совещание. Мы признали, что улики против Миры есть, но все же они недостаточны. Я настаивал на том, что Мира — провокатор. Ян предлагал быть осторожными в выводах, но уже не говорил, что утверждение Ины—вздор. Аким отмалчивался, своего мнения не высказывал.

— Улики есть, но нужно что-нибудь более веское, — решительно заявил Вадим. — Нужно достать вещественные доказательства: докладную записку, письмо, расписку в получении жалованья, словом, надо поймать с поличным.

— Это очень трудно, — заметил я Вадиму.

— Да, это трудно, но надо попытаться. Сходи-ка ты и потолкуй с этой девицей, уговори ее порыться в бумагах у папеньки. Разясни ей, что это необходимо. Пусть она добудет какую-нибудь стóящую бумажку.

Ян и Аким поддержали предложение Вадима. Я с предупредительной поспешностью согласился, но сделал это упавшим голосом.

— Кстати, — прибавил Вадим поучительно, — дай ей почитать что-нибудь анти-эсеровское по аграрному вопросу. Толку из этого, вероятно, никакого не будет, а все-таки... Что ж ей шляться без дела да хвостом вертеть, да шляпки примеривать... Чего доброго, еще с эсерами спутается, они падки до таких барышень, а она нам нужна. Для начала можно дать ей две-три брошюры попроще.

Я назвал Вадима остолопом. Он добродушно рассмеялся: нельзя же к шутке относиться серьезно.

Я собирался сходить к Варюше, вызвать Ину, но получил от нее записку раньше, чем собрался идти. В записке Ина просила «непременно, непременно» быть у Варюши. Я застал Ину у стола, она рассматривала моды в растрепанном женском журнале. В комнате сгущались сумерки, было холодно, Ина куталась в Варюшин шерстяной платок. Ее брови беспокойно шевелились, ее лицо показалось мне озабоченным. Она рассказала, что после последнего посещения Миры отец Ины отправился в правление, возвратился оттуда с бумагами, долго их перелистывал в своем кабинете. Когда ушел опять в правление, она, Ина, заглянула в раскрытые папки: среди бумаг оказалось мое «дело» и «дела» еще нескольких ссыльных. Она назвала Вадима, Акима, Николая. Очевидно, Мира что-то про нас наговорила.

Отправляя в ссылку, департамент полиции имел обыкновение в те годы на место ссылки пересылать и так называемое «дело» ссыльного. Эти «дела» и перелистывал исправник. Выслушав Ину, я старательно перебрал в памяти все, что когда-либо говорил Мире о себе и о своих товарищах. В моих беседах с ней я не нашел никакого материала, любопытного для жандармов и полиции. Все же сообщение Ины меня обеспокоило. Я не без основания предполагал, что охранники продолжали искать улики против меня и против моих товарищей. В ссылке нередко случалось, когда административных снова подвер-

гали арестам, отправляли «по месту преступления», возбуждали новое следствие и судили. Судебные процессы часто приводили людей на каторгу или даже к перекладине. Это беспокойство, однако, перебивалось во мне другим чувством, более тяжким: я должен был выполнить поручение, данное мне группой. Поблагодарив Ину за рассказ, я долго не решался заговорить с ней об этом поручении. Когда мне показалось, что она собирается уже уходить, я, кое-как пересилив себя, с видом отчаянным и как бы на все уже готовым, заявил ей, что у меня есть тоже к ней неотложное дело. Ина насторожилась и еще плотней закуталась в платок. Я начал свою речь издали. Я сказал ей, что Мира, действительно, может принести много зла ссыльным. Наша проверка, последнее сообщение ее, Ины, подтверждают самые худшие опасения. Ина должна понять, что дело идет о свободе, больше — о жизни самоотверженных, преданных великой идее товарищей. В таких случаях нельзя останавливаться на половине дороги, нельзя допускать никаких неясностей, нужно идти до конца, надо принимать самые окончательные меры. Все это было сказано внешне как-будто достаточно решительно и твердо. Витиеватые слова подействовали прежде всего на меня, я даже разгорячился, но пока я все это говорил, лицо Ины все больше и больше стало выражать недоумение и опасение, она, повидимому, не понимала, зачем я все это высказываю ей. Выслушав, она спросила:

— Что же вы еще хотите от меня?

Я встал со стула, прошелся по комнате, остановился у окна.

— Нужно сделать так, чтобы в деле Меры не оставалось никаких сомнений: единственный путь для этого — достать какой-нибудь документ, написанный или подписанный ею: письмо-донесение или докладную записку.

Ина распахнула платок, точно ей сразу сделалось жарко, взглянула на меня испуганным и растерянным взглядом.

— Я и мои товарищи просят вас достать это у вашего отца.

Ина ушла глубже в кресло, так что плечи ее заострились, и она будто хотела спрятаться, посмотреть на меня, точно меня видела в первый раз. По ее лицу пробежала судорога отвращения и страха.

— Послушайте... вы предлагаете мне обокрасть отца?!

— Да... как-нибудь, — пробормотал я, плохо сознавая, что говорю. Как бы размышляя вслух, она сказала прерывающимся голосом:

— У него есть два ящика в письменном столе с секретными бумагами. Ключи от этих ящиков он всегда носит с собой... Значит... я должна сначала выкрасть эти ключи... у него... когда он спит.

Я молчал.

Вдруг она нагнулась, закрыла лицо руками. Стараясь сдержать слезы и не быть услышанной Варюшей, она достала платок с сиреневой каймой, надушенный резедой, — скомкала его, закрыла им рот, впилась в него зубами. Отвернувшись в угол кресла, она давилась и содрогалась. Опять я увидел цепочку позвонков, чистых и напряженных. Потом она позабыла о платке, положив его на край стола, растирала и размазывала мокрое по лицу, губы у нее распустились, сделались безвольными и жалкими, волосы растрепались, прилипали к лицу. Мне нужно было сказать ей что-то простое и утешитель-

ное, что говорят детям, когда они плачут, но этих простых слов и движений у меня не было, я не знал, что делать. Я нелепо и бестолково брал в руки случайно подвернувшиеся под руку предметы, хотел побежать за стаканом воды, но почему-то не побежал, сидел около Ины, бессвязно, бессмысленно и бездушно просил ее успокоиться, уверял, что «это» пройдет, что «это» пустяки, не стоит себя расстраивать и т. д.

Справившись с собой, Ина поднялась, но имела хрупкий, будто надломленный вид, чуждо, враждебно и измученно сказала, еще всхлипывая:

— Вы все очень страшные... Не ждите от меня больше ничего... ради бога!..

Ни я, ни она долго не двигались с места и почти не шевелились. В кухне звякала звонко посудой Варюша. В небе зажглась одинокая тонкая звезда. В комнате пахло свежим ситцем. Он ворохами лежал на стульях и на столе. Мимо дома по мосткам, тяжело ступая, прошел в кожаной куртке с трубкой в зубах помор. Он равнодушно затягивался и сплевывал. Из сеней что-то задорное кричал Володя, Варюшин сын.

Ина спросила:

— Скажите, ведь я нужна вам только... вот... для этих дел?

Я хотел сказать, что это неправда, но кто знает, почему человек иногда из самые, быть может, главные, нужные и важные для него моменты говорит совсем не то, что должен и что он даже хотел бы сказать. Я ответил:

— Вы должны знать, я не для себя просил вас достать документы о Мире.

Пауза. У меня или у нее вырвался сейчас потаенный вздох?

— Их надо достать непременно.

Голосом, в котором не было жизни, она промолвила:

— Оставьте меня. Я больше не приду к вам.

Я вышел. Стук захлопнутой двери показался мне обреченным. Вдали, на острове св. Ильи, покрытом темными соснами, вспыхнул рыжий огонек и тут же погас. Лысые скалы были погружены в одинокое безмолвие... За островами, в краях неизведанных, живет белогрудая принцесса-лебедь. У нее черные ресницы и светлые очи. Они горят негасимым светом. Но путь к ней прегражден синими льдами.

О свидании с Иной я рассказал Вадиму, Акиму и Яну. Я ждал, что они осудят ее и меня, поэтому в заключение я сказал, что конец такой, какого и следовало ожидать, в подобных случаях нельзя слишком рассчитывать на провинциальных барышень. Аким задумчиво заметил:

— Дело, конечно, щекотливое, не очень приятно шарить по отцовским карманам.

Вадим заученно прибавил:

— Самая хорошая девушка не может дать больше того, что она имеет. Спасибо и на том, что мы от нее получили. Самим надо еще последить за Мирой.

... Дня через два мы были у Миры на вечере. Мира не пожалела ни закусок, ни вин. Многие из приглашенных быстро захмелели. С Кучуковым случилось очередное несчастье. Напившись, он разбил себе нос. Мира дала кол-

лодий, мы густо смазали им рану. Кровь остановилась, но обильно запеклась под коллодием, так что нос Кучукова казался сплошь кровавым. Кто-то в шутку подал Кучукову ручное зеркало. Увидев на месте носа кровавое пятно, Кучуков вообразил, что у него нет носа, швырнул зеркало на пол, схватил себя за волосы обеими руками, рвал их, вопил: — Товарищи, спасайте, я потерял свой нос, что делать! — Над ним смеялись, долго не могли успокоить. Чок-бор, по обыкновению, высоким и необычайно фальшивым тенором выводил: «Рано, очень рано осень к нам пришла, еще просит сердце ласки и тепла», расчувствовавшись, лез целоваться и лгал напропалую, рассказывал о невероятных своих приключениях и случаях с ним на охоте. Николай привязался к эсеру Нифонтову, заплетающимся языком разрешал половую проблему, повалился затем на кровать, притворяясь, будто он спит и будто он бредит по-французски. За последние недели он хвалился, что усиленно занимается французским языком и что достиг каких-то невероятных успехов. Молоденький Миша Гарцман, почти подросток, пил водку из стакана, приговаривая: — «Эх, куда наша не шла», — к месту, а больше не к месту повторял: «коли, ежели», держа ухарски во рту колоссальную трубку. От водки и от трубки он позеленел, глаза у него сделались мутными и стеклянными. Словом, все шло по-обычному, как бывало на гулянках в ссылке.

Вадим, я, Аким, Ян украдкой наблюдали за Мирой. Она держалась безукоризненно просто. Она не прислушивалась к разговорам и не вызывала никого на политические беседы. Она никого не расспрашивала и лишь отвечала на вопросы, стараясь говорить о самых обыкновенных житейских вещах. Она терпеливо сносила пьяную болтовню, мило следила за тем, чтобы гости были сыты, часто отлучалась в кухню, уносила и приносила блюда и тарелки с новой закуской, разливала чай, угощала. В ней было много внутреннего такта, ее открытая улыбка гостеприимной хозяйки пленяла и располагала. Она казалась лишь немного возбужденной, отчего пятно на щеке у нее потемнело и точно увеличилось, что только усиливало ее привлекательность.

Заметив свободный стул, я сел около Миры. Неясные сумерки белой ночи легли легким пеплом на ее лицо. Потемневшие волосы пышно окраивали его. Она пила вино из бокала осторожными, мерными глотками. Я спросил ее о здоровье. Она пожаловалась на припадки. Когда у нее начались припадки, не с детства ли? Нет, не с детства, она заболела несколько лет тому назад. В ее жизни случилось тогда одно очень тяжелое событие. С тех пор она страдает эпилепсией. В ссылке они усилились.

— Почему? — спросил я немного пытливо.

— Есть много причин. Мы живем с Андреем не венчанные. Его родители — купцы, со всеми купеческими предрассудками. Они против нашего брака. Мать Андрея называет меня кликушей. Из-за припадков я лишилась двух детей — у меня были преждевременные роды.

Бледными губами она отпила вина. Подошел Андрей. Он много пил, но выглядел трезвым, только впадины глаз у него стали глубже, больше и темней. Он спросил, что я думаю о повести Ропшина «Конь бледный». Я ответил, что повесть талантлива, но герой ее, Жорж, опустошенный чело-

век. Он мастер кровавого цеха. Ему все равно, он одинок. Такие люди легко переступают «последнюю черту». От них можно всего ожидать, даже предательства.

Я мельком и сбоку поглядел на Миру. Взгляд ее серых глаз остановился на Андрее. В них была любовь к нему, нежность и женская жадность. Они влажно блестели. Казалось, она не слышит нашего разговора и видит только Андрея. «У нее развитая грудь, крутые бедра,—подумалось мне,—она должна много и сильно любить».

— Кстати, — сказал я Андрею, — вы, вероятно, встречались с Дударевым, эсером? Он оказался провокатором: колония получила о нем письмо с предупреждением с места его работы и ареста. Жалко, что он успел уехать из ссылки.

— Таких людей, — ответил Андрей, расширив зрачки и точно хватая кого-то скрюченными пальцами, — таких людей я готов во всякий момент задушить без всякой пощады.

Медленная краска стала заливать лицо Миры. Она поползла пятнами от щек к вискам, к ушам, ко лбу. Лицо Миры сделалось как бы больше и шире. Видно было, как она напрягалась в отчаянных, в последних усилиях подавить эту увеличивающуюся красноту. Это было видно по выражению глаз, по напряжению мускулов, по тому, что какая-то жилка на шее посинела, набухла и затрепетала у нее. Она почувствовала, что не в силах овладеть собой и что это заметно, и оттого краска разлилась еще гуще и шире. Лицо ее совсем огрубело, пепельные волосы и серые глаза, оттененные рубиновым цветом, побелели. Она приложила ладони к щекам, поднялась, едва слышно промолвила:

— Кажется, на меня начинает действовать вино. Как растрепались мои волосы!

— Тебе нельзя много пить, — предостерег ее Андрей.

— Да, мне нельзя много пить. — Она неловко вышла из-за стола, задев бедром скатерть. Стакан с остатками вина упал и разбился, колко зазвенев. Мира нагнулась, подобрала осколки, вышла в кухню.

Я пережил ужас, омерзение и ненависть, но как непринужденно дружески я, Мира и Андрей, спустя полчаса, расставались! Я учился ненавидеть улыбаясь и презирать с учтивыми, с приятельскими рукопожатиями.

— Счастливых снов, Мира! Счастливых снов, Андрей.

— Спокойной ночи, мой дорогой Александр!

...Дорогой я рассказал приятелям о предательской краске на лице Миры, я настаивал откинуть сомнение и относиться к Мире, как к явному провокатору. Аким предложил подождать. Обсудили вопрос об Андрее, решив, что он не знает и не замешан в предательстве своей жены. На третий или на четвертый день после этого вечера мы, на этот раз без помощи Ины, снова проследили Миру.

Мое состояние было смутным. Я много и горько размышлял о характере человеческих отношений. «Вадим, Аким, я, Ян, — рассуждая я, — считали Миру преданным своим другом, Ина казалась нам ничтожной, пустой барышней. Мира оказалась предательницей, Ина — способной по-

мочь нам в трудном и рискованном деле. Мира ничего не знает, что мы сейчас думаем о ней, не подозревает, что она раскрыта. Андрей, муж Миры, тоже не знает, что его жена предаёт его же единомышленников и друзей, следовательно, и его. Я скрываю от Яны, от Вадима, от Акима, что я на самом деле думаю об Ине, подлаживаюсь к ним. Я очень плохо понимаю ее, она боится и не знает нас. Люди носят друг перед другом маски. Наши суждения и представления друг о друге неверны, искажены. Мы прячем старательно свою истинную натуру даже от близких людей. Нужны особые, редкие случаи, чтобы эта натура вскрылась и обнаружилась. Мы носим маски не только друг перед другом, но и перед собой. Поэтому мы не знаем и себя. Или вот еще: мы долго не доверяли Ине, пытаюсь объяснить себе, для чего, зачем она раскрыла нам Миру, рискуя собой и отцом. Мы допускали самые сложные, маловероятные предположения и не подумали о самом очевидном, о том, что ей девятнадцать лет и что она может еще плакать совсем по-детски, вытирая слезы кулаками и облизывая языком верхнюю губу, а мы уже этого не можем, не умеем делать. — Отнимется у умного и будет дано неразумному! — Мы потеряли, утратили естественность, непосредственность впечатлений, интуицию, наш большой разум, — мы живем разумом малым, часто глумим к живой жизни!..»

...Личность и общество... Я знал, что личность, лишенная крепких органических связей с коллективом, обречена на духовную и физическую смерть, — коллектив, подавляющий индивидуальное разнообразие и богатство, тоже вырождается. Я знал умом, что для революционера нашего поколения между личностью и обществом существуют лишь живые столкновения, постоянно возникающие и постоянно разрушаемые в творческом потоке жизни, в каждодневной борьбе и работе. В этих и подобных размышлениях было все ясно и просто, но едва я пытался приложить их к моей личной жизни последних дней, начиналась невообразимая путаница. Не умом, а чувством я ощущал столкновение между личностью и обществом, как древне-греческую трагедию, в которой одно является антиподом другого и гибнет, подавляемое своим вечным противником. Я не роптал, не возмущался, не сопротивлялся, я не сомневался, что нужно выполнять поручения группы, коллектива товарищей, ценою подавления, утраты моих желаний, инстинктов. Эти поручения, в сущности, добровольно принятые мною на себя, являлись для меня непреложными, но сохло, но увядало мое личное, драгоценное для меня, еще не жившее, но уже готовое, жаждущее себя проявить. Так мне казалось. Я не замечал, что именно тогда я рос и крепнул и лично и общественно, я понял это гораздо позже, но, правда же, приобретая и обогащаясь, я многое в те дни отдал и потерял. Недавно у поэта Бунина я прочитал и невольно запомнил удивительную строку: «Бледнеют розы, раскрываясь». Розовое, весеннее, пусть узко личное, цело тогда во мне полным цветом, как никогда позже... Я с удивлением также отметил себе, что столкновение между личным и общественным, каждый по-своему, переживают все участники происходящего: я, Ина, Мира, наша группа.

...Случилось событие, встревожившее всю ссылку. Полиция арестовала анкетные листки ссыльных. Опросом ссыльных и собиранием бланков за-

нимелась особая комиссия под наблюдением правления колонии. Арестовали анкетные листы при обстоятельствах, достаточно странных. К ссыльному, у которого хранились заполненные сведениями бланки, передаваемые ему с предосторожностями двумя товарищами, вечером явился помощник исправника с нарядом городских и стражников. Полицейский чиновник, войдя в комнату к ссыльному, заявил: — По нашим сведениям, у вас хранится анкета ссыльных, прошу передать мне бланки. — Не дожидаясь ответа, он подошел к письменному столу, выдвинул ящики, в одном из них обнаружил «преступное», дальнейшего обыска не производил. Осведомленность полиции нас поразила, тем более, что анкету собирались дня через два отправить в Москву с одним из ссыльных, уезжавшим по окончании срока. Хуже, однако, было другое. Большинство ссыльных отнеслись к анкете с необходимой осторожностью и дали о себе самые общие сведения, старательно избегая всего, что могло пойти на пользу жандармским управлениям, но многие оказались менее предусмотрительными и писали о себе непозволительно подробно. Один из анархистов написал даже, что участвовал в боевых дружинах, другой заявил о своей принадлежности к группе максималистов, некоторые давали сведения, где, в каких городах они работали, называли себя организаторами, пропагандистами. Анкета давала охранителям очень нужный им материал. Среди ссыльных распространились паника и уныние.

Руководящая группа большевиков собралась на секретное совещание у Вадима. Аким угрюмо и бесповоротно заявил:

— Провал анкеты — дело Миры. В день обыска у Глеба она виделась с исправником. Нужно во что бы то ни стало выкрасть и уничтожить анкету. Это следует сделать без малейшего промедления. Анкетные бланки со дня на день могут отправить в архангельское жандармское управление, тогда будет поздно что-нибудь предпринимать.

Он мучительно закашлялся, побагровел от натуги, зажал горстью рот. Откашлявшись, сказал, обращаясь ко мне:

— Предлагаю сходить тебе к своей знакомой, уговорить ее изъять анкету и передать нам.

Вадим, скрючившись на диване и пощипывая усы, прибавил:

— Надо спасать товарищей. Дело пахнет новыми арестами, судами и каторгой.

Я согласился с Вадимом и Акимом, но выразил опасение, что из переговоров с Иной ничего нужного не получится. Я напомнил им о своем последнем свидании с ней.

Аким посмотрел на меня длинным прицеливающимся взглядом, жестко, значительно и угрожающе заявил:

— Если она будет противиться, есть средства заставить ее сделать, что нам нужно... — Помедлив, он с расстановкой промолвил: — Дай ей тогда понять, что она у нас в руках вместе с своим отцом; департамент полиции не потерпит на службе тех, кто раскрывает его и жандармских агентов. Понял?

Наступила зловещая и тягостная тишина. Было слышно, как в кухне, за закрытой дверью, в углу, из медного рукомойника в таз медленно капала вода. Я ответил Акиму:

— Понял. Я сделаю. Я переговорю с Иной.

— Действуй, дружище, — сказал поощрительно Ян. — Он усвоил новую привычку почти к каждой фразе прибавлять: «действуй».

Мы вышли от Вадима вместе с Акимом. На перекрестке, где нам надо было расстаться, Аким взял меня повыше локтя, крепко сжал руку, внимательно заглянул в глаза.

— Ты... не того... Не огорчайся... я тебе про угрозу сказал на крайний случай. Постарайся обойтись миром. Может быть, и так обломается... без сурьезного. Ничего, брат, и не такие дела бывают.

Он снова закашлялся, глаза у него налились влагой от напряжения и подобрели. Я сумрачно и поспешно ответил, не принимая его дружеского жеста:

— Пустяки. Ты правду сказал: и не такие дела бывают.

С совещания в двенадцатом часу ночи я отправился к Варюше. Она спала; я разбудил ее, заставил одеться. Варюша потягивалась и зебала, от нее пахло согретым в постели женским телом. Сухая ее теплота напоминала мне детство, мать и настоящую бездомность. На мою просьбу завтра утром непременно сходить к Ине, попросить ее притти, Варюша улыбнулась.

— Ой, что-то я слишком часто стала заниматься примеркой платьев с Иночкой. Будет по-вашему.

На другой день я пришел к Варюше. Ины не было. Варюша соболезнующе заявила:

— Барышня больны, притти не могут.

— Она в кровати лежит? — спросил я.

— Нет, в кровати не лежит, а вот так мне сказали, что не могут притти... — Взглянув на меня серьезно, почти строго и осуждающе, прибавила: — Упускаете синицу из рук, — вот мое мнение... Ягодка созрела, а вы безо всякого понятия. Одна суета у вас и слова разные. Не сгодится это.

Я постарался отшутиться. Шутка не удалась. Надо было что-нибудь предпринять. Я направился к Яну. По дороге зашел за Вадимом. Он заявил, что Аким болен, лежит с высокой температурой. У Яна я рассказал приятелям о своей неудаче.

Ян задумался. Оживившись, сказал:

— Знаешь, ты напиши ей любовное письмо, — мол, так и так, не могу без вас жить, решайте мою судьбу, приходите немедленно, иначе я за себя не ручаюсь, всю жизнь грех на душе будет лежать и тому подобное. Действуй, ей-богу! Не выдержит, придет. А когда придет, — увидишь, как надо дальше вести себя. Поклянись ей и вообще... бабенция она невредная, то да се, а, между прочим, анкету-то требуй обязательно, раз'ясни как и что. Увидишь — растрогается и... обведет папашу.

Вадим, выслушав Яна, шумно одобрил его план. Он даже воодушевился, дернул себя за вихор, взял у меня папиросу, хотя и не был курящим, поперхнулся от первой затяжки, вытаращил голубые глаза.

— Ты понимаешь, — горячо начал он убеждать меня, — ты ей стишок какой -нибудь завлекательный напиши: «без вас не мыслю дня прожить, я подвиг силы беспримерной готов теперь для вас свершить», или что -нибудь другое поэтическое. И потом вид на себя напусти отчаянный, будто укусом отравился, не то ежа проглотил, печаль такую, всемирную: все прокливаю. И потом, понимаешь, чтобы страсть была, дрожь в голосе, волнение, безнадежное сердце, великодушие, страдание, исступленность и... благородство... благородство тут первое дело... манеры чтобы были... чистота чувств... деликатность. А прежде всего — письмо надо написать умеючи. Если хочешь, давай вместе сочиним письмо. Я, собственно, специалист по аграрному вопросу, но могу оказать тебе кое-какую помощь. Тут проще, тут не аграрный вопрос, где сам чорт ногу ломает. Ну, ладно, ладно... Не гляди на меня, точно тебя режут... Очень уж анкету охота добыть.

Я согласился с предложением Яна, отправился к себе на квартиру писать письмо. Я писал его несколько часов, хотя письмо получилось краткое. Я писал Ине, что люблю ее, что я изнурен, мне надо непременно повидаться с ней. Я знаю, ей нездоровится, но, если она в состоянии выйти и встретиться со мной, я очень прошу ее это сделать. Не помню почему, но я назначил ей свидание не у Варюши, а на берегу реки, около старой церкви. Варюша отнесла письмо, возвратилась с ответом: — Барышня сказали, что они сделают, как вы их просите, только очень взволновались, когда прочитали записку; отказались даже примерить блузку, ушли к себе в спальную.

Я возвращался домой, не замечая ни дороги, ни знакомых.

...Вечер... я у церкви. Кругом замшелые, покрытые плесенью скалы, голые, грубые каменные глыбы. Они суровы, эти памятники неизведанных времен, тяжести своей древностью, молчаливым угасшим величием давности. И все же они еще живы. Они громоздятся, теснятся, давят друг друга, они хмурятся, они изуродованы злобой, изборождены, иссечены складками гнева, будто нет им места, будто и они ведут друг с другом бессловную неистовую борьбу. Они лежат грузно, тяжело вросшие в землю. А кругом — просторы, дали, воды, небо, леса, необъятность. Сумрачна река. Точно боясь опоздать куда-то, крутятся и пенясь, сизые воды несутся к морю, дробясь, разбиваясь о пороги, перекатываясь через них. Дальше к горизонту — свинцовая полоса моря, испещренная островами. Лохматые, темные тучи как бы застыли. Кажется, что они закрывают собой страну непобедимых, грозных воителей, где никогда не восходит солнце, не раздается смех, страну непреложных законов, отчизну отважных викингов, не знающих пощады и милосердия. И, как неумолимый верный страж, охраняющий заповедные входы и выходы в этот край, высится отров св. Ильи. Он впереди всех других островов, там, где река почти впадает в море. Он прекрасен в своем диком, отверженном одиночестве. От него веет северными холодно-спокойными бессолнечными снами. Он напоминает «Остров мертвых» Бекли́на. В сумерках вершины его сосен, елей и пихт иссиня-черны, черны каменные подножия, сиротливо и неуютно лепится на

краю, словно опасаясь упасть с берега, серая часовня. Справа, в нескольких шагах от меня, деревянная церковь. Она насчитывает более двухсот лет. Она убога, устало осела, ее притворы-терема покосились, краски слиняли и облезли, стекла окон мутны, слепы. На ней печать нищей, скудной жизни, скорбных безрадостных молений, неизбежного темного конца в прахе и в неизвестности. Неколеблемый ветром воздух влажен. Пахнет деревянными гнилушками.

Я долго хожу меж камнями, рассеянно рву молодой вереск, прошлогоднюю сморщенную бруснику, то и дело смотрю в сторону, откуда должна показаться Ина. Скажу ли я ей, о чем писал в письме, или придется поступить по совету Акима: стать вымогателем? Я не знаю, я ничего не знаю сейчас об этом. Мучительны, но бесплодны и беспомощны мои усилия узнать, что будет. Я твержу себе о хладнокровии, сжимаю пальцами до боли виски, стараюсь подавить дрожь в теле. Мне зябко, я чувствую себя несчастным. Я вижу Ину: она спешит, оглядывается. Я готов спрятаться меж камнями, за церковью, но в следующий момент мной овладевает тупое спокойствие. Ина подходит, я смотрю ей в глаза, точно в омут.

— Садитесь, Ирина Петровна, — глухо говорю я, неестественно и упорно откашливаясь.

Она молча садится. Губы у нее дрожат. Серые, сумрачные, почти зловещие краски кругом, японский нежный разрез глаз, благородный профиль, будто из фарфора, милый уют в углах губ — поразительны в своем несоответствии. Непонятно, откуда здесь, где уже дышит морянкой Ледовитый океан, где желтая ржавь непроходимой, гнилой тундры, откуда, почему здесь этот образ девушки с лазурных островов под куполом вечно золотых небес? Но Ина ждет, мне нужно говорить. Еле ворочая языком, я говорю ей:

— Прошу простить меня. Я позволил себе вызвать вас в силу чрезвычайных обстоятельств. Я знал, что вы больны, но есть кое-что, что заставило меня беспокоить вас несмотря на ваше состояние.

Мои слова пусты, я сознаю это, но изменить тона не могу. Я также уже знаю, что о письме я не скажу ей ни теперь, ни позже, никогда не скажу. Кажется, я радуюсь и ужасаюсь этому.

Я рассказываю об аресте анкетных листов, о последствиях для ссыльных, какие могут быть от этого ареста. Ина как-будто внимательно слушает меня, она бледна, черты ее лица стали более законченными, взор ушел в себя. Нет, она уже не подросток, в подбородке есть замкнутость, я впервые замечаю ее скулы, — в них сосредоточенность, а руки мягко лежат на коленях. Выслушав меня, она спрашивает негромко, но слова ее звучат отчетливо:

— Чем же я могу помочь вам?

Я медлю ответом.

— Нужно достать и уничтожить анкетные бланки. Это можете сделать только вы. Это надо сделать во что бы то ни стало, безотлагательно.

За рекой гулко раздается одинокий выстрел. Ина вздрагивает.

Не я, а кто-то другой, чужой и посторонний, заставляет меня говорить, сообщает словам непреклонность. Я не верю, что Ина согласится и сможет помочь нам, считаю, что происходящее сейчас совершается не так, как нужно, а иначе, глупо и нелепо, но продолжаю уговаривать Ину. Я слишком щедр на слова. Одна мысль неотступно сверлит мою голову: придется ли прибегнуть к угрозам? Я отдаляю этот момент и говорю, говорю. Ина беспокойно оглядывается кругом, точно собирается встать и уйти, потом она отвечает неуверенно, мочки ушей ее розовеют и просвечивают. Ее голос кажется мне красным, как кумач, в нем сдержанная горячая нервность.

— Я не знаю... это очень трудно сделать... нет... ничего не выйдет.

Она задумывается. За рекой раздается второй выстрел. Ина опять вздрагивает.

— Где хранятся анкетные бланки?

— У нас дома. Их папа взял для просмотра.

Новая мысль ободряет меня.

— Анкету целиком взять трудно, вы правы,—говорю я Ине,—этого и не нужно делать. Но можно на время ее принести хотя бы к Варюше, я с товарищем быстро пересмотрю бланки, уничтожу наиболее откровенные, остальные вы положите на прежнее место. Никто не заметит.

Она колеблется, она упорно и сосредоточенно смотрит в землю. Ее глаза грустны и темны. Она сидит без единого движения, во всем ее теле чувствуется гибкость и упругость. Серый комар вьется около выбившейся из-под шляпы пряди волос, потом садится на полуобнаженную, гордую, как изгиб шеи лебедя, руку. Ина не замечает комара, я отгоняю его сухой веткой. Она поднимает глаза, медленно и глубоко переводит дыхание.

— Хорошо, я постараюсь сделать... я принесу анкету к Варюше.

Мне чудится, что кругом стало светлей. Я делаю невольное движение к ней, благодарю ее. Мои слова горячи и искренни. Ина как-будто не слышит их. Она безучастна. Потом мы тягостно молчим. У нее дрожит правое колено, то, которое ближе ко мне. Туго натянутое платье обнаруживает его женственную округлость. Сквозь разорванные глыбы туч видны бездонные, нетленные голубые просветы, далекие и плотные, точно в глубоких колодцах вода.

— Вы написали мне письмо... — Ина произносит эти слова едва слышно, так тихо, что я скорее догадываюсь о них по движению ее губ.

По небу с заунывным курлыканьем проносится гага. Я с преувеличенным вниманием слежу за ее полетом.

— Говорят, у гаг очень легкий пух?

Может быть, мне только послышалось, что Ина сказала о письме.

— Говорят, у них очень мягкий пух, — соглашается Ина, но так, что слова ее звучат оскорблением.

— Мне рассказывали, или я где-то читал, будто гаги устилают свои гнезда самым нежным пухом, выщипывая его из груди. Охотники грабят гнезда, гаги вновь устилают гнезда, но если им приходится делать это в третий раз, они покидают насиженные места и улетают в другие края.

Ина соглашается прежним тоном:

— Они улетают в другие края.

— Правда или нет, что за порогами в реке когда-то добывали мелкий жемчуг?

Ина ничего не отвечает.

— Я где-то читал, или слышал, что жемчужины — это болезнь раковины.

Ина ничего не отвечает.

Она поднимается, не глядя на меня, прощается. — Прощайте!

— Прощайте!

Она уходит, ни разу не оглянувшись. Я долго стою неподвижно. Солнце село за мрачной тучей. Высоко в небе тонкая, длинная пелена облаков окрасилась розовым перламутром. В просвете показался лунный серп. Его края похожи на рога и бороду Мефистофеля в профиль. Да, он глядит Мефистофелем.

Пустынны небеса, пустынно леса и воды.

...Все миновалось! и горе, и радости. Остались лишь поздние воспоминания.

...Ночью мне снится, будто я стою на палубе большого парохода. Пароход идет посреди моря. Море — не море. Кругом мутно-желтое, студенистое, вязкое месиво, местами оно покрыто плесенными, гнойными, вонючими пятнами. Людей на палубе не видно. Пароход сотрясается от чрезмерной работы машины, но почти не двигается вперед, зарываясь все глубже и глубже в гниль. Наконец, он останавливается, машина продолжает работать. Ко мне подходит седоусый капитан. — Пароход пойдет ко дну. — Дальше он говорит странные и страшные слова: — Пароход болен смертью. Я приготовил вам лодку, садитесь и уезжайте. — Он показывает мне рукой, я вижу лодку, на ней в саван одетую фигуру. — А кто поедет со мной? — С вами поедет ваш отец, — отвечает капитан. — Мой отец давно умер. — Это ничего не значит, я же сказал, что тут все кругом заболело смертью. Торопитесь. — Я всматриваюсь в белый саван, но не могу узнать, — отец это мой, или кто-нибудь другой. Я спускаюсь в каюту, поспешно складываю вещи. В дверь раздается стук. — Войдите, — говорю я. Никто не входит. Опять стучат. — Войдите! — Никого нет. Тогда я подхожу к двери, но тут догадываюсь, что за дверью кто-то ужасный сторожит меня. — Надо помолиться — и все пройдет. — Я молюсь словами ветхозаветной молитвы: — Бог отцов моих, бог Авраама, Исаака, Иакова... — Но ведь я не верю в бога, значит, заклинание не действует. — Я перестаю молиться. Что-то неумолимое, помимо моей воли, властно влечет меня к дверям, хотя я знаю, что их открывать нельзя. Я открываю двери. Никого нет. Темнота. Но затем на меня наваливается позеленевший, в тине, утопленник. Я хочу бежать, хочу кричать, но члены мои скованы, мои уста немы. Я падаю, труп валится на меня, я вижу острый костлявый подбородок, сукровицу около рта, слипшиеся сомкнутые веки, за ними не чувствуется глаз. Я умираю. Я уже не вижу трупа и даже забываю о нем, я весь в ощущении смерти. Будто холодная сталь, или кусок льда касается и пронизывает мое сердце, оно сжимается от холода, холод от сердце ползет к рукам, к ногам, к голове, они стынут и деревенеют. Я не-

двигаю, но все ясно сознаю. От рук и от ног холод новым потоком ползет по телу к сердцу. Захватывает его и снова, уже с большей силой, распространяется по моим членам. «Так вот она, моя смерть, — думается мне. — Странно, умирать несколько не больно, а только холодно. А говорили, что умирать мучительно. — Я вспоминаю о трупе, как он повалился на меня, и об ужасе, который я испытал недавно. — Значит мучителен самый страх смерти, а не сама смерть. В самом деле, мне приятен холод, он успокаивает. Но все же я сознаю, что я умираю, что умирать не надо, делаю над собой усилие, уговариваю себя: это же сон, — и просыпаюсь...

... Утром я был у Яна, застал у него Вадима и Акима. Я заявил, что Ина согласна нам помочь.

— Ключуло? — шутливо спросил Ян. Я ответил с усмешкой, что ключуло.

— Ей-ей, надо твоей прелестнице дать прочесть что-нибудь по аграрному вопросу, может быть, толк еще будет, — промолвил Вадим. Оправившийся от болезни Аким глядел повеселевшими глазами и потирал руки.

Под вечер Варюша принесла записку от Ины с предложением немедленно свидеться. Варюша с хитрой улыбкой заметила, что начинаются, повидимому, «горячие дела», но удивилась, когда я сказал ей, что мне нужно зайти за Яном.

Мы пришли к Варюше с Яном. Ина держала в руках пухлый сверток, она развернула его с заговорщицким видом, шопотом сказала:

— Вот анкета. Папа ушел в управление.

Мы стали перебирать листки, откладывая некоторые из них в сторону. В комнате слышалось шуршание бумаги, изредка мы обменивались вполголоса с Яном замечаниями по поводу того или иного листка. Иногда я отрывался от анкеты и украдкой смотрел на Ину. Она сидела у стола против окна, облокотившись на стол и склонив на ладони голову. Она знала, что делает спасительное для нас и для многих других ссыльных дело. Дело это было опасное и для нее непривычное и неожиданное, и ее лицо выражало сейчас все это, и, вместе с волнением, с опасением и с заботой, чтобы все удалось и ей и нам, это состояние делало ее доброй, участливой и обаятельной. Это выражалось в смягченной влажности ее расширенных глаз и в мягкой складке губ, и в расположенности ее движений, и в том, как она сочувственно смотрела на нашу работу. Она не следила за собой, забылась, и от этого ее чувства отражались на ее лице естественно и свободно. Мы чутьем понимали это ее настроение и, наскоро просматривая листки, тоже поддавались ему и разделяли его. Нас соединила на-время человечность, общность дела, сознание, что мы делаем правдивое, неотложно полезное дело. Мы отобрали семь — восемь листков, возвратив остальные тридцать пять — сорок Ине. Пряча в газету анкеты, Ина спросила:

— А вы свои листки взяли?

Ян ответил:

— В этом нет никакой нужды. В наших листках для жандармов не содержится ничего интересного. Если к тому же взять слишком много бланков, могут заметить.

Никто ничего не заметит. Описи анкетным бланкам еще нет.

Ина положила сверток на стол, снова развернула газетный лист, стала перебирать бланки, нашла среди них мой и Яна и, будто шутливо, но на самом деле с просьбой в голосе, в лице и в движениях, сказала:

— В листках, может быть, есть что-нибудь нехорошее для вас. Возьмите.

Она стояла против окна, протягивая нам руку с листками. Пламенеющий луч вечернего солнца, как отражение ночного пожара, упал на ее голову, рассыпался мельчайшими и разноцветными искринками в волосах, в капризных изгибах бровей, смешался с блеском глаз, зажег их. И волосы, и брови, и особенно глаза стали жаркими. И мне неожиданно подумалось: «Когда любят, все прощают любимому, или любимой; можно быть смешным, растерянным, жалким, глупым и нелепым; непобедимо-властный инстинкт может сделать человека жадным, грубым, жестоким, — такой жаркий взгляд все оправдает, все простит, все позволит. И пережить это с тем, кого любишь, — счастье». Я ощутил это впервые и весь затрепетал. Не помню, как я принял листок из ее рук, что говорили мы Ине...

Солнечный луч потух на ее лице, оно потемнело. Анкетные бланки лежали свернутыми на столе. Ян вышел в другую комнату выпить. Ина из окна смотрела на улицу, очевидно, собираясь уходить и как-будто желая проверить, нет ли там кого-нибудь, кому не нужно ее видеть сейчас, со свертком выходящей из Варюшиного дома. Стоя сзади нее, я прошептал:

— Я написал вам письмо...

Расслышала она, что я сказал ей, или сделала вид, что не слышит? Она не обернулась, ничего не ответила. Я не решился говорить больше. В комнату вошел Ян, вытирая рукой мокрые губы. Ина объявила, что ей пора идти. Ян первым подошел к ней, шмыгнул носом, расставил локти, шаркнул как-то криво и косолапо ногой; протянул руку с мясистой красной ладонью в чайное блюдце, громко промолвил:

— От имени всех наших товарищей позвольте поблагодарить вас, Ирина Петровна. — Слова эти он произнес без запинки и торжественно, но тут же сбился, несвязно, но с подъемом, забубнил: — Мы понимаем, вы нам оказали большую услугу. Это вам не кот заплакал. Одним словом... — Дальше он еще больше запутался, поймал руку Ины, неумеренно долго и с силой тряс ее.

Ина заторопилась, натянула белые перчатки, мы проводили ее до себя.

«Нужно будет непременно свидеться с ней и поговорить о письме», — подумал я, зная, однако, что ничего я о письме ей больше не скажу.

Когда мы возвращались домой, Ян с горечью и с досадой заметил:

— Зря я ей сказал: это вам не кот заплакал. И как это сорвалось у меня!.. Не нашел, дуралей, других слов. Как ты думаешь, она не обиделась?.. Да... тут, брат, нужно иметь вполне тонкое обращение... Кот заплакал... угораздило меня... А все-таки листочков-то достаточно порвали, жанвармы остались с носом. Действуй!..

Он радостно толкнул меня локтем.

Оставшись один, я размышлял, почему я не мог ничего сказать Ине о письме. Какая сила удерживала меня? Помех было много: и то, что она — дочь исправника, а я ссыльный, и то, что я оглядывался на друзей и приятелей, и то, что я должен был, в случае необходимости, действовать на нее угрозами, чтобы заставить ее помочь нам в деле с анкетами. Все это казалось мне ясным, но было еще что-то такое, непонятное, смутное, что стало меж нами. Но что же? Я не знал. Образ Ины был для меня дорог и мил. Может быть, мне мешала неизвестная подсознательная сила, темная, безликая, которую я не в состоянии был раскрыть и обнаружить в себе? Я терялся в догадках. Жаркий взгляд Ининых глаз не выходил из памяти.

Дома мной овладели сентиментальные настроения. Я хотел находиться в комнате где-то не здесь, а совсем в другом месте: в комнате — свет вечерний, старые клавишины, девочка-подросток, лет двенадцати, с наивными и чистыми щеками и точно вымытыми глазами, поет незатейливые, детские песни неверным, ломающимся, негромким голосом. Хорошо также сидеть в театре, смотреть и слушать пьесу, лучше даже мелодраму, пусть со слезами, с обманом, с извергами и с торжествующей добродетелью, чтобы можно было смущенно и глупо улыбаться и думать: «Какая чепуха!» и все же с затаенным дыханием следить за развитием интриги, желать гибели злым героям и счастья добрым, а в антрактах избегать встреч со знакомыми, или говорить им, скрывая свои чувства: — Пошловато, но смотрится с интересом, очень недурно играют, не правда ли? — Я пожалел, что давно уже не бывал в опере, не слышал музыки... Да... я заброшен в глухой угол, живу неприветливо, сухо, мне недостает тепла, участия. Будущее тоже не сулит пока никаких в этом перемен. Наши судьбы беспокойны, неведомы и суровы. Неожиданно я понял, что непреодолимым препятствием между мной и Иной встает вся моя жизнь, — отсутствие «человеческого, слишком человеческого», обыденных, обыкновенных радостей, незатейливых, простых, тех самых, которые я вот сейчас испытал. Этот вывод прозвучал во мне, как приговор.

Мои раздумья рассеяли приятели. Пришли Ян, Аким, Вадим, Дина, Чок-бор, Николай, Маруся. Невзначай открылась вечеринка, очень веселая и непринужденная: удача с анкетами всех обрадовала. Дело дошло до того, что Аким пел: «Як была я маленька, колыхала меня нянька», — пустился в пляс, переплясал и Николая и Марусю; мы пили и за революцию, и друг за друга, и за Ину, и за наше подполье. Николай прикинулся изнеженным, упрашивал Марусю кормить его с руки, как грудного ребенка. Я забыл о своих горестях и печали и не прочь был считать себя героем вечера...

...Мы продолжали следить за Мирой больше уже по привычке. Поведение Ины в случае с анкетой укрепило наше доверие к ней. Наблюдая за Мирой, мы установили, что она ходит к исправнику приблизительно еженедельно, но меняет дни. Удалось также выяснить, что она получает деньги из Архангельска, каждый раз отправитель менял фамилию. С внешней стороны поведение Миры попрежнему оставалось безукоризненным. Она никогда ни у кого ничего не выпытывала, не входила ни в колонию ссыльных, ни в партийные группы и кружки, охотно помогала неимущим из нас и деньгами и

бельем. Попрежнему ее дом был открыт для многочисленных друзей. Мы решили, что у нее есть помощники, но никто из ее близких, в том числе и Андрей, не вызывал серьезных подозрений. Значительных арестов и обысков, если не считать анкеты, у нас не было, но разные мелкие и многочисленные признаки убеждали, что полиция и жандармы превосходно осведомлены о жизни ссылки. Мы предупредили членов своей группы, правление колонии и некоторых наиболее заметных эсеров, чтобы они были настороже с Мирой.

Наступало лето. По вечерам я иногда, гуляя, бывал на кладбище. Оно находилось в полуверсте от города. Его украшали столетние могучие сосны. Их ветви сплетались с ветвями елей и пихт, образуя прохладные и сумрачные зеленые своды над могилами. Внизу буйствовали можжевельник, папоротник, малина; стлался густой мох; листочки брусники блестели лаком, перемежаясь с голубикой, с черникой, с костяникой. Ветхая, полуразрушенная часовня терялась в этом зеленом неистовстве, с расточительной роскошью питаемом человеческим прахом. Убогие кресты, грубые памятники лишь оттеняли это сумрачное изобилие зелени. За кладбищем в ряд, словно схимники, уходили в леса высокие скалы и утесы, горбатые и чинные. С них открывались лесные просторы, городок, река. Покой, скорбь, немая каменная молитва, тление, величие необъятности и небо, как бесконечность.

Поднимаясь от кладбища к скалам, я заметил как-то на одной из них и Миру. Она стояла на вершине, прикрывая глаза ладонью от солнца, смотрела на город. Прохладный ветер теребил и раздувал подол ее светло-голубого платья. Я поднялся к ней по камням.

— Что вы здесь делаете, и почему одна?

— Как видите, ничего не делаю. Смотрю, думаю. О чем? О том, что всем все равно, как этому лесу, солнцу, траве, камням. Какое немое равнодушие кругом! И все скучает, живет, существует без цели, без смысла. Приходит и уходит неизвестно зачем, а скука долговечна, она одна прочно владеет миром.

Она говорила, смотря неподвижно куда-то в одну точку.

Я сказал, что есть подвижничество, страсти, поражения, победы, пошлость, пошлость.

— Все это люди выдумали. В природе их нет. Ей все равно.

— Вы людей не любите, Мира...

Она села на камень, покрытый высохшим мохом, оправила платье, провела пальцами по пятну на щеке.

— Я не люблю их, их суета смешна, их надежды глупы, никогда не оправдываются. Человек приукрашает и окружающее и прежде всего себя, потому что кругом бессмыслица, а сам человек настоящим бывает... простите за грубость... только в уборной, да и там он обманывает себя... — Помолчав, она продолжала: — Настоящий человек... Кажется, я у Глеба Успенского читала про какого-то Тяпушкина, очень такой совестливый интеллигент был, о человеческом горе скорбел, о неправде, о всеобщем счастье размышлял около люльки, когда ребенка своего качал... ребенок, должно быть, кричал

или не давал себя укачать, надоел Тяпушкину, и он подумал, что хорошо бы этому его детенышу помереть поскорей. Конечно, тут же его совесть стала мучить: об общем счастье мечтает, та своего ребенка засыпать землей хочется. Вот это и есть настоящий человек... Еще я запомнила признание одного писателя: у него в молодости мать умерла, горячо любимая, а он, узнавши о смерти, первым делом подумал: «Теперь курить можно открыто»... За что мне любить таких, а такие все... Я заметила: чем возвышенной думает человек, тем более он склонен к свинству.

Она искоса неприязненно поглядела на меня.

— Я люблю только своих детей.

— Каких? — спросил я с удивлением.

— Тех, которых я должна была родить и не родила, которых помешали мне родить эти... Тяпушкины и писатели, мечтающие о всечеловеческой справедливости. Я люблю своих нерожденных детей, я за них иногда не прочь Тяпушкиным в горло впитаться. — Она резко, горько и жестко усмехнулась. — Что ж, это человечнее. По крайней мере, я не хочу на тот свет отправлять своих детей.

— Но тогда для чего надо участвовать в революционном движении?

— А вы знаете, почему и для чего вы это делаете? Этого никто не знает. Нами играют слепые силы.

— Это — фатализм. Если мы в фатальной власти слепых сил, тогда зачем рожать детей?

— Об этом нас никто не спрашивает. Стихия требует, мы хотим, а Тяпушкины домогаются правды и счастья и... готовы душить своих же детей... Они противны и жалки!..

Мы встретились глазами. В раскосом, слепом, остановившемся взгляде, в длинных и неправильно растущих ресницах, в заострившихся чертах лица на мгновение мелькнуло что-то пронзительно-жуткое, дикое и русалочье. Я поспешно поднялся, пробормотал:

— Вот вы какая... Уже поздно, пора домой.

Мира вдруг вся как-будто переменялась. Лицо ее опять сделалось мягким и расположенным. Она приветливо и открыто улыбнулась. Вставая, сказала:

— Кажется, я надоела вам своими рассуждениями. Не придавайте им значения, это не взгляды, не убеждения, а нервы и случайное настроение. Мне иногда очень горько бывает, и не всегда мы можем рассчитывать на свою справедливость.

Мы стали спускаться со скалы. Я шел сзади нее. Ровные, покатые, широкие ее плечи казались мне скользкими, таящими в себе обман. Я приковался взглядом к затылку Миры. Сквозь завитки волос просвечивала слегка загоревшая кожа, линия шеи была сладострастна своей податливостью. Томление влечения и ненависть с одинаковой силой овладели мной. Я машинально поднял с земли камень и тут же представил себе, что бросаю его, камень влипает в затылок Миры, волосы, шея окрашиваются густой, черной кровью. Я сделал сильный глоток, сжал крепче камень. Мира быстро и резко обернулась. Я не успел отвести взгляда. В ее глазах остро мелькнул страх.

Я бросил камень в ближайшую скалу, он звонко хрястнул, разлетелся осколками. Мира уже шла впереди, не оглядываясь, но уши у нее покраснели. Мы дошли до города почти молча.

— Доброй ночи, Мира.

— Доброй ночи, Александр.

С тех пор я избегал встречаться с ней и разучился смотреть ей в глаза.

С одним из пароходов в ссылку прибыл Борисов, фельдшер, социал-демократ, большевик. Встретившись с Мирой, он заявил нам, что знает ее и рассказал об одном происшествии, свидетелем которого он был. Он служил в земской лечебнице. Однажды зимой в лечебницу была доставлена больная в бессознательном состоянии. Ее привезли под сильным конвоем жандармов и городских, поместили в секретной палате для арестантов. Борисов не мог вспомнить, чем была больна арестованная, однако, он не забыл того, что ей пришлось делать операцию; он присутствовал при операции в качестве дежурного фельдшера. В операционную явились помощник прокурора, жандармский ротмистр. Больную усыпили. У нее стал заваливаться язык, это грозило ей удушьем. Хирург, делавший операцию, сказал ассистенту, что нужно на язык наложить щипцы. Помощник прокурора и ротмистр поняли это как-то по-своему, очень обеспокоились, заявили, что никаких щипцов на язык больной они накладывать не позволят, что язык для них важнее всего. Их успокоили с некоторым трудом. Операция прошла благополучно. Больную сначала положили в отдельную, строго обособленную палату, позже перевели в городскую тюрьму. Больная была Мира. Борисов узнал ее, между прочим, по пятну на щеке. Путем переписки и дальнейшего расследования нам удалось также установить, что Мира до сожительства с Андреем была замужем за учителем. Они жили в Тамбовской губернии. Муж ее входил в партию социалистов-революционеров, сошелся затем с максималистами, участвовал в террористических актах и экспроприациях, скрывался, был арестован в Воронеже вместе с Мирой. Его судили и повесили. Миру несколько месяцев держали в тюрьме, потом освободили. К этому времени, очевидно, и относится рассказ Борисова. Почему Мира была доставлена в больницу в бессознательном состоянии, избили ли ее при аресте, пытали ли ее или она сама заболела от потрясений, — осталось неизвестным. Спустя год, она сошлась с Андреем, помогала социалистам-революционерам, была вновь арестована, Андрея тоже арестовали, Мире дали два года ссылки, Андрею — три. Когда она стала служить в жандармском управлении, мы не знали. Одни из нас предполагали, что это случилось после первого ареста ее, другие, и я в том числе, думали, что это было уже после того, как она вышла замуж за Андрея: она очень любила Андрея и, кто знает, может быть, спасая его и облегчая его участь, она решилась делать это кровавой и страшной ценою предательства.

...Мы решили умертвить Миру. С особой настойчивостью на этом настаивал Аким. Казнить ее согласился дружинник Терехов. Комната, которую занимал Терехов, являлась удобным наблюдательным пунктом за Мирой и за ее квартирой. Терехов изо дня в день сидел у окна, карауля Миру. Обычно

на подоконнике пред ним лежала растрепанная, засаленная, пухлая «Тысяча и одна ночь». Он то и дело отрывался от сказок Шехерезады, поглядывая из-за занавеси выпуклыми, карими глазами на улицу и на крыльцо дома, где жила Мира. Он следил за Мирой упорно, весело и с озорным видом. Мира редко ходила одна и еще реже бывала за городом в местах, где можно было бы без особого риска убить ее. Все же случай такой выпал. Сидя однажды с Яном у Акима часа в четыре пополудни, мы увидели, как к кладбищу прошла Мира с корзиной в руках, повидимому, за грибами. Она шла не спеша, задумавшись, почти не глядя по сторонам, повязанная летним желтым платком, концы которого рожками торчали у нее надо лбом. Тонкая батистовая кофточка плотно облегалась ее плечи и талию. Спустя несколько минут показался Терехов. Несмотря на жаркий день, Терехов надел длиннополое осеннее пальто, наглухо застегнув его. Тонкий и непомерно высокий, он крупно шагал, засунув глубоко руки в карманы, вытянув шею, надвинув низко на лоб кепи. Из-под кепи задорно торчали жесткие светло-рыжие кудри. Мы догадались, что он прячет ружье. Он не пошел следом за Мирой, а спустился к реке, скрылся за амбарами, за штабелями дров. Мы переглянулись. Ян оглушительно засопел, хрустнул пальцами, вглядываясь в чернеющее кладбище, промолвил глухо: — Пошел охотиться на человечину. — Аким долго смотрел вслед скрывшемуся Терехову упорным и тяжким взглядом исподлобья и, точно вынося окончательный приговор, вполголоса пробурчал: — Ухлопает! — Он стал ходить по комнате, нажимая на каблуки так, что половицы скрипели и гнулись от его шагов. Я отошел от окна, как от прокаженного места, взял газету, но тут же бросил ее, снова подошел к окну. Небо было чистое, напоенное солнцем, — оно показалось мне зловещим. От солнца река мелко и ярко блестела. Блеск был воспаленный и резкий. Я представил себе, что должно было скоро случиться, отвернулся от окна, взглянул на Яна и на Акима, заметил в их глазах то, что, очевидно, было и в моих — видение смерти. Мной овладела нервная зевота. Аким однотонно сказал: — Надо слушать и ждать выстрелов. — Мы томительно и молча ждали. Ян лег на койку, заложив руки за голову, лежал, почти не шевелясь. Аким продолжал ходить по комнате. Я смотрел в окно. Два выстрела, отдаленные и приглушенные, раздались почти одновременно где-то справа от кладбища. Ян быстро поднялся с кровати. Аким остановился, я повернулся к ним. Опять мы взглянули друг на друга и опять в наших глазах встало еще сильнее и ярче видение смерти. Не словами, а каждым мускулом своим мы спросили друг друга: — Убил или не убил? — Отвечая на этот немой вопрос, Аким прежним тоном бросил: — Ухлопал! — Ухлопал, — сказал и Ян. — Ухлопал, — сказал и я, не отдавая отчета в том, что это означало. — Не будем расходиться, — предложил Аким. — Да, надо подождать, — согласились мы с ним. Затем Аким напомнил, что завтра собирается правление колонии; я спросил, почему не видно Вадима. Ян ответил, что Вадим получил новую пачку книг, запирается, вид имеет совсем ошалелый и таинственный, бегаёт по комнате, жестикулируя и угрожая совсем уничтожить эсеров. Мы обменялись также газетными новостями. Прошло минут двадцать.

— Мира! — вскрикнул Ян, вглядываясь в окно. Аким и я бросились к Яну. От кладбища к городу, уже по мостовой, шла Мира. Она шла очень поспешно, почти бежала. Рассмотреть ее лицо мне не удалось, она находилась далеко от нас. Мира дошла до угла, свернула в боковую улицу, скрылась.

— Что за наваждение! — сказал Аким раздраженно. — Неужто промахнулся? Или он не стрелял в нее?

— Нет, наверняка стрелял, — возразил Ян. — Ты видел, как она спешила, и с ней не было корзины, значит, она бросила ее впопыхах.

— Корзина была при ней, — заявил Аким.

— Не было корзины, — упорствовал Ян. — Ты видел у нее корзину? — спросил он у меня.

Я ответил, что не обратил внимания, была или не была у Миры корзина на обратной дороге. Аким продолжал уверять, что он видел у Миры корзину. Ян стоял на своем.

Потом мы ждали Терехова. Он явился часа через два. Ружья с ним не было. Он размашисто кинул кепи на стол, повалился на диван, глубоко переводя дыхание, стал рассказывать:

— Промахнулся: поспешил, и рука дрогнула. Дело было такое: обогнул я с севера кладбище, засел в кустах. Думаю, она пошла грибы собирать, непременно должна выйти сюда, потому тут поляна есть с маслятами. Место выбрал подходящее: кусты густые, трава, меня не видно, а мне все хорошо видать. Ружье приладил заранее, для верности. Лежу я, жду, от комаров отбиваюсь, — лезут и лезут непутевые. Расчет мой вышел правильный. Она походила, походила по погосту, вышла, остановилась у канавы, которая отделяет погост от поляны. Шагов шестьдесят от меня была. Хотел я подпустить ее поближе к себе, а она постояла и пошла вдоль канавы, от меня, к скалам. Идет и поет что-то. Тут я и стрельнул в нее волчьей дробью. Погорячился немного, а еще комар на руку сел, черти б его взяли, тонконогого. Когда я выстрелил, — раз, другой, — она взглянула в мою сторону, догадалась, что по ней бьют, сразу бросилась в канаву, закричала, очень отчаянно закричала, у меня даже мурашки по телу пошли. Я подумал, что ранил ее и ее пожалел. Она в канаве-то укрылась и — ползком, ползком от меня, слышу, шуршит, а не видать мне ее. Канавы-то и спасла ее. Я тоже чего-то напугался, должно, крика ее, пробрался по кустам к лесу, там и скрылся, ружье пока спрятал...

— Она не видала тебя? — спросил Аким.

— Нет, не видала, где ж ей видеть, я лежал стрелял, гущина непроходимая.

— Может быть, у тебя ружье плохое? — сказал Ян.

Терехов привстал с дивана, с негодованием посмотрел на Яна, обидчиво, и с сердцем ответил:

— У меня-то плохое ружье? Сказал тоже. Нет, брат, у меня ружье — цены ему нет. Таких ружей ни у кого в губернии не сыщешь. Это тебе каждый скажет. Говорю тебе — поспешил, а ты — ружье...

Ян забыл, что о ружье с Владимиром нельзя было говорить. Он был страстным любителем огнестрельного оружия, постоянно покупал, продавал

маузеры, наганы, берданки, винтовки, менял их, собирал, разбирал, чистил, исправлял. Он считал, что у него всегда лучший браунинг, лучшее ружье. Это ему не мешало, после очередной мены или продажи, утверждать, что прежнее его ружье или револьвер совсем уж не так хороши, в сущности, даже довольно дрянны и, во всяком случае, гораздо хуже его нового револьвера или ружья, лучше которых нет ничего и в помине. Обычно добродушный и неглупый, он, лишь только речь касалась его ружья, делался несговорчивым, вздорным. Он спорил, лгал, ожесточался, завидовал. И на этот раз он долго твердил, что дело не в ружье, что ружье у него «важнецкое», что таких ружей ни за границей, ни у «графьев» нет, но так как никто ему из нас не возражал, то, в конце концов, он угомонился; собираясь же уходить, заявил:

— Обязательно я отправлю ее к бабушкиной матери.

— Ты, парень, поостерегись, — отчески предупредил его Аким. Терехов тряхнул в дверях кудрями.

— Еще повстречаемся. Гостинчик у меня для нее припасен.

Повстречаться ему не удалось. Мира насторожилась, догадавшись, что ссылные раскрыли ее. Она больше никого не приглашала к себе, отсиживалась дома. Андрей ходил сумрачный. На вопросы о Мире отвечал, что у нее участились припадки. Это была правда. Ее часто навещал врач, около двух недель Мира пролежала в больнице. Я виделся с ней мельком, на улице два—три раза. Она похудела, осунулась. Наши беглые разговоры были сдержанны и случайны. Исправника она больше не посещала. Пошли слухи, что она хлопочет о переводе по болезни в Архангельск, однако, она выждала срок. К концу лета уехала. Андрей остался: ему нужно было еще побыть в ссылке около года. Мы сообщили о ней в Воронеж, что она — провокатор. Терехов ходил огорченный, купил новое ружье, подрался с приятелем, который осмелился усомниться в его отменных качествах.

С Иной я виделся редко и невзначай. Я твердил себе, что мне непременно надо поговорить с ней о письме, но не верил в такой разговор. Ее поклоны и приветы были сухи, ее взгляды при встречах отдаляли меня.

Однажды Ян, возвратившись с погрузки на пароход, где он работал в артели ссыльных, сказал:

— Ирина сегодня уехала на пароходе в Архангельск. Я раскланялся с ней и пожелал ей счастья и жениха. Она сказала, что уезжает к родным.

Не дослушав как следует Яна, я побежал к Варюше. Была ночь. Горьким показалось мне блистание звезд. Пока Ина жила здесь, в этом городке, мне все думалось, что никогда не поздно что-то исправить, рассказать ей правду о письме. От'езд Ины угашал мои надежды.

Варюша кроила платье. Недавно она приняла «с полным пансионом» некоего новоприбывшего «Ефимчика», покладистого ротозея. Увидев меня, Варюша отложила в сторону закройку.

— А я собиралась сегодня зайти к вам. Ирина Петровна письмо вам оставила.

Она порылась в комод, подала серый конверт без адреса. Я отошел к окну, вскрыл конверт.

«Я уезжаю, — писала Ина в своем последнем письме. — Едва ли когда-нибудь мы снова встретимся. Я не собираюсь возвращаться. О чем написать вам на прощанье? Я стала взрослой. Вы научили меня думать о несбыточном и невозможном. Хорошо это или худо — я не знаю, но я твердо знаю одно: ни один человек не причинил мне столько боли, сколько причинили вы. Вспоминаю зимние вечера на катке, наши свидания у Варюши. Прощайте. Ирина».

Я окинул взглядом Варюшину мастерскую. На всем лежал отпечаток незатейливой домовитости и женской заботливости. Из раскрытого окна были видны мреющие дали. За ними чувствовался бесконечный, вселенский простор.

— Хорошо бы уехать теперь, Варюша, отсюда.

Держа в руках закройку и ножницы, Варюша ответила, вздохнув:

— Непоседы вы все, — смотрю я на вас. А мы вот... живем...

... В кругу приятелей, спустя дня два после отъезда Ины, я много пил. Я пил красное вино до тех пор, пока оно не показалось мне кровью. Тогда я разбил стакан, и, когда увидел осколки на полу, я в первый раз буйствовал. Я бросал куда попало табуреты и стулья, свихнул палец Вадиму, посадил синяк Чок-бору, пришел в себя, опять пил и уверял друзей, что люди одновременно и дети и искатели чудесного, и что это—самое главное в жизни.

С Иной я больше не повстречался. Исправник после отъезда Ины стал вежливо раскланиваться со мной, зимой ушел из полицейского управления, переехал в Архангельск, где получил какое-то более спокойное место в другом ведомстве.

В 1917 году весной, в Одессе, просматривая в столичных газетах один из списков тайных сотрудников московского охранного отделения, я нашел фамилию Марии Спициной.

Это и была Мира.

Андрею мы долго ничего не говорили о Мире, пока в ссылку не доставили Валентина, — о нем речь впереди.

(Продолжение следует.)



МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ПОКРОВСКИЙ

Михаил Николаевич Покровский

(К 60-летию дня рождения)

ЕВГ. КРИВОШЕИНА

I

Каждый класс, будучи у власти, всеми щупальцами, находящимися в его распоряжении, захватывает самые различные области и подчиняет их своему влиянию и своим интересам. Буржуазия, воспринявшая всю предшествующую культуру, умела и умеет это делать в особо любопытных формах. Она давала и дает великолепные образчики того, как в замаскированном виде преподнести на хорошем стильном блюде буржуазную идеологию, приправленную различными сладкими соусами «объективности», «беспристрастности» и «внеклассовости».

Наука есть нечто высшее, — твердила и твердит она, — стоящее вне жизни и ее борьбы, вне тех или иных интересов, тех или иных классов. Недаром буржуазия старалась изобразить и пропитать сознание всех единой мыслью, что люди науки — это люди не от мира сего, которые, вдали от жизни и ее интересов, ищут «истину» в тиши кабинетов.

Естественно, что история являлась той областью в науке, где концы классовых интересов нужно было прятать особенно глубоко, чтобы они не высывались наружу и не заявляли о своем существовании. Нужно было многое разрушить и многое создать, чтобы освободить историю от буржуазной шелухи и оболочки. Нужно было вновь вылупить цыпленка из яйца, потому что история стала подлинной, действительной наукой с привнесением в нее марксистского метода.

Значение Михаила Николаевича Покровского в русской исторической науке и может быть понято и оценено только на фоне того исторического наследия, которое оставила нам буржуазия в этой области. Только на этом фоне можно видеть во весь рост этого человека. Видеть то, что приходилось ему разрушать и что творить, создавать. Как образ Маркса будет не целен, если оторвать его от предшествующего ему наследия французских материалистов, историков и Гегеля, как Ленина нельзя рассматривать без наследия Маркса и научного социал-демократического багажа эпохи доимпериализма, так и Покровского, как выдающегося русского историка-марксиста, можно оценить по-должному, зная, какое он получил наследство в области русской исторической науки.

Кое-что от Лаврова, кое-что от Шапова, кое-что от Соловьева или Чичерина, и вот готова схема исторического процесса России. Но, пожалуй, самым большим влиянием, господствующим в русской исторической школе и оставившим наиболее глубокий след, было именно чичеринское влияние.

В его лице буржуазия преподнесла свое наследство с наиболее тонкими приправами, скрытой идеалистической философией, с теориями надклассовости, и т. п.

Обратимся к Чичерину. Буржуазный помещик, профессор-гегелианец, для него весь исторический процесс укладывался в одно гегелевское выражение: «государство есть бог», и вся история затушевывалась одним понятием — государство. Оно являлось силой, которая все творит на земле. Оно создало общество и классы, по-своему одело их в свои оболочки — сословия, и прикрепило их — кого к земле, как крестьянство, кого к военной службе, как дворянство, а купцов — к торговле. Оно их прикрепило, оно их и раскрепостило. Никакой классовой борьбы нет в схеме Чичерина. Отношения между государственной властью и сословиями — самые мирные, идеалистические.

М. Н. Покровским впервые была проанализирована эта чичеринская идеология, как идеология буржуазного помещика, сложившаяся под влиянием уже развивающегося промышленного капитализма накануне крестьянской реформы. Классовые тенденции требовали более искусного прикрытия идеалистической философии. М. Н. показал, что для промышленного капитала, для зарождающейся буржуазии важно было внедрить в сознание всех силу государства, равную божественной. Нужно было вскрыть эту своеобразную гегельянскую философию, царившую в русской исторической науке, и вскрыть классовую подоплеку этого своеобразия, взявшего от гегельянской философии самую реакционную сущность — идеализм. Это и сделал М. Н. Покровский. Путем тонкого анализа было им иллюстрировано в его работе по русской историографии, что совсем не случайно Чичериним была взята от диалектического метода Гегеля только одна сторона — изменчивость явлений — в виде теории закрепощения и раскрепощения, а вопросы гегелевской буржуазной революции были подменены эволюцией — путем реформ сверху. Чичерину, как буржуазному современнику реформы, было важно доказать, что все крупные общественные переломы в России совершались не путем революций, а сверху, путем «соизволения» государственной власти. М. Н. вскрыл, что эта теория стремилась дать историческое оправдание реформе 19 февраля, как возникшей и отмененной из государственных соображений.

Таким образом, исторический процесс преподносился несколько по-иному, чем у Карамзина, но, пожалуй, в еще худшем, зафальсифицированном виде, более тонком, а, следовательно, и более вредном. Ни экономические потребности — в виде остановки в развитии производительных сил, — ни крестьянские движения — в виде разиновщины, пугачевщины — в чичеринской истории не нашли своего места, а проводилась одна мысль, что все зависит от государства и от реформ, идущих сверху. Неудивительно поэтому, что все прежние учебники по истории состояли из одних великих реформ — Екатерины великих, Александров миротворцев, благословенных и т. п. Требовалось много умения и прекрасного владения марксистским методом, каким обладал

М. Н. Покровский, чтобы расчистить по-марксистски дорогу в русском историческом процессе и снять с него тонкое буржуазное покрывало идеализма. Важно отметить, что М. Н. Покровский получил не только идеалистическое наследство, но и первые ростки материалистического понимания истории в работах Шапова — сына дьячка, представителя мелкой буржуазии 60-х годов. Последний ни в коем случае не был марксистом и ему до марксизма было далеко, но заслуга Шапова в том, что он впервые русский исторический процесс объяснял уже материалистически. Так, в основу образования государства он положил материалистический фактор: люди в поисках средств существования стремятся найти более легкие способы, связанные с примитивным ведением хозяйства. Последнее возможно с увеличением населения только при большой территории, что неизбежно ведет к борьбе за землю и к ее захватам. Таким образом, в основу образования громадной бывшей Российской империи Шапов и положил этот основной экономический фактор, им объясняя и пределы границ государства (как связанного с определенными климатическими условиями, а не с успехами князей).

Подходя упрощенно-материалистически к истории, Шапов не был марксистом и приписывал экономическому фактору непосредственное природное происхождение без преломления его в человеческом труде и системе производства. Позднее М. Н. вскрыл эту мелкобуржуазную сущность шаповского материализма. Все же следует признать, что Шапов сделал шаг вперед по пути материалистического понимания русского исторического процесса. Это, пожалуй, единственный историк-материалист, труд которого имел перед собой М. Н. Покровский, приступая к своей научной деятельности. Буржуазия позаботилась, чтобы историка-материалиста забыли. Правда, у С. М. Соловьева встречаются иногда объяснения некоторых фактов русского исторического прошлого, которые можно отнести к разряду материалистических. Так, он выяснил громадное значение в русской истории речных путей, дав впервые экономическое обоснование образованию Москвы и Московского государства. Но, — учитель двух наследников и представитель крупного буржуазного лагеря, — Соловьев, естественно, тяготел к чичеринской школе. По существу, он дополнил ее. Борьба леса со степью была в его теории осью, вокруг которой вращался исторический процесс образования государства.

О наследстве непосредственного учителя М. Н. — историка Ключевского — нам остается добавить немного, и не потому, что ученик действительно и несравнимо превзошел учителя, но и потому, что Ключевский в своем понимании русского исторического процесса был просто эклектиком. М. Н. Покровский это также блестяще выяснил в своей небольшой, но необычайно ценной работе по русской историографии («Борьба классов и русская историческая литература»). Свое понимание исторического процесса Ключевский ясно выразил в очень короткой формулировке: «Итак, человеческая личность, людское общество и природа страны — вот те три основных исторических сил, которые строят людское общежитие».

Читатель уже сам догадается, какую комбинацию теорий представляла схема Ключевского, какую сумму лиц она захватывала. Лавров плюс Чичерин плюс Шапов, итог — Ключевский. М. Н. показал, что это есть некоторое

изменение терминологии, но сущность совсем старая. Людское общество по Ключевскому равняется чичеринскому государству. У него есть кусочек от Лаврова—роль идей и личности в истории. Мелкобуржуазная народническая идеология о личности, как центре и пружине истории, сводящая весь исторический процесс к влиянию отдельных личностей, путем распространения их идей, нашла в Ключевском своего сторонника. М. Н. показал, что в его схеме есть немного и от Щапова, и Ключевский лишь постольку «материалист», поскольку он стоит на точке зрения Щапова о влиянии географической среды, но ничуть не больше. Его «экономический материализм» уживался с народничеством и с чичеринской государственной теорией. М. Н. Покровский первый вскрыл классовую подкладку этого эклектизма Ключевского, как выразителя и идеолога русской интеллигенции, и разрушил легенду о нем, как о родоначальнике материализма в русской исторической науке. Это имело особенно большое значение, если мы примем во внимание, что позднейшая историография носила на себе следы явного влияния этой эклектической схемы (Милюков, Платонов и другие). Отметим здесь также народничество с его теорией особого пути развития России, также оказавшее влияние на русскую историческую школу.

Таково то наследство, которое получил М. Н. Покровский от своих предшественников.

II

На фоне этого исторического наследства выясняется огромное значение М. Н., как первого русского революционного историка-марксиста, проведшего огромную борьбу с буржуазной исторической наукой. Если сейчас, когда пролетариат у власти, когда с помощью партии он руководит страной, когда уже имеется много молодых ученых-коммунистов, бывает подчас трудной борьба с остатками буржуазной исторической мысли, то нужно вспомнить то время и ту обстановку, когда М. Н. Покровский прокладывал пути марксистского диалектического понимания русского исторического процесса.

Начало литературной и научной деятельности М. Н. относится к концу 90-х годов, когда, по окончании университета, он читает лекции на Педагогических курсах и помещает ряд статей в «Книге для чтения по истории средних веков» под редакцией П. Е. Виноградова. Но развернувшееся рабочее движение, революционный подъем 90-х годов захватывает целиком М. Н. Он отрывается от научной работы и отдается революционной практике.

Годы первой революции, оставившие глубокий след на М. Н., активная работа в большевистской партии, годы изгнания и эмиграции...

В этот период, период между двумя революциями, партийная и научная работа тесно переплелись в жизни М. Н.

Как историк-марксист, М. Н. Покровский развернулся именно в это время, выступив с фундаментальным трудом, состоящим из 5 больших томов — «Русская история с древнейших времен». Этот труд был не только первым камнем в русской марксистской исторической школе, но он является

ее фундаментом и до сих пор. Не случайно, что именно на этой книге воспитывались и воспитываются революционные поколения. Не случайно, что и для преподавателя, и для исследователя она является пока незаменимой, хотя детали ее, может быть, и устарели.

Диапазон этой работы колоссален. Она охватывает весь исторический процесс с древнейших времен до конца XIX столетия, поскольку позволяли цензурные условия. Русская история была перетряхнута, вывернута наизнанку и показана своей действительной стороной. Революционный марксизм бросил вызов буржуазной исторической науке. Получилась сверху донизу, от начала до конца полнейшая переоценка старых исторических «ценностей». Впервые русский исторический процесс был всесторонне рассмотрен с точки зрения развития производительных сил и вырастающих на этой основе экономических отношений. Буржуазные сказки, затемнявшие сознание, — о полной самобытности, самостоятельности пути развития России, — были разрушены и рассеяны.

Уже в этой работе М. Н. Покровский показал историкам-марксистам, как оперировать с сырым историческим материалом, кажущимся таким объективным, как летописи. Разрушение им легенды о призвании варягов, вскрытой на почве сопоставления летописи с киевской революцией, вырастающей на фоне классовой борьбы, борьбы низов с ростовщическим капиталом, до сих пор является прекрасной иллюстрацией не только овладения материалом, но и критического подхода к нему. Используя роль некоторых экономических фактов, отмеченных Соловьевым и Щаповым, М. Н. Покровский с помощью марксистского метода показал, что карамзинский процесс собирания великой Руси и соловьевское образование Московского княжества на речных путях, с его теорией борьбы леса со степью, — есть процесс возникновения и расширения территориального влияния торгового капитала. Классовая борьба, отсутствовавшая в русской исторической науке, впервые оказалась у Покровского тем стержнем, вокруг которого вертелся и русский исторический процесс. Эпоха Грозного, эпоха Смутного времени получили другое истолкование, как классовая борьба феодального вотчинного дворянства с входящим в силу торговым капиталом. Крестьянские бунты и восстания под пером М. Н. явились классическими образцами крестьянских революций, вызванных эксплуатацией торгового капитала. Крепостное право, его зарождение и отмирание, экономическая связь России с Западной Европой, знаменитая роль хлебных цен и хлебного экспорта во внешней и внутренней политике России, классовая подоплека реформ и классовая природа самодержавия — все это было мастерски вскрыто М. Н. и очищено от буржуазной шелухи. Впервые на страницах этого труда в свете классовой борьбы была оценена роль и движение декабристов, пугачевского бунта и всего революционного движения в целом. Этот труд является до сих пор блестящей иллюстрацией применения диалектического, марксистского метода к историческому процессу в России. По отношению к русскому историческому процессу марксистский метод было особенно трудно применить. Приходилось расчищать почву от буржуазных теорий. Нужно было снять много чуждых оболочек, чтобы вскрыть процесс в подлинно марксистском освещении.

III

То, что по отношению к Западной Европе было далеко не ново, по отношению к истории России оказывалось необычайно трудным. Даже марксистская терминология—торговый и промышленный капитализм, классы и классовые группировки и т. п.—была нова и необычна для русской истории.

Сейчас даже трудно учесть все колоссальное значение и роль в исторической науке, которую сыграл этот труд М. Н. Покровского.

В истории марксистской борьбы с буржуазной исторической концепцией большую роль сыграли «Очерки по истории русской культуры», выпущенные весной 1914 года. Их значение также необычайно велико. Обе эти работы били в одну цель. Правильно отмечает сам М. Н. в предисловии к последней: «обе эти книги объединяют одно: одинаковое понимание русского исторического процесса».

В очерках он блестяще показал, как на определенном базисе развития производительных сил и соответствующей системе производства вырастают и соответствующие классовые группировки и соответствующие надстройки — в виде государства, религии, науки и т. д., выражающие интересы господствующего класса.

Сама разбивка работы по истории русской культуры на отделы — экономический строй, государственный и идеология — демонстрирует перед нами все значение этого труда для марксистской исторической школы.

Большую роль в области борьбы с буржуазным наследством сыграли также блестящие статьи М. Н. по экономике и внешней политике, напечатанные в «Истории России в XIX в.» (издание Гранат).

Почти в каждом из этих 9 томов, изданных несколько ранее вышеупомянутых работ М. Н., мы находим его статьи по внешней политике, где, со свойственным ему скрупулезным анализом и едким остроумием, он вскрывает базис бесконечных войн и завоеваний. Захватнические цели торгового капитала, стремившегося к расширению своих владений, связь внешней политики XVIII—XIX вв. с вопросами хлебного экспорта и интересами различных групп, поиски внешних рынков для промышленного капитала — все это нашло марксистское обоснование в этих статьях.

Таковы итоги борьбы М. Н. с буржуазным наследством за подлинный марксизм в русской истории. Они до сих пор колоссальны.

И если мы вспомним о М. Н., как человеке-революционере, если вспомним, что работы эти были написаны в эмиграции или на нелегальном положении, если вспомним, что историк-революционер не подпускался к царским архивам, а, изгнанный за границу, был физически от них оторван, тогда мы поймем всю силу его, как ученого.

IV

Но М. Н. Покровский был не кабинетным ученым, это был ученый-революционер, ученый-большевик. Став в 1905 году в шеренги большевиков,

он вынес вместе с партией и пролетариатом всю тяжесть борьбы. Будучи членом лекторской группы МК, а позднее (1906 — 1907 год) и членом Московского Комитета, он вместе с рабочим классом и большевистской партией прошел тяжелый путь первой русской революции. В 1907 году он был делегирован Московской организацией на Лондонский съезд партии, где был введен в большевистский центр и в редакцию центрального органа Р. С.-Д. Р. П. Выступление на окружной партийной конференции и итог — тюрьма и 102 ст. Только случайность помогла М. Н. очутиться в изгнании во Франции, где жизнь его также соединилась с жизнью партии. Затем работа в левобольшевистской группе («Вперед»), чтение лекций в первых рабочих университетах — партийных школах в Капри и Болонье и научные занятия. Вместе с пролетариатом с самого начала войны, еще в 1914 году, М. Н. поднимает знамя борьбы за интернационализм, сотрудничая в газетах «Наш Голос» и «Наше Слово».

Пришла революция. Как подлинный большевик, он на революционном посту: в качестве члена редакции «Известия Московского Совета», и в качестве его председателя, и в качестве активного большевика, свою жизнь подготовлявшего пролетарскую революцию. А когда пришел Октябрь, волны социалистического строительства и борьбы, войны и творчества, мы видим М. Н. то в первой нашей делегации по переговорам с Германией о мире, то председателем Совета Народных Комиссаров Московской области и, наконец, с мая 1918 г. — заместителем народного комиссара по просвещению.

Работа М. Н. Покровского за время с 1927 года до наших дней — многогранна и разнообразна.

В этот период он не только публикует новые труды по истории революций 1905 и 1917 годов, но и популяризирует марксистскую историю для широких масс. Одновременно М. Н. борется с извращениями марксизма и работает над созданием смены — школы молодых большевистских профессоров и организует ряд научно-исследовательских учреждений.

В январе 1922 года он выпускает «Русскую Историю в самом сжатом виде» (I и II ч.), сыгравшую колоссальную роль в пропаганде марксистских исторических знаний. Этой работой М. Н. Покровский лишний раз доказал, что популярность может прекрасно сочетаться с научностью. Какую роль она сыграла — лучше всего говорят об этом сотни тысяч разошедшихся экземпляров ее и повторные издания. Ее знают теперь и школьники, знают и студенты, ее знает и пролетариат различных национальностей, потому что она переведена на многие языки, в том числе и на китайский.

За годы революции широко развернулась и научная работа М. Н. Из-под его талантливой пера выходит за это время ряд блестящих книг и статей. Он не только заканчивает старое, как II ч. «Очерков по истории русской культуры», «Сборник статей по внешней политике. (1914 — 17 г.)», но и приступает, главным образом, к изучению новейшего опыта революций 1905 и 1917 гг.

V

Трудно сейчас подвести итоги научной работе М. Н. Многие, что развилось и окрепло, связано с его именем. Из комиссий, созданных М. Н. в годы гражданской войны, в годы голода и величайшего героизма, вырос ряд прекрасных научных учреждений, которым удивляются иностранцы, и без которых была бы немислима научная работа в СССР.

Реформа высшей школы связана с его именем. Бесчисленная сеть рабочих факультетов, рабочих университетов возникла по его инициативе. Еще в годы пайков и гражданской войны М. Н. раньше других уже была поставлена проблема создания молодых кадров марксистских пролетарских сил как для средней, так и высшей школы. Еще в мае 1918 г. он пытался объединить научные большевистские силы для будущей борьбы на фронтах идеологии, создавая Социалистическую, позднее Коммунистическую Академию. М. Н. создает затем Институт Красной Профессуры, ставящий своей целью подготовку новых научных и педагогических кадров. В течение всех этих лет М. Н. руководит этой лабораторией гуманитарных и частью естественных наук, дающей каждый год партии новые кадры квалифицированных научно-профессорских сил — экономистов, юристов, историков, работающих на различных фронтах социалистического строительства, в качестве хозяйственников, педагогов и научных работников.

Благодаря М. Н. Покровскому создалась школа молодых историков-коммунистов. По инициативе М. Н. было также создано общество историков-марксистов.

VI

Значение М. Н. Покровского должна была признать и буржуазная европейская наука. Как ни был реакционен международный съезд историков в Осло, как ни были они чужды нам, но и они должны были избрать в президиум конгресса большевика-ученого, главу марксистской исторической мысли. Даже они не имели смелости затушевать его роль в области науки, хотя и знали, что имеют перед собой ожесточенного врага. Классовые противники признали его удельный вес.

Вместе с рабочим классом М. Н. прошел школу побед и поражений. Он — ученый, но он неотделим от пролетарской революции. Поэтому так жизненны и актуальны его научные работы. Поэтому в его устах история всегда живет, сравнения образны, едки и полны остроумия. Он умеет переплесть прошлое с современностью, актуальную политику с научными изысканиями в области прошлого. В своих трудах, докладах, речах он разнообразен и всегда неожиданно нов. В них нет трафарета. Банальность не вяжется с его образом. Его сравнения едки, он убивает ими врага...

Он большой художник, хотя сам и не признает этого. Двумя-тремя штрихами, переплетая с злободневностью, он часто рисует портреты прошлого, которые встают такими живыми и политически острыми и по сегодняшний день.

Революционная жизнь и наука соединились в Мих. Ник. в один образ практика и теоретика, большевика и ученого.

Безбожник-большевик

Из воспоминаний об И. И. Скворцова-Степанове

МИХ. ГОРЕВ

Ряд товарищей вспомнит Ивана Ивановича Скворцова-Степанова,— одни, как крупного и разностороннего ученого, историка, экономиста, автора книги «Электрификация», автора работ о диалектическом материализме, естествоиспытателя, беспощадно гнавшего из области естественных наук всю «гнездившуюся в них буржуазную скверну» мистики и витализма, другие, как литератора, переводчика марксова «Капитала», третьи, как полемиста и революционного борца.

Я знал И. И., как безбожника, и тысячи безбожников склонят голову пред этой новой могилой, как могилой одного из ярких, пламенных вождей антирелигиозной пропаганды.

И я не знаю, существует ли вообще в природе такой мало-мальски грамотный безбожник, которому было бы неизвестно имя покойного И. И. Скворцова-Степанова.

Московский пролетариат знал И. И. лично, как борца и организатора антирелигиозной борьбы, в первые послереволюционные годы стоявшего на ее аванпостах.

Весь СССР знал, читал, любил Ивана Ивановича, как автора ряда увлекательных работ по антирелигиозной пропаганде, на которых воспитывались и росли новые, подходившие за время революции кадры безбожников.

Это был наш «старик», авторитет которого был непоколебим, прогноз которого почти всегда оправдывался, чье слово по глубине марксистского анализа, по силе своей научной эрудиции оказывалось решающим во многих вопросах антирелигиозной пропаганды и борьбы. Это был наш «патриарх» безбожников. И вместе с тем такой прекрасный, такой обаятельный друг и товарищ! «Святой Иоанн», как звали мы его в шутку.

* * *

В последние годы от антирелигиозной работы И. И. как-то отошел. Но зато в первые послереволюционные годы — в 1918, 1919, даже в 1921, 1922 годах — он отдавался ей со всем энтузиазмом и страстью.

Антирелигиозную работу тогда вести было нелегко. Вопросы «сознания» — есть бог или его нет, как появилась вера в бога, как возникла религия и т. д., и т. п., — упирались в «бытие», и их приходилось «увязывать»

с гнилой картошкой и ржавой селедкой, с хлебными пайками, со всей нашей бедностью и нищетой.

Аудитории, где устраивались антирелигиозные лекции, ломались от осаждавших толп.

И горе было малоопытному лектору, осмелившемуся выступить без общей марксистской подковки, без специфических антирелигиозных знаний, — его сшибали моментально!

Не говоря уже о поповщине и сектантах, со всех углов подкарауливали его озлобленные меньшевики — озлобленное и контрреволюционное старое царское охвостье, — картинно живописавшие разруху лет гражданской войны и объяснявшие ее, как «проклятие безбожной революции господом богом». Это было время, когда еще имели возможность со страниц своих журналов шипеть такие черносотенные гады, как Восторгов и др.

В эти дни И. И. своим большевистским нутром как-то сразу почувствовал, что по существу борьба пролетариата с неликвидированным, недобитым еще классовым врагом разыгрывается не только на героических фронтах гражданской войны, но и здесь, в антирелигиозных аудиториях. А раз это так, — решил И. И., — значит мое место здесь, в первых рядах безбожников-бойцов!

И место в этих рядах И. И. по праву занял.

У меня сохранился обрывок записей антирелигиозных выступлений.

Вот графа И. И. Скворцова - Степанова:

«1919 год. Январь — 18, февраль — 12, март (перед пасхой) — 22».

Кто выступал с докладами, легко поймет, что это за «нагрузочка»!

* * *

Писать воспоминания о тов. Скворцове-Степанове значит перебирать в памяти листки воспоминаний всей антирелигиозной борьбы, — такими неразрывнейшими нитями он был с нею связан!

Тот же 1919 год. Кремль. Кажется, 106-я комната, во всяком случае, историческая комната здания ВЦИК, где расположилась наша редакция первого антирелигиозного журнала «Революция и церковь».

Как молоко — туман за окном, в котором будто тает маячащая перед нами Спасская башня. Туман за окном, и сумерки гаснущего дня. У нас же обычные после работы «засидки».

В шубе с порыжевшим от времени воротником сидит П. А. Красиков. Сосредоточенно возится с вечным пером, стараясь напитать его какой-то красноватой бурдой, «условно» обозначающей чернила. Мурлычет под нос на шарманочный мотив:

А у кошки четыре ноги,
Позади ее длинный хвост,
Но ты трогать ее не моги,
Несмотря на ее малый рост...

Временами пение прерывается, и тогда раздается чертыхание по адресу не то пера, не то чернил.

Вдруг дверь неожиданно раскрывается, и в нее просовывается круглая, лобастая голова.

— А - а! Сидите? А я уже не надеялся застать! — на низких басовых нотах «российским говорком» рокочет входя Иван Иванович.—Обошел кругом двадцать раз! Чорт знает, в какой вас тупик загнали!

Подсаживается.

Разговор идет о первых книжках журнала, которые, разумеется, И. И. прочел и содержание которых знал как-будто даже лучше нас, делавших журнал.

Начинается практический разбор.

— Статью такого-то прочел с интересом, на странице такой-то у автора новая оригинальная мысль. Что если бы предложить автору развить ее в отдельной статье?!. А статья такого-то прямо расчудесная вещь! Увлекала и захватила! Перечитал ее два раза. А вот такая-то статья менее тронула. Где берете заграничную хронику? Неужели это подлинное крестьянское письмо? По вашим материалам?!. Оно у вас имеется? Покажите! Любопытно взглянуть на почерк. Это все письмо или вы только часть поместили? Вот это дело! — повторял И. И., рассматривая оригинал крестьянского письма.—Прямо не верилось, что даже в деревне мы, антирелигиозники, имеем таких рьяных сторонников! Дайте мне его, я его покажу кое-кому из «неверов»!

Разговор заходит о сотрудниках журнала, о том активе, который должен вокруг него сгруппироваться.

— Вот, например, вы, Иван Иванович! — говорю я.

Глаза заулыбались хитро.

— Да что это вы за стариков все? Молодежь ищите! Есть у нас новые авторы, которых можно собрать. Вот, например, в «Известиях» недавно была статья Ломакина. Не знаете, кто такой Ломакин? И я не знаю. А любопытно пишет, и по теме занятно, и по манере писать, видно, «цапастый»!

А потом вдруг оживился, взмахнул рукою и даже поднялся с места.

— Да. Чуть не забыл. Третьего дня слушал лекцию Сарабьянова. Чудесный лектор! Чудесный оратор. Его сейчас по всем фабрикам у нас в Москве мотают. Я познакомился с его статьями. И хоть не сходимся мы немного с ним, — думаю, что энгельсовскую точку зрения на возникновение религии через культ природы нам давно следует отбросить,—все же скажу, в остальном великолепный, марксистски образованный литератор! Привлеките его обязательно.

И хоть отнекивался и отбрыкивался, прячась за молодежью, Иван Иванович, когда в начале разговора речь шла об его непосредственном участии в журнале, оказывается, схитрил «старик»! Готовая статейка-то была в кармане.

Вынул четвертушки бумаги каких-то карандашных иероглифов.

И, как-то стесняясь, угловато:

— Может быть, почитаем, товарищи? А? Может быть, чем, как говорится, чорт не шутит, пригодится и мое бумагомарание?!

Заглядываю торопливо в первую страницу.

Изгородочкой в первой строке затопёрцились, встали буквы:

«Религия и общественный строй».

Эта была первая статья И. И. в наш журнал.

А дальше пошло.

И. И. в нашей комнате — уже частый гость.

* * *

Помню, раз... это было тоже во время наших «засидок».

Крупным шагом, будто версты меряя, ходил И. И., думая вслух:

— Да, действительно... конечно, «Революция и церковь» нужный журнал. Академический журнал! Наша тяжелая артиллерия! Сколько глупостей наделали по местам наши «рабочники», проводя «отделение церкви от государства» на царевококшайский манер. Вы читали, как жена какого-то комиссара заставила мужа шелковую занавеску в алтаре снять с «царских дверей» и из нее пошила себе юбку?!. Безобразие! Расстреливать таких оболтусов мало! Какие отношения они создадут у нас с крестьянством? Это даже не гаерство, это чорт знает что! Конечно, без нашего журнала этих глупостей было бы намного больше. И все-таки...

Обращаясь к тов. Красикову:

— Тебе не приходила, Петр Ананьевич, вот такая мысль: не варимся ли мы, антирелигиозники, в собственном соку?!. Не пишем ли для своего же брата, не верующего ни в бога, ни в чорта?!. Нам надо всколыхнуть в е р у ю щ у ю массу!. Всколыхнуть крестьянство! Полегче что - нибудь издавать...

И вдруг зажегся, ожили глаза, будто автор подпольных революционных прокламаций проснулся.

— Вот бы листовки какие-нибудь, нечто в роде наших прежних прокламаций! Может быть, стенную газету выпускать—нашу антирелигиозную Роста?!.

— Где там, — замахали мы руками, а у самих пред глазами уже картинки «несбыточные» встают о широте работы... — И на «Революцию и церковь» бумагу с трудом выцарапываем...

Тогда, если помните, тиражи считали не иначе, как сотни тысяч, и про тридцатитысячный тираж «Революции и церкви» говорили мы, что его «кот заплакал». Костили на все корки Госиздат, а с тов. Вейсом, распределявшим тогда бумагу, чуть не в кулачки.

— Пустяки, — отозвался И. И., — с тов. Вейсом поговорю! На это дело он, несомненно, пойдет.

Через три-четыре дня звонок по телефону. Радостный голос И. И.

— Сейчас на правлении бумагу провел. Так начинаем? А?

Первую «прокламацию»-листовку написал И. И.: «Почему падает вера и нарастает безверие»; вторую — П. А. Красиков: «Советская власть и церковь». Напечатали на первой странице крупно и жирно «бесплатно» и пустили каждую гулять по РСФСР со стотысячным тиражем.

А скоро и в Москве, и в Ленинграде, и во всех губернских городах на заборах, кричащих сейчас пестрядью афиш, рядом с серыми, тогдашними, годов гражданской войны, листами «Известий», «Правды» появилась и наша стенная газета «Революция и церковь».

Вокруг нее собирались огромные толпы, шли уличные антирелигиозные диспуты.

Газетку мы печатали в тираже пятьдесят тысяч. Доходила же она, однако, не далее уездных центров.

И И. И. сочинял проекты, как бы это «дело обмозговать так», добиться того, чтобы довести газетку если не до сельского, то, по крайней мере, до волостного совета.

При МК образовалась тогда ^{* * *} антирелигиозная «тройка». Впоследствии состав ее несколько расширился, и в нее входило что-то человек до семи: П. А. Красиков, В. Н. Сарабьянов, представитель агитпропа МК (сейчас забыл уже кто), иногда на расширенных заседаниях появлялись Луначарский, С. С. Данилов, Понятский, покойный Калинин (из агитпропа ЦК). Но неизменным, не пропускавшим ни одного собрания «тройки» был тов. Скворцов-Степанов.

Темы между членами «тройки» были поделены. Разработку тем «Религия и пролетариат», «Экономика и религия» взял П. А. Красиков; ему же пристегнули и все темы по христианству. Второй товарищ взял тему «Церковь и государство». А И. И. Скворцова, как-то даже без разговоров, впрягли в наиболее трудную тему «Возникновение религиозных верований», «Происхождение религии».

На одном из заседаний согласились написать по каждой теме для докладчиков тезисы.

Я не помню, чтобы за практической, тогда напряженной и нервной, работой кто-нибудь это задание выполнил. Но И. И. это выполнил. Засел и сделал, как-то неожиданно исчезнув вдруг с нашего горизонта.

А через две недели, явившись на «тройку», хитро улыбается в бороду: — Ну, как, товарищи, у вас дело с тезисами?

Конечно, молчим.

И опять знакомое движение руки: в карман серой куртки! Опять появление четвертушек бумаги с иероглифами!

— Сначала не ладилось. Думал бросить. А потом как-будто бы вытанцовалось. Может быть, почитаем, товарищи? А? Тут есть два-три места, которые бы следовало обсудить. Может быть, придется исправить!..

Слушаем и диву даемся. Да какие же это «тезисы»! Да это целая научная работа большой ценности!

Так появился «Очерк развития религиозных верований» (пособие для преподавателей партийных и советских школ)—увлекательный очерк, не потерявший ни своей научной ценности, ни свежести даже до сегодняшнего дня...

* * *

Тов. Скворцов-Степанов известен как переводчик Кунова («Возникновение религии и веры в бога», «Происхождение нашего бога» по Кунову).

Правда, за одиннадцать лет революции исследовательская работа в области истории первобытных религий двинулась вперед семимильными шагами — мы за это время имеем (в особенности за границей) целый ряд

новых работ, и сейчас вряд ли кто из антирелигиозников станет увлекаться куновской точкой зрения!

Но тогда, десять лет тому назад, как и «Исторический материализм» Гортера (который тоже перевел И. И., сделав, впрочем, в предисловии ряд существенных оговорок и предупреждений читателю), — это было действительно лучшее и, пожалуй, единственное, что можно было и стоило перевести, чтобы дать в руки наших первых антирелигиозников-пропагандистов хотя какое-то научное оружие.

И все же не в этих переводных работах главная заслуга И. И. как писателя по антирелигиозным вопросам.

Известно ли вам, что И. И., этот крупнейший и разностороннейший ученый, редактор «Капитала», — вместе с тем и автор единственной сейчас превосходной антирелигиозной детской книжки «Торбеевский царь»?! (Госиздату следовало бы выпустить ее новым изящным изданием, снабдить красочными рисунками, словом, и по изданию сделать ее действительно детской книжкой!)

Главная заслуга И. И., как антирелигиозного писателя, в плоскости вот этих популярных книжек: «Благочестивые размышления», «О вере в бога и в дьявола», «О правой и неправой вере», «Об истинных и ложных богах», «Мысли о религии», «О таинстве святого причащения», «Это было», «Рассказы о божественном» и др.

Не превзойденные за десять лет образцы популярного письма! Образцы действительно массовой, «народной» антирелигиозной книжки, пробившей для себя путь в крестьянскую избу.

В каждой из этих увлекательных книжек, написанных красочно и сочно, с присущим И. И. мастерством, т. Скворцов-Степанов выступает не только как теоретик-марксист, как материалист-антирелигиозник.

Метод марксистского анализа в данных работах И. И. умело сочетает и со знанием «нутра», самой «сердцевины» верующего человека.

Начиная свой рассказ обычно от имени последнего, он идет со своим читателем шаг за шагом, следит за всеми его переживаниями, постепенно обнажая всю нелепость и дикость самых «священных» религиозных верований!

С первых же строк книжка захватывала не только сумеречную, но и заскорузлую в предрассудках голову, потом поднимала в ней сомнения, будила мысль, шевелила мозги, а в конце концов завоевывала их.

Недаром все эти книжки И. И. выдержали по четыре, по пять изданий и разошлись в тираже, который, в общей сложности, надо считать миллионом! Недаром и В. И. Ленин интересовался не только такими работами И. И., как «Электрификация», но и этими его антирелигиозными брошюрами (см. «Записки» Института Ленина, вып. 3), умевшими подойти к верующему читателю «и так, и этак, встряхнуть его с самых различных сторон, самыми различными способами».

Своим антирелигиозным книжкам И. И. не давал хлестких антирелигиозных «боевых» названий. Он не называл их: «Против бога», «Долой бога»... он называл их иначе: «Рассказы о божественном», «Мысли о религии», «Благочестивые размышления», «О правой и неправой вере» и т. д.

— Наша задача, — говорил И. И., — не только в том, чтобы дать антирелигиозное чтение. Наша задача и в том, чтобы добиться положения, которого еще нет, чтобы крестьянин взял в руки наше антирелигиозное чтение, а не разорвал бы его в злобе, не читая, на цыгарки. Мы еще должны сломить в деревне взгляд на безбожника, как на какого-то хулигана и озорника.

И помню, как вдруг встопорчились усы у И. И., как он вскипел, как долго негодовал, когда под карикатурой в одном журнале прочел смачную подпись: «Долой религию, эту сволочь!».

— Н-да!.. действительно!.. удружили, нечего сказать! Ну и молодцы! Н-да...

* * *

От антирелигиозника он требовал не только марксистских знаний, но и знаний истории религии, знания той религии, с какой ведешь борьбу.

— У нас, — говорил он, — много неряшества, небрежности в антирелигиозной пропаганде. Как-нибудь! Авось! Небось! Вывезет! Выйдет это наш антирелигиозный лектор и с видом мрачным, меланхоличным начнет читать: «Верую в бога отца, и в сына творца, видимо-невидимо, слышимо-неслышимо». А верующие чуть животики не надорвут! Покатываются! Ну, и лектор! Ай, да лектор! Угробился окончательно! Цитируешь текст ихней «священной книги», текст ихней молитвы, будь добр, не будь неряхой, цитируй, как он есть. Не знаешь — лучше откажись! Помни, по этой твоей ошибке верующие будут судить о всем твоём докладе. У них установка головы такая. Не знаешь того, что кажется им таким простым, понятным, как поверят они тебе в твоих выводах, которые для них вовсе не просты, от которых в мозгах свербит?!

И заключал:

— Как это нам ни неприятно, нам, безбожникам, приходится оперировать не только «Капиталом», но и Библией, но и молитвенником. А раз оперировать, так, значит, и изучать оружие нашего врага.

Когда назревал процесс патриарха Тихона, и когда общественным обвинителем был выдвинут И. И., — звонит ко мне по телефону:

— У вас случайно нет «чина интронизации»? (обрядя при возведении на трон патриарха.) Нет? Как жаль! А нельзя ли как-нибудь достать? Там, насколько это помнится мне, есть преппикантные перлы. Презанятнейшая вещь!

Для любителей лихих замахов по адресу господа бога, а вместе с тем и «упрощенцев» антирелигиозной пропаганды, конечно, И. И., с его большими требованиями, был неприемлем.

Кое-кто называл И. И. «начетчиком». Кое-кто говорил о нем как об «отставшем», видите ли, по крайней мере, в вопросах антирелигиозной пропаганды, человеке...

* * *

Такой же, как и в своих книжках, был И. И. в своих речах. В нем не было этакой, как бы это сказать, ораторской напыщенности, говорил он

просто: сейчас сурово, обличительно, а через минуту шутил, и зал покачивался, и даже губы верующих кривились в какую-то жалкую улыбку. Он сумел взять аудиторию и в напряженности держать ее час—другой. Увлекательная речь, полная показов и рассказов; «случаев из жизни», цитации комичных по своей нелепости текстов и молитв, завоевывала аудиторию. И иногда выступавшие в спорах церковники свою речь начинали с того, что воздавали должное его богатейшей эрудиции во всех областях. Несколько раз мне приходилось, по просьбе И. И., выступать его содокладчиком. Тогда И. И. брал общую часть, делал общую марксистскую установку, на мою же долю выпадала иллюстративная обрисовка «текущего дня» жизни церквей. И я не могу сейчас назвать ни одного из виднейших антирелигиозников, после которого было бы так трудно выступать, как после И. И.

Помню здание Второго Госцирка, на Садовой, сверху донизу забитое тысячами народа.

Там, где оркестр, — выступающая площадка.

Бурными аплодисментами, прямо восторженной овацией встречается появление И. И.

Вся Красная Пресня здесь, — она-то И. И. знала!

Был первый день «великого поста».

— Сегодня как-будто у православных пост, — раздается в затихшем зале голос И. И., и улыбка дрожит в этом голосе. — Думается, что и нам, братья, будет бесполезно в эти дни тоже заняться «благочестивыми размышлениями».

Аплодисменты. Смех.

Когда же И. И. сел, кончив доклад, а зал еще дрожит от рукоплесканий, я хочу лататы!

— Стоит ли выступать? Ведь разжижится впечатление!

— Что вы? Что вы? — машет рукой. — Нет уж, обязательно!

Во время речи садится рядом со мной. И так как тогдашний «текущий день» церкви по существу был сплошным анекдотом, — рассказывать мне пришлось довольно веселые вещи.

Сидя рядом, в моей речи живейшее участие принимал сам И. И., то и дело бросая в толпу остроумные реплики.

Временами первый начинал заразительно смеяться. И вслед за ним цирк грохотал...

* * *

Разбуженная, расшевеленная революцией мысль выплескивалась в той волне антирелигиозных диспутов, которая прокатилась по всей Советской стране. Спрос рождал антирелигиозных докладчиков, рождал и явно негодных, таких, которые диспуты вели, примерно, так:

В о п р о с: Было ли воскресение Христа?

О т в е т: Неизвестно, я не присутствовал.

В о п р о с: К какому классу общества принадлежала Магдалина?

О т в е т: Это еще не выяснено наукой.

В о п р о с: Был ли Христос в самом деле?

О т в е т: Не могу знать.

Из аудитории голос:

— Еще один вопрос, тов. лектор, так что же, был исход евреев из Египта или его не было?

— Хотя я при этом и не был, но раз в Библии так написано, то очевидно это было.

Нам же, очевидно, надо было решить, кого мы имеем в части «наших» докладчиков — наглецов или просто дураков!

Иногда, впрочем, диспут принимал и такую «научную» форму.

— Скажите, докладчик, есть бог или нет?

— А ты видел бога?

— Нет.

— Ну, значит бога нет!

И можно сказать, чем меньшими знаниями располагал докладчик, тем с большей легкостью все дело сводилось к кавалерийским наскокам, к грубейшей ругани и по адресу «господа бога» и по адресу верующих, которые, как правило, из ослов, баранов, дураков, на языке таких лекторов, не выходили.

И, как сейчас помню, получили мы сведения о совсем неприятной истории с диспутом под Серпуховом. Диспут там проводился в крестьянской аудитории. Не выходящим из «бараньего звания» крестьянам, в конце концов, это надоело. Как потом признавались, хотели «маненько» проучить лектора, вернее же, устроить над ним настоящий самосуд. Часа два, забаррикадировавшись, просидел злополучный лектор где-то на чердаке, пока не был вызван из Серпухова отряд конных всадников. Отстегав плетью возбужденную крестьянскую толпу и разогнав ее выстрелами в воздух, конные стражники поставили, как говорится, над диспутом последнюю точку!

Если бы только описанная история была исключением! Но мы имели и такие, правда, единичные случаи-уники, когда докладчики на диспут приезжали в о р у ж е н н ы е п у л е т а м и (Северный Кавказ).

И т. Скворцов-Степанов и т. Красиков самым резким образом вмешались в то положение, которое мы имели.

Признавая известную полезность за диспутами, обеспеченными надежными, квалифицированными антирелигиозными силами, не отрицая в принципе значения диспутов, как одной из форм антирелигиозной работы, они самым решительным образом требовали запрещения диспутов, плохо организованных, почти никак не подготовленных, неизвестно кем (с бору да с сосенки!) обслуживаемых. Требовали образования квалификационных комиссий, которые должны были отсеять тех, кто по существу лил воду на мельницу самой темной реакции.

В этом смысле два «старика» и били тревогу в МК, в ЦК, где только могли.

И. И. Скворцов шел даже дальше. Ему казалось, что диспуты вообще имеют тенденцию подменить собою углубленную научно-пропагандистскую работу.

— Можно ли вообще начинать нашу антирелигиозную работу с диспутов, — а, несомненно, товарищи, эту работу мы сейчас только ставим, — это

для меня еще вопрос! Я слышал выступления на диспутах наших даже высокопробных антирелигиозников и, не исключая себя, — в этом деле и я не раз грешил, — они меня не удовлетворяют. Что диспуты, в самом деле, дают? Какие-то «бои быков»! Публика валом валит, но что ее притягивает? По моему, нездоровый интерес — азарт! Идут, как на борьбу! Кто кого, сколько раз и как здорово покроет!!!

* * *

Иван Иванович был инициатором «комсомольской пасхи», «комсомольского рождества».

По его мысли церковному празднику мы должны противопоставить с в о й, насыщенный с в о и м содержанием праздник. Торжественности церковных служений — свою антирелигиозную торжественность.

Он мечтал о карнавале, о веселом карнавале, где в историческом разрезе должны пройти все религии мира. Он говорил о торжественности клубных собраний, в которых все должно напоминать о наших антирелигиозных целях, и даже докладчикам лучше выступать в «исторически верных» костюмах жрецов и старинных магов.

Он носился с этой идеей «комсомольского рождества», летал с собрания на собрание, хватал за бока Подвойского с его, тогда еще находившимися в проектах, стадионами, всех, кого только мог, хватал. В то время как рука дописывала последнюю строку газетной статьи, нога уже держала курс на рабочее собрание. В ночь под рождество выступал, кажется, в трех или четырех местах. И когда на одной фабрике в качестве «исторически верного» одеяния ему подали какую-то действительно историческую хламиду из клубного реквизита — костюм звездочета, И. И. улыбнулся, как-то странно гмыкнул и... надел его.

Наша «рассейская» грубость, наше «рассейское» бескультурье и растяпистость харкнули в неисправимого энтузиаста!

Ни о каком таком «историческом разрезе» шествий, само собой разумеется, и речи быть не могло. Карнавал превратился в грубую и немного пошловатую трагикомедию. Где-то карнавальщики подожгли бороду у попавшегося навстречу раввина. Еще где-то раздели священника, мирно и важно шествовавшего «со славой Христа», отняв у него крест со всеми прочими знаками его «священного» поповского достоинства.

Как сейчас вижу его, Ивана Ивановича, растерянного, беспомощно раскинувшего руки перед тяжестью фактов.

— Да!.. действительно! Да!.. Проидеализировал! Забежал вперед этак лет на двадцать! Нашу-то дикость как раз и забыл. Но вы вспомните меня, товарищи, — пройдет еще десяток — другой лет, и к настоящим антирелигиозным карнавалам мы еще вернемся!

— Если доживем! — подал кто-то реплику.

— Еще поживем!.. Еще поборемся! Физкультурой надо заниматься, пессимист вы этакий!

* * *

И была в И. И. непримиримость борца. Жил в безбожнике твердо-каменный большевик.

И. И. мог уступить во внешности книги, в ее заголовке, в построении речи, в иллюстративном образе и картине, в подходе к массам, поскольку понимал, что корни религии упираются в миллионы мелко-собственнических, индивидуальных крестьянских хозяйств, поскольку антирелигиозная борьба развертывается в аграрной стране. Он понимал, что перенесение на русскую почву опыта атеистической борьбы и ошибок этой борьбы эпохи Великой французской революции в аграрной стране могло бы явиться гибелью и не одной только антирелигиозной борьбы. И он силой всего своего авторитета старался сдерживать нашу антирелигиозную повозку при каждом броске ее именно в эту сторону.

Но какую бы брошюру И. И. вы ни взяли, — в ней всегда найдете четкий марксистско-ленинский анализ, непримиримость большевика, не сходявшего с рельс классовой борьбы, делавшего большевистский вывод прямо, ясно, четко, полным голосом, в лоб!

Он подпускал к себе верующего человека близко-близко, чтобы затем привести в смятение и расстройство его неприсохлую мысль, показать всю бедность, всю нищету его психологии, а потом указать ему нашу большевистскую дорогу.

И эта целеустремленность, непримиримость борца жила в тов. Скворцове не только как в писателе и ораторе, но и во всей его антирелигиозной борьбе.

* * *

Это было время весны всяких «живых» церквей. Приспособляющийся и годами занафталиненный поп проснулся, начал прочухиваться, сбрасывать с себя нафталиновый пласт и кадить в нашу сторону, пяля глаза на «советский пирог».

Наша печать, да и частенько мы, антирелигиозники, отмечая в своих докладах и статьях, как политическое явление, как некоторый наш плюс, раскол церкви, продолжали крушить тихоновщину; новое же молодое и ядовитое образование как-то оставляли до времени в тени. Кое-где, даже в рабочих кварталах начали потолковывать об образовании каких-то «советских», «красных» попов. В качестве «красных», «советских» попов, якобы находящихся под покровительством власти, спешили, впрочем, отрекомендоваться и сами живоцерковцы.

И. И. был врагом проституции, хотя бы она велась и под прикрытием «священной» ризы. Не стерпел «старик»! Тогда В. И. Ленин только что оправился от болезни и едва ли не одним из первых докладов ему пришлось заслушать доклад И. И. о появившихся за время болезни Ленина каких-то диковинных «советских» попах.

Через несколько дней в дискуссионном клубе МК был собран весь партийный актив. И. И. выступил с чтением своей новой статьи-книжки «о живой церкви». Искусной рукой он смывал грим — румяна и белила — с моло-

дящейся старушки; появление «живых церквей» определил, как политическую мимирию поповства, призывал к борьбе со всякими церквями, а в том числе к меньшей, если не к большей борьбе, и с рафинированным православием.

«Заговор молчания» печати по отношению к карточным домикам «живых церквей» был, таким образом, прорван.

* * *

Помню еще... «Дом печати». Доклад-диспут: «Голод, изъятие ценностей и всезаграничный Карловицкий собор». Никитский бульвар, весь черный от месива вздыбленных человеческих тел.

И этот чей-то взвизгивающий голос:

— Пропустите! Пропустите! Докладчик идет!

И улюлюканье кругом:

— А-га-га-га! О-го-го-го! Докладчик! Не пу-у-у-щай! Пусть здесь нам докладывает! Пусть здесь с нами говорит!

И эти впивающиеся острые-острые глаза, лоснящиеся жиром лица охотнорядских молодцов. Бывшие писаря, дьяконы, кабатчики, хоругвеносцы—все здесь! Сбор всех рынков!

И этот небольшой зал, весь полный народа, — сидевшего, стоявшего грудь к груди, плечом к плечу, — гудящий, спорящий, переругивающийся, с ломящейся с лестницы публикой!

И Иван Иванович, как-то особенно молодой в этот вечер, возбужденный, задорящийся от этого звериного воя, входивший в азарт, а потом вдруг застывший перед толпой, как сталь.

Я не могу вспомнить точно тех слов, которые он тогда говорил. Но помню... ясно, четко, в упор он бросал слова презрения! Он видел перед собою классового врага, которого убеждать в чем-либо было бесполезно, который демонстрировал свою защиту «изымаемым тихоновским ценностям»!

— Никакого доклада-диспута не будет! Большевики на рынках и базарах не выступают.

— А-а-а! О-о-о! — застонало в зале.

— А-а-а! О-о-о! — Откликнулось на лестнице и в вестибюле.

— А-а-а! О-о-о! — эхом загудело на улице, на бульваре.

— Большевики на рынках и базарах не выступают! — Резко, отрывисто повторил И. И. еще раз. Спокойно выключил на сцене свет. Сошел. Через толпу направился к выходу.

И за ним, как оглушенное стадо, хлынула толпа.

Месяца два после этого «диспута-бедлама», при каждой встрече, И. И. с улыбкой вспоминал:

— А помните, как с Сухаревкой воевали? Занятно вышло! Даже учредилку по-моему было легче распускать!

* * *

И последний раз. В марте. В «Известиях». Перед отъездом на Донбасс...

Он участливо расспрашивал меня о литературных работах, которые сделаны, которые еще в плане.

Иосаф белгородский, Анна Кашинская, Серафим. Саровский — около этих имен и вокруг их «канонизационных» процессов вилась тема беседы.

И тень на его лице:

— А моя-то «История церкви» так и лежит! Вот впрягся в работу. Как закрыл пять лет тому назад папку с «Историей», так и не раскрывал. Бросил на половине.

А потом о Донбассе:

— Заливает Донбасс волна сектантства. По моим сведениям, сектанты проделывают там чорт знает что! Безобразие возмутительное!

И, провожая:

— Понаблюдайте и пишите. Обязательно пишите! Мы в «Известиях» этот вопрос поднимем и заострим. Кажется мне, что какого-то маху мы даем, и маху здоровенного...

* * *

Это было в марте, ранней весной.

А сейчас здесь, в Харькове, когда за окном бил порывами ветер и плакала мелким дождем осень, обожгла вдруг ноющая, свербящая, и сейчас еще повсюду ходящая со мной и за мной боль. Глаза впивались и верили, и поверить не могли вот этой нелепице — только одной в траурной рамке строке «Вечернего радио».

СКОНЧАЛСЯ ТОВ. И. И. СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ.

Листок к листку ложатся листки скорбных воспоминаний. И мысль сейчас не здесь, — там, в годах кипения и борьбы, в первых на идеологическом фронте революционных «боях»!

Ушел Иван Иванович.

Ушел из жизни большевик-безбожник, н а ш старик, н а ш «патриарх» безбожников!

Да искрится и лучится в огнях дел молодой поднимающейся смены оставленный им светлый и лучистый след.

Харьков

Англо-французское соглашение

OUTSIDER

Начиная с того момента, когда Чемберлен в первых числах августа заявил в английском парламенте о том, что между Англией и Францией заключено соглашение, дающее возможность ускорить дело разоружения, и до настоящего дня англо-французский компромисс продолжает оставаться в центре внимания международной политики.

Говоря об англо-французском соглашении, мы считаем нужным подчеркнуть, что речь идет, в сущности, о двух вопросах, связанных между собою, но не покрывающих друг друга. Как это будет видно из дальнейшего, необходимо отделять англо-французское соглашение в целом от так называемого англо-французского компромисса по вопросу о морских вооружениях. Значение этого компромисса, а равно и его судьба являются предметом особого изучения, которое не следует отождествлять с вопросом о более широком соглашении между Англией и Францией, являющемся по существу возобновлением англо-французской Антанты. Несмотря на то, что базой заключенного широкого соглашения является морской компромисс, было бы большой ошибкой подменять вопрос о значении и судьбе всего соглашения вопросом о роли морского компромисса, как такового.

Остановимся, прежде всего, на исследовании англо-французского компромисса по вопросу о морских вооружениях.

В чем его сущность?

Для того, чтобы понять технический смысл англо-французского морского компромисса (а вместе с тем сделать ясными предпосылки широкого англо-французского соглашения), необходимо остановиться на тех разногласиях между Англией и Францией, которые имели место в течение двухлетних работ подготовительной комиссии к конференции по разоружению.

До заключения последнего компромисса на арене Лиги Наций (и до начала работ подготовительной комиссии) при обсуждении вопросов разоружения боролись две основных группировки: французская и английская. Конкретные предложения обеих группировок были прямо противоположны друг другу. В то время, когда английская постановка стремилась сохранить за собой полную свободу рук в области морских вооружений, одновременно настаивая на продвижении вперед вопроса о сухопутном вооружении, французская группировка всячески старалась изъять из сферы разоружения сухо-

путные военные силы и добивалась ограничения морских вооружений. Это принципиальное разногласие маскировалось различием «теорий» по вопросу о соотношении и взаимозависимости между разоружением и так называемой безопасностью. В то время, как Франция систематически выдвигала на первое место вопрос о безопасности, вуалируя этим саботаж какого бы то ни было разоружения, Великобритания применяла противоположную тактику, настаивая на разоружении, ибо под этим она понимала разоружение сухопутное, т. е., в первую очередь, разоружение Франции.

На фоне подобного общего расхождения точек зрения наслаивались и более конкретные расхождения. Так, по вопросу о морском разоружении Франция систематически поддерживала точку зрения о необходимости фиксации общего тоннажа морских вооружений с предоставлением каждому государству права свободного распределения типов военных судов в пределах этого отведенного ей тоннажа. Это было необходимо Франции для сохранения неограниченной свободы в отношении строительства ее подводного флота — единственного средства обороны против Англии на случай вооруженного конфликта. Наоборот, английская точка зрения по вопросу о морских вооружениях систематически исходила из ограничений не общего тоннажа, а именно тоннажа по отдельным категориям. Ниже мы коснемся этой программной базы английского адмиралтейства и покажем, в чем политический смысл подобной точки зрения. В данный момент ограничимся указанием на то обстоятельство, что в вопросе о морском разоружении между точками зрения Англии и Франции до последнего времени существовало явное и неприкрытое расхождение.

Вторым (не менее важным) пунктом этого конкретного расхождения являлся вопрос о так называемых обученных военных резервах. Французский тезис всегда заключался в том, что, при установлении какого бы то ни было модуса разоружения (сухопутного), в это разоружение не входит исчисление обученных военных резервов (т. е. прошедших военную службу и находящихся в запасе контингентов), имеющих в распоряжении французского правительства. Само собой разумеется, что подобное исключение обученных военных резервов из программы разоружения делает всякое разоружение совершенно иллюзорным. Система, основанная на указанном исключении обученных резервов, ни в какой мере не поколебала бы французской военной гегемонии в континентальной Европе. Поскольку Англия на разоружение до последнего времени смотрела, как на средство ослабления именно военной гегемонии Франции, само собой понятно, что английская делегация при обсуждении вопроса о разоружении неизменно оспаривала французский тезис об исключении обученных резервов.

Таковы два серьезных расхождения, имевшие место до последнего компромисса между Францией и Англией.

Было бы, однако, неправильно объяснять сущность англо-французского компромисса, исходя из расхождений между Англией и Францией. Мы рисковали бы не понять ни цели, ни смысла этого соглашения, если бы в основу его анализа не положили гораздо более серьезных расхождений в вопросе о морских вооружениях, — расхождений между Великобританией и САСШ.

Сущность этих расхождений сводится к следующему: военно-стратегическая ситуация Англии и Соединенных Штатов различна. Англия имеет разбросанные по всему миру доминионы и колонии, а ее торговые пути и коммуникационные линии тянутся на расстоянии сотен тысяч миль. Это ставит перед английским адмиралтейством задачу охраны торговых путей империи. Имея в своем распоряжении большое количество опорных баз во всех частях мира, Англия заинтересована сооружением большого количества военных судов небольшого тоннажа, которые были бы в состоянии охранять эти пути. Суда, способные действовать на небольших расстояниях именно в силу наличия большого количества опорных баз (снабжающих флот необходимым топливом), превращаются в мощное оружие. Кроме того, большое количество судов торгового флота облегчает английскому адмиралтейству, в случае необходимости, их превращение в крейсера легкого типа, могущие оказать существенную помощь чисто военному флоту.

Наоборот, Соединенные Штаты не заинтересованы в охране своих коммуникационных линий и торговых путей, поскольку эти пути проходят, главным образом, через американский материк. Для наступательных действий САСШ, не обладающие опорными базами вне американского материка (за исключением Филиппинских островов), в качестве военного оружия могут использовать лишь суда крупного тоннажа, способные действовать на больших расстояниях. Отсюда и основное противоречие между английской и американской точками зрения в вопросе о методах ограничения военно-морского строительства. Соединенные Штаты, учитывая возросшее боевое значение судов небольшого тоннажа, стремятся ограничить строительство судов именно этого типа. Поэтому они настаивают на установлении предельной суммы общего тоннажа. В пределах этой общей суммы, по мнению САСШ, каждая страна может строить суда любого типа, в любом количестве. Устанавливая принцип общего тоннажа, американцы рассуждают следующим образом: поскольку Англия вынуждена, в силу разбросанности своих владений и торговых путей, содержать большое количество легких крейсеров, ее способность к строительству судов крупного тоннажа была бы ограничена предельной нормой общего тоннажа. В результате Соединенные Штаты, не заинтересованные в строительстве мелких судов, могли бы сосредоточить свое внимание на крупных боевых единицах и, таким образом, стать наиболее сильной морской державой. Далее, настаивая на запрещении вооружения торговых судов орудиями крупного калибра, американцы преследуют цель ограничить возможность Англии, путем вооружения своего торгового флота, увеличить мощь военного флота Англии, чего не может сделать Америка, не обладающая столь крупным торговым флотом и не имеющая в своем распоряжении баз для операции мелких судов.

Английское адмиралтейство рассуждает иначе: оно возражает против установления предельной нормы общего тоннажа для судов всех типов, настаивая на установлении предельной нормы тоннажа для каждого отдельного типа. Принятие английского проекта привело бы к тому, что Соединенные Штаты могли бы выстроить только ограниченное количество судов крупного тоннажа; в пределах же тоннажа, предусмотренного для других типов судов,

американцы могли бы строить суда, которые все равно не сумели бы действовать в виду отсутствия необходимых баз. Таким образом, превосходство английского флота было бы вне всякого сомнения.

Сказанное выше дает ключ к пониманию смысла и цели англо-французского морского компромисса. Не касаясь пока более широкого соглашения, о котором речь будет идти ниже, остановимся на содержании компромисса в том виде, в котором это содержание уже опубликовано. Близкая к французскому министерству иностранных дел «Эко де Пари» излагает содержание трех подлежащих опубликованию нот¹⁾, к которым, как утверждает газета, сводится англо-французское соглашение. В первой из этих нот, датированной 27 июня, британское правительство ссылается на предложение, сделанное французским делегатом в подготовительной комиссии к конференции по разоружению английскому делегату. Это предложение сводилось к тому, чтобы установить ограничение лишь для линейных крейсеров, крейсеров в 10.000 тонн, авионосцев и крупных подводных лодок. По этому поводу нота заявляет, что если французское правительство поддерживает это предложение, то английское правительство обязуется снять свои возражения против французского тезиса, касающегося обученных чинов запаса. Вторая нота принадлежит французскому правительству и датирована 20 июля. В этой ноте французское правительство уточняет предложение своего делегата в Женеве и выражает готовность взять на себя обязательство строить крупные подводные лодки и крейсера в 10.000 тонн лишь до определенной нормы тоннажа, вызываемой французскими потребностями, и лишь в период до подписания общей конвенции по разоружению. Вместе с тем французское правительство заявляет, что по отношению к этим двум категориям для всех держав должен быть установлен максимальный равный тоннаж. Что касается подводных лодок ниже 600 тонн, то количество их никаким ограничениям не подлежит. Далее французское правительство предлагает сообщить основания возможного соглашения между Англией и Францией, САСШ, Японией и Италией. «Если эти предложения, — гласит французская нота, — не будут приняты этими державами, то явится настоятельная необходимость в продолжении сотрудничества между обоими правительствами для того, чтобы добиться соглашения другим путем, или для того, чтобы занять определенную позицию по отношению к затруднениям, которые могут возникнуть из отказа держав принять предложения».

Третья нота, датированная 28 июля, является ответом английского правительства на последнюю ноту Франции. В этой ноте английское правительство заявляет, что оно предпочло бы первоначальные предложения Франции, однако, готово принять французскую точку зрения, изложенную во французской ноте. Английское правительство заявляет, что оно согласно ознакомить прочие морские державы с содержанием компромисса, и далее резюмирует основы соглашения, вытекающие из обмена нот.

Таково содержание англо-французского морского компромисса по словам «Эко де Пари». Ниже мы остановимся на тех частях соглашения, которые,

¹⁾ После того, как эти строки были написаны, получилось сообщение о состоявшемся опубликовании указанных нот. А в т.

вне всякого сомнения, имеют место, но которые ни «Эко-де-Пари», ни какой-либо иной орган французской или английской печати до сих пор не опубликовали.

Приведенный текст компромисса дает основание подвести уже некоторые итоги в интересующем нас вопросе.

Англо-американское соревнование в области морских вооружений является отражением борьбы за господство на море. Присоединение Франции к английской точке зрения означает присоединение Франции к политике Англии, направленной на недопущение Соединенных Штатов к установлению гегемонии на море, каковая гегемония означала бы в то же время мировую гегемонию. Мало того, присоединение Франции к английской точке зрения означает, что Франция высказывается против американского требования об установлении так называемого права свободы морей, которое в корне подрывает возможность осуществления Англией ее традиционного орудия борьбы — морской блокады.

Англо-французское морское соглашение не является «жертвой» со стороны Франции. Франция, в силу материальных соображений, не может вступить в морское соревнование с такими гигантами, как Англия и Соединенные Штаты. Для обороны своих берегов и для возможных боевых действий против Англии, Германии и Италии Франция отнюдь не нуждается в судах крупного тоннажа. Ее вполне удовлетворяет мощный крейсерский флот небольшого тоннажа, равно как и сильный подводный флот. Вот почему, соглашаясь на поддержку английской точки зрения, Франция ничем не рискует, а выигрывает уступки со стороны Англии в вопросе о так называемом ограничении сухопутных военных сил.

Морской компромисс между Англией и Францией вызвал возражения, прежде всего, со стороны (как и следовало ожидать) САСШ.

28 сентября английскому министерству иностранных дел была передана нота правительства САСШ. Нота заявляет, что англо-французское соглашение не выполняет, повидимому, ни одного из тех условий, которые, по мнению правительства САСШ, являются жизненными. «Англо-французское соглашение, — говорится в ноте, — оставляет без ограничений весьма обширную категорию действующих боевых судов, и именно это обстоятельство неминуемо поведет к новому обострению морского соперничества, разорительного для национального хозяйства».

«Повидимому, — говорится далее в ноте, — единственными категориями судов, для которых англо-французское соглашение предлагает ограничения, являются крейсера с тоннажем в 10.000 тонн и ниже, вооруженные орудиями калибра более 6-дюймовых и до 8-дюймовых, а также подводные лодки с тоннажем свыше 600 тонн. Правительство Соединенных Штатов считает, что всякое ограничение морских вооружений для того, чтобы быть действительным, должно распространяться на все категории боевых судов. Ограничение же только отмеченного класса крейсеров было бы наложением ограничений только на те типы судов, которые специально подходят для нужд Соединенных Штатов. Очевидно, что ограничение этого типа судов лишь увеличило бы в чрезвычайной мере сравнительную наступательную мощь державы, обла-

дающей крупным коммерческим флотом, на судах которого могут делаться в мирное время приготовления для установки шестидюймовых орудий. Это предложение является еще более неприемлемым, чем предложения английской делегации на конференции трех морских держав».

Далее нота возражает против того, что подводные лодки с тоннажем ниже 600 тонн оставляются без ограничений и говорит, что Соединенные Штаты совместно со всеми державами охотно уничтожили бы совершенно подводный флот; но если подводные лодки должны продолжать существовать, то, по мнению правительства Соединенных Штатов, подводный флот должен быть благоразумно ограничен по тоннажу подводных лодок или по их числу. «Соединенные Штаты, — продолжает нота, — охотно будут продолжать усилия, направленные к ограничению морских вооружений, но они не могут согласиться на такие предложения, которые оставляют широко открытой дорогу к неограниченному сооружению некоторых типов военных судов весьма высокой боевой ценности и налагают ограничения лишь на те типы судов, которые специально пригодны для нужд САСШ».

«Правительство САСШ, — заявляет нота, — считает, что англо-французское соглашение, оставляя без ограничений столь значительную по тоннажу часть флота и столь много типов военных судов, будет тем самым активно содействовать крушению основной цели всякой конференции по разоружению. Правительство Соединенных Штатов не имеет никаких возражений против заключения Англией и Францией любого соглашения, которое они считают полезным в интересах ограничения вооружений, но оно не может согласиться на применение такого соглашения к Соединенным Штатам».

После всего сказанного выше об основах англо-американских расхождений в области морского разоружения, аргументация американской ноты является вполне понятной и ясной. Иначе САСШ не могли отнестись к англо-французскому компромиссу, направленному против морской мощи САСШ.

6 октября английскому и французскому посольству в Риме был вручен итальянский ответ по вопросу об англо-французском морском компромиссе. Итальянская точка зрения в общем совпадает с точкой зрения САСШ. Так, эта нота гласит: «Что касается определения наилучшего способа применения этой точки зрения (равенство вооружений) в морской области, итальянское правительство заявляет себя сторонником ограничения общего тоннажа, а не ограничения отдельных категорий судов. Иными словами, всякое государство должно иметь возможность использовать установленный для него тоннаж для постройки таких типов судов и такого их вооружения, какие, по его мнению, наилучшим образом отвечают потребностям данного государства... Система ограничения общего тоннажа является единственной, позволяющей более слабым странам найти в возможности приспособления и свободе выбора известную компенсацию за превосходство других стран».

Что касается Японии, — ее ответ до сих пор неизвестен ¹⁾.

¹⁾ В настоящий момент этот ответ уже имеется. Японское правительство заняло весьма колеблющуюся между С.-А. Соединенными Штатами, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, — позицию. Авт.

Таково положение вопроса об англо-французском морском компромиссе, в техническом смысле этого слова. Его судьба (т. е. возможность его осуществления) была предрешена в момент подписания соглашения. Ни Англия, ни Франция не могли, хотя бы на минуту, сомневаться в том, что условия компромисса будут неизбежно отвергнуты Соединенными Штатами. Это обстоятельство (т. е. предвидение будущей позиции Соединенных Штатов) зафиксировано в самом соглашении, где предусматривается дальнейшее сотрудничество обоих правительств на случай, если Соединенные Штаты отрицательно отнесутся к компромиссу.

Естественен в таком случае вопрос, для какой же цели был заключен морской компромисс, если обе стороны сознавали безнадежность попытки заставить Соединенные Штаты принять англо-французские условия разоружения, и если без Соединенных Штатов осуществлять компромисс совершенно невозможно.

Ответ на этот вопрос заключается в том, что морской компромисс был заключен не ради него, как такового, а для каких-то иных целей. Морским компромиссом не ограничивается англо-французское соглашение.

Начиная с момента заявления Чемберлена в палате общин о заключении соглашения, и по сегодняшний день не прекращаются указания относительно того, что кроется за «невинными» по внешнему виду усилиями Англии и Франции в вопросе о морском разоружении.

Уже 23 августа «Дейли Геральд» писала в передовой: «Мы имеем основание думать, что действительное соглашение вовсе не ограничилось морскими делами. Нужно обязательно выяснить, как далеко это соглашение зашло. Мы бы хотели поставить Чемберлену или его заместителю несколько вопросов: является ли соглашение близким к оборонительной и наступательной Антанте? Связано ли соглашение с установлением сфер влияний? Содержатся ли действительно в заключенном соглашении пункты о компромиссе в вооружениях на суше и о совещаниях между штабами обеих стран? Покрывает ли действительно заключенное соглашение взаимное отношение воздушных сил обеих стран?». Задавая эти вопросы, «Дейли Геральд» требовала опубликования всех документов. «Дейли Ньюс» в тот же период утверждала, что официальные сведения, которые до сих пор были опубликованы, имеют лишь в виду ввести в заблуждение общественное мнение. Газета утверждает, что в действительности соглашение идет гораздо дальше, нежели о нем написано в официальном тексте. «Уступка Англии, — говорит газета, — означает стабилизацию французского военного могущества». В тот же день, 23 августа, «Манчестер Гардиен» утверждала: «Как Локарно было концом старой Антанты, так новая Антанта будет концом Локарно».

Известный французский социалист Леон Блюм по поводу соглашения писал: «Само соглашение может быть технически весьма ограничено, но важно то, что находится за этим документом. Американское правительство имеет в своем распоряжении текст, но можно идти в пари, что не текст вызывает беспокойство, а его важные политические последствия. Оба флота — французский и английский — превращаются в две специализированные секции одного и того же флота».

Можно было бы привести десятки отзывов печати, указывающих на серьезнейшее значение англо-французского соглашения, соглашения, значительно выходящего за рамки морского компромисса. Укажем, что такой авторитетный и прекрасно информированный журналист, как Роберт Дель, работающий в течение 12 лет в качестве корреспондента английской либеральной печати в Париже, в своей статье («Дейтче Альгемейне Цейтунг») от 3 октября пишет: «Главное значение англо-французского морского соглашения заключается в том, что оно разоблачает наличие новой Антанты, формально и письменно не фиксированного союза, подобный которому существовал между обеими странами до войны и который явился одной из главнейших причин этой войны. Британское адмиралтейство никогда бы не согласилось на предоставление Франции права постройки в неограниченном количестве подводных лодок, если бы оно не получило заверений, что эти лодки не будут использованы против английского торгового флота. Такое заверение может быть дано лишь в рамках если не формального, то фактического союза».

Советская печать разоблачила содержание англо-французского соглашения. Разоблачение указывало на то, что англо-французское сотрудничество было установлено в форме 7 отдельных соглашений. Эти соглашения таковы:

- 1) Морское соглашение;
- 2) соглашение о сотрудничестве воздушных сил;
- 3) согласование военно-инструкторской работы в странах Востока;
- 4) согласование разведывательной службы в восточных странах, включая СССР;
- 5) соглашение уже обученных резервов;
- 6) согласование политики Англии и Франции в рейнском и репарационном вопросах;
- 7) согласование политики Англии и Франции на Балканах и в сопредельных с СССР странах.

Когда в советской печати появились указанные разоблачения, то и Париж и Лондон упорно их опровергали. В настоящий момент никто уже не оспаривает двух из приведенных выше 7 отдельных соглашений (морского и соглашения относительно обученных резервов); что же касается остальных пяти соглашений, то целый ряд фактов в области международной политики последних двух месяцев целиком и полностью подтвердил правильность данных, сообщенных советской печатью.

Выше мы указывали на то обстоятельство, что американская печать, равно как и американские официальные круги, обнаружили большую подозрительность по вопросу о характере и объеме англо-французского соглашения. В начале сентября «Дейли Геральд» писала: «Соединенные Штаты обеспокоены не самим англо-французским компромиссом, а подозрением, что этот компромисс является лишь частью более широкого соглашения, которое в действительности является морским, сухопутным и дипломатическим союзом между Англией и Францией». «Не только в Америке, но и во всем мире, — продолжает газета, — считают, что между государственными деятелями обеих стран состоялись «беседы», подобно беседам 1906 года, которые очистили дорогу тесному сотрудничеству во всех областях».

На сентябрьской сессии Лиги Наций англо-французское соглашение получило первое боевое крещение. Оно выразилось, прежде всего, в согласованной тактике по вопросу о дальнейшем откладывании созыва подготови-

тельной комиссии к конференции по разоружению. Прежних разногласий между английской и французской делегациями не стало. Англия и Франция выступили в этом вопросе вполне солидарно и единым фронтом.

Еще большей демонстрацией существования «тесного контакта» между Англией и Францией явилось обсуждение вопроса о досрочном освобождении Рейнской области. Полная и безоговорочная поддержка, которую оказал лорд Кешендэн Бриану в этом вопросе, является лучшим доказательством размеров и характера англо-французского соглашения. Поднимая в Женеве вопрос об эвакуации Рейнской области, Германия очутилась лицом к лицу не перед французским сопротивлением, а перед единым фронтом Англии и Франции. Впрочем, этот фронт был зафиксирован не на самой сессии Лиги Наций, а непосредственно перед Женевой, выявив свое существование в факте соединенных англо-французских маневров в оккупированной области. Военная демонстрация соединенных англо-французских оккупационных сил представляла собой прелюдию к той демонстрации англо-французского единения, с которой германской делегации пришлось встретиться в самой Женеве.

«Речь Бриана в Женеве, — пишет лондонский корреспондент «Кельнише Цейтунг», — несомненно последовала в полнейшей согласии с английскими государственными людьми. Те, которые следили за развитием франко-британской политики последних месяцев, не сомневаются, что речь Бриана является открытым провозглашением этой новой политики с высоты международной женеvской трибуны». К такому же выводу приходит и женеvский корреспондент «Манчестер Гардиен», утверждающий, что в Женеве «Англия впервые присоединилась к Франции в смысле злоупотребления оккупацией, чтобы заставить Германию пойти на уступки, выходящие за пределы Версальского договора».

Тесный контакт между английской и французской делегациями в Женеве, конечно, не является случайностью и не может быть объяснен чем-либо другим, кроме наличности соглашения, о котором «Манчестер Гардиен» отзывается, как о договоре, «предоставляющем Франции свободу рук на континенте».

Политический смысл англо-французского соглашения заключается в том, что Англия, гарантируя Франции свободу действий в вопросе о континентальной сухопутной армии, тем самым гарантирует и неприкосновенность версальской системы. Наоборот, за эту уступку Великобритания получает сотрудничество французского флота в подготовляемой ею борьбе против САСШ. Трудно преуменьшить политическую важность и последствия подобного соглашения, дающего на ближайший период времени новую установку борющихся сил на арене империализма.

Через девять лет после подписания Версальского договора его здание, серьезно расшатанное в течение этого периода времени и стоявшее в последние годы перед неизбежной реконструкцией, получило благодаря англо-французскому соглашению новую точку опоры. Это соглашение подвело под здание версальской системы тот самый фундамент англо-французской Антанты, на котором первоначально был построен Версальский договор. Таким образом, группировка европейских сил в 1928 году как бы вернулась к положению 1919 г.

Англо-французское соглашение, по поводу которого его авторами произнесено не малое количество пышных фраз, является типичным образчиком военно-политических договоров, имеющих определенно агрессивный характер. Его авторы неоднократно утверждали, что принятие этого соглашения является крупнейшим шагом вперед в деле грядущего разоружения. В настоящий момент можно с полной определенностью вскрыть все лицемерие и фальшь подобных утверждений. Ни в какой мере, ни при каких обстоятельствах англо-французское соглашение не может служить, хотя бы в отдаленной степени, импульсом для сокращения вооружений. Его непосредственным и немедленным результатом явилось внесение в сенат Соединенных Штатов отсроченной ранее программы расширенного строительства новых судов. Все, что мы выше сказали о сущности англо-американских разногласий в деле морских вооружений, с полной ясностью выявляет агрессивный характер этого документа, неизбежно приводящего к войне.

Разговоры, поднявшиеся вокруг вопроса о возможном аннулировании этого соглашения, основаны, в значительной мере, на недоразумении. И Англия и Франция были заранее уверены в отрицательной позиции остальных морских держав к тому соглашению, которое они заключили между собой. Эта отрицательная позиция, однако, в самом соглашении не была обозначена, как повод для расторжения всего соглашения в целом, и, в частности, соглашения о поддержке Англией французского тезиса, касающегося сухопутных вооружений.

Причины, которые толкнули как Англию, так и Францию на возрождение Антанты, значительно важнее, чем специальный вопрос о системе ограничения строительства морских судов. Вряд ли можно сомневаться в том, что никакая система ограничения морских вооружений не может быть принята морскими державами. Слишком различны их интересы и слишком велика взаимная борьба для того, чтобы можно было рассчитывать на какое-либо соглашение. Бешеная горячка вооружений будет продолжаться и впредь. В этом смысле англо-французское соглашение явилось новым импульсом для дела вооружения.

Что же толкнуло Англию и Францию в объятия друг к другу?

Во имя чего английское правительство согласилось предоставить Франции возможность вырасти с течением времени в «смертельную опасность» для Англии стать решающей военно-сухопутной силой Европы?

За последние пять лет английская политика на континенте Европы прошла через три фазиса, изменявшие каждый раз формы влияния Англии на континент. Первый фазис относится к тому моменту, когда англо-французская конференция декабря 1922 года—января 1923 года, на которой обсуждался вопрос об установлении репарационных обязательств в Германии, закончилась провалом. Попытки английского правительства сыграть на франко-германских разногласиях того времени не увенчались успехом. Пуанкаре двинул войска в Рур и Рейнскую область. Французский империализм намеревался разрешить проблемы Европы по собственному усмотрению. Рурский рейд Пуанкаре закончился поражением Франции. Соотношение сил изменилось не в пользу Франции, и Англия вновь отвоевывает

свои прежние позиции в Локарнском договоре, который отвел ей место арбитра, т. е. решающей силы на континенте Европы. Это знаменует собою второй фазис. Французский империализм, предпринимая попытку самостоятельно разрешить проблемы Европы, сознательно разыгрывал западно-европейские и ближне-восточные компенсационные объекты. Пуанкаре систематически пользовался затруднительным положением английского империализма на Ближнем Востоке, в частности, учитывал значение мессульских аппетитов английских нефтяников, чтобы обеспечить себе свободу действий по отношению к Германии. Провал оккупации Рура и кризис французских финансов заставили тогда Пуанкаре отойти. Теперь, после проведения денежной реформы и восстановления французских финансов, Пуанкаре вернулся к осуществлению своего плана завоевания гегемонии в Европе, используя при этом затруднения, испытываемые Англией в Индии, Китае и ряде колоний. Еще в июне 1927 года Анри-де-Жуневель в статье, помещенной в «Новой Цюрихской Газете», писал: «Мы (Франция) напрасно пытались доказать Англии, что ее политика равновесия устарела и что мы находимся в таком периоде континентальной политики, когда Англия раз'единением европейского континента ослабляет самое себя, ибо она разрушает базу, на которую должна опереться, чтобы защитить свои обнаженные позиции. В течение многих лет Англия посвящала Азии больше внимания, чем Европе, полагая, что ее, Англии, судьба зависит от сохранения господства в Индии. Англия при этом упускает из виду, что Европа также лежит на путях, ведущих к Индии».

То, что писал столь видный французский политик в 1927 году, легло теперь в основу новой политической комбинации нового обмена западно-европейских и восточных объектов компенсации. При помощи англо-французского соглашения 1928 г. Пуанкаре вернул утерянные им в 1924 году позиции, а Англии пришлось отказаться от положения решающей в Европе силы, положения, завоеванного в период Локарно. Это и является третьим из указанных нами фазисов.

Выше мы отметили, что победе Пуанкаре способствовали английские затруднения в колониях. Проблема колоний в аспекте английской политики отнюдь не исчерпывается систематическим ростом национально-революционного движения, грозящего самому существованию английского владычества. В этой части заботы английской дипломатии направлены на борьбу с национально-революционным движением, равно как и на борьбу с СССР, в лице которого Англия видит «возбудителя и оплот национальной революции на Востоке». Вторая часть колониальной проблемы для Англии заключается в систематическом росте американского империализма, простирающего свои щупальца в самое сердце английских колониальных владений. Последние акты американской политики по отношению к нанкинскому правительству, вынудившие известный поворот и в политике Англии по отношению к Китаю, в такой же мере болезненно ощущаются английской дипломатией, как и устремление САСШ в Южную Америку, Африку и даже Индию. Таким образом, в глазах английской дипломатии борьба за сохранение колониальной империи превращается в одновременную борьбу на два фронта: против СССР, с одной стороны, и САСШ—с другой. Эта борьба имеет в ближайший период для Англии

первостепенное значение, ибо ее объектом является целостность современной Британской империи. Перед лицом колониальных затруднений, в том широком смысле этого слова, в котором мы говорили выше, Англия и решила отказаться от роли арбитра в европейских делах и уступила свое место Франции.

Политический сговор между Англией и Францией вызвал озабоченность дипломатии ряда европейских стран и толкнул ее на целый ряд шагов по прощупыванию новых политических комбинаций. Так, итальянская печать, несомненно отражающая настроение господствующих кругов Италии, усматривает в англо-французском соглашении угрозу для Италии и ведет в этом направлении решительную разоблачительную кампанию. Эта кампания дала, в свою очередь, основание для румынской печати заняться вопросом о возможных последствиях для Румынии в случае перехода Италии в лагерь противников англо-французского альянса. Переговоры, которые вел Пилсудский в Румынии, равно как и политическое турне греческого премьер-министра Венизелоса, отражают также сдвиги, которые произошли в результате англо-французского соглашения. Фактом этого соглашения развязывается целый ряд центробежных сил. Международное положение за последнее время было настолько шатким и неустойчивым, что камень, брошенный со стороны Англии и Франции, будет еще долгое время развивать все новые и новые колебания политической почвы.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

Д. ГОРБОВ. Оправдание зависти. — 2. К. ЗЕЛИНСКИЙ. Переходник (об Эдуарде Багрицком). — 3. Б. СКВОРЦОВ. Опустошенная душа. — 4. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Листки из блокнота. — 5. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. Кафедра халтуры. 6. Г. РЫКЛИН — Деньги пишут. — 7. Б. ПЕСИС. Французские писатели и Америка. — 8. В. АРСЕНЬЕВ. В тундре. — 9. А. МАРИНСКИЙ. Поповщина и сектацтво. — 10. Г. ГАУЗНЕР. Гинчвишский лес.

1. ОПРАВДАНИЕ ЗАВИСТИ

Д. Горбов

«Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:

— Как мне приятно жить... та-ра! та-ра!.. мой кишечник упруг... ра-та-га-та-ра-ри... правильно движутся во мне соки... ра-ти-та-ду-да-та... сокращайся кишка, сокращайся... трам-ба-ба-бум!

...В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.

...Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, — пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же матовости пах видел я у антилопы самца... и т. д.

Кто этот приятный мужчина? Жирный нэпман, накануне счастливо избежавший Нарымского края и просну-

вшийся под радостным впечатлением удачи? Инженер-шахтинец, затопивший еще одну шахту и получивший за это крупный куш от «хозяев» с многозначительным обещанием еще больших благ — «в счастливом будущем», «после того как»? Может быть, перед нами утро английского министра внутренних дел, после удачного покушения его агентов на советского представителя? Или это один из американских некоронованных королей ликует по поводу того, что удачным биржевым маневром ему удалось сломить своих конкурентов и попутно зажать в тиски еще одну-другую тысячу рабочих?

Впрочем, все это — праздные вопросы. Раньше, чем задавать их, не лучше ли дочитать до конца. Тогда избегаешь, по крайней мере, обвинений в отсутствии литературного вкуса. А что, если автор докажет, что его герой не только не американский миллиардер и не английский министр, но даже не благонамеренный советский нэпман и не скромный шахтинский труженик на ниве вредительства? Каково будет положение критика, столь торопливого в своих выводах?

Итак, переворачиваем страницу. О, ужас! Самые зловещие предчувствия сбылись.

«Один нарком отозвался о нем с высокой похвалой: «Андрей Бабичев — один из замечательных людей государства».

Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он — великий колбасник, кондитер и повар».

Боже мой! «Нарком отозвался», «пост директора треста». А у нас-то: «напман», «шахтинец», «английский миджстр», «американский миллиардер». Вот что называется попасть впросак! Ну и дали же мы маху! Что скажет о нас нарком: ведь это не только непростительная критическая оплошность. О, если бы все дело было в этом! Нет, мы оскорбили необоснованным подозрением «одного из замечательных людей государства». Нам нет прощения.

В этих крайних обстоятельствах решаемся, однако, пристальней всмотреться в образ замечательного человека государства. Может быть, в нем найдутся черты, хоть отчасти объясняющие нашу ошибку. А тем самым и доля вины с нас снимется.

«Он обжора... Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши... Он заведует всем, что касается жранья. Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил «Четвертак».

Итак, — карикатура, дружеский шарж. Вот где таилась наша погибель. Мы пали жертвой мистификации. Автор дал сатирическое изображение коммуниста под видом «колбасника, кондитера, повара, обжоры». А мы, не заметив иронического тона, приняли всерьез и музыкальные упражнения в клозете, и

замшевый «пах производителя», и «шесть пудов весу», и «трясущиеся груди» и т. д., и т. д., и т. д. Поторопившись сделать из всех этих внешних черт героя умозаключение о его внутреннем облике, мы решили сгоряча, что перед нами «классово чуждый элемент», а быть может, и «гидра контрреволюции». Между тем как мы имеем дело всего-на-всего с фигурой карикатурной, тонким памфлетом на коммуниста, выдержанном в приснопамятном стиле И. Эренбурга.

Признаемся, немного отлегло от сердца. За такую ошибку нарком едва ли уж очень заругает нас. Промах, конечно. И притом — нечего греха таить — довольно конфузный. Но хорош и «замечательный человек государства» — тип явно памфлетного, «х у л и о - хуренитного» пошиба, как бы созданный специально для того, чтобы вводить в заблуждение ни в чем неповинных и во всяком случае благонамеренных советских критиков. Недурен и автор, на одиннадцатом году



Ю. Олеша

революции позволяющий себе...

Впрочем, об авторе речь особая. Теперь, когда нам удалось отвести от себя тяжкую вину и разоблачить мистификацию, жертвой когорой мы пали, нам становится доступной роскошь справедливого отношения к автору.

Итак, будем великодушны (иначе говоря, воздержимся от того, чтобы возводить напраслину). Автор неповинен в контрреволюционном желании высмеять большевиков. Если у него вышел памфлет, так это нечаянно. Намерения его до очевидности благие. На своего «замечательного человека государства» он потратил не мало искусства, подлинного утонченного мастерства. Он заставил его торжествовать над врагами. Через всю повесть уверенной рукой провел он своего «нового

человека» к апофеозу. С этой стороны все обстоит благополучно.

Но с автором случилась другая беда. Вознеся своего «нового человека» над посрамленными упадочниками, он его обезглавил. Прочтите повесть Олеша до конца. Вы убедитесь, что Андрей Бабичев гильотинирован. У него есть пах, есть кишечник и шесть пудов весу. Лица нет. Это — по части наружности. Что же касается внутреннего мира, последний, по Олеше, исчерпывается у «нового человека» двумя чертами: хорошим аппетитом и грубоватым благодушием к окружающим — тем, что лучше всего определяется забытым, но выразительным словом: жовиальность.

Такой вид в понимании автора «зависти» принимает новый гуманизм, возникающий в человечестве вместе с ростками нового социалистического общества. Увы, это — гильотинированный, обезглавленный, обезличенный гуманизм!

Олеша сам чувствует это. К своему шестипудовому (в буквальном и переносном смысле) герою, он спешит прибавить тот небольшой придаток, который один из грузного тела может сделать человека: он спешит прилепить ему голову.

Андрей Бабичев — «обжора, кондитер, повар» и т. д., и т. п. — во-первых, строит «Четвертак», во-вторых, усыновляет подростка. Это — две попытки раскрыть его внутренний мир, две вылазки в «тайное тайных» его личности, два приема, посредством которых автор хочет вырвать его из мира вещей (ибо все, что мы знаем до сих пор об Андрее Бабичеве, характеризует его как физический предмет, окруженный другими предметами, — не более) и перевести в категорию личности. Одновременно — это опыт его социальной характеристики, ибо нельзя же видеть таковую в справке автора о том, что «нарком отозвался». Социальная физиономия действующего лица может быть закреплена лишь путем внутренней его характеристики. Ведь именно отсутствие последней, при наличии выпуклой вещности картины, привело нас к тому, что утро Андрея Бабичева толкнуло нас к пониманию его образа, обратному по отношению к замыслу автора.

Что же такое «Четвертак»? «Четвертак» — будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак. Объявлена война кухням — такое объяснение получает идея Андрея Бабичева в повести. Спору нет, она ценная. Она, как говорится, идет в ногу с эпохой. И о чем же, кажется, спорить? Разве в этом не проявляет себя Андрей Бабичев подлинным революционером и строителем, недвуммысленным борцом за новый быт?

Но вот у Маяковского есть любопытные строки:

Нас
дело
должно
пронизать насквозь.
Скуленья на мелочность высмей.
Сейчас
коммуне
ценнее гвоздь,
Чем тезисы о коммунизме.

Гвозди нужны нам. И каждый лишний гвоздь — большое завоевание. Это верно. Верно и то, что снизить цену за обед в общественной столовой до четвертака — еще большее достижение. Но вот как быть с «тезисами о коммунизме»? Голый тезис, не подкрепленный действием, самодовольно произносимый филистерами от революции, есть словесный блуд, не более. Это опять-таки бесспорно. И гвоздь и обед за четвертак дороже такого тезиса... Хотя — дороже ли в самом деле? Если голый тезис — пустой, лишенный содержания — не только бесполезен, но и вреден (он усыпляет внимание к действительности и волю к борьбе), то ведь и гвоздь и четвертаковый обед, не освещенные каким-то другим смыслом, могут оказаться злыми врагами: ведь производство гвоздей недурно поставлено и западной индустрией, «четвертаковые» обеды с приложением прочих «благ» — сильное оружие в руках Форда. Нельзя делать фетиш из «тезиса». Но нельзя обожествлять и обед. И то и другое в равной мере «идолопоклонство». Где же «истинная вера»? Она — в неразрывном слиянии «тезиса» с

«обедом», «вещи» с «духом». Именно в этом слиянии они даются жизнью. И искусство не может выйти из ее законов.

А «лефовец» Маяковский и «конструктивист» Олеша¹⁾ в искусстве, своем хотят нарушить эти законы. Стремясь нарушить законы жизни, они нарушают законы искусства. Они вещи, фетишисты, идолопоклонники. Для них начало «тезиса» есть мертвое начало, а жива только «вещь». Но в «тезисе» жизни не меньше, чем в «обеде». Ибо тезис, реальный, живой «тезис о коммунизме» — это горячая мечта и страстная вера, это сгусток боли и крови, нечто, насыщенное горячим человеческим дыханием. Таковы были все «тезисы», порожденные человечеством во все эпохи его истории. И наша эпоха не составляет исключения: если она об обеде говорит больше, чем это делали другие эпохи, так это отнюдь не потому, чтобы обед был ей дороже всего, а только потому, что при нашей отсталости именно общедоступный обед является одним из ближайших этапов к осуществлению «тезиса». Сам по себе он никакого значения не имеет.

Ничего этого не видит Андрей Бабичев в своем «Четвертаке». Его антагонист Кавалеров удачно восстанавливает речь, которую должен был бы произнести Бабичев к домашним хозяйкам: «Женщины! мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши от галдежа, мы заставим картошку волшебным образом сбрасывать с себя шкуру, мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыпем курганами, глетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите, мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как

ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах!».

Не ясно ли: это — речь гастронома-эстета, знающего толк в своем деле спеца, увлеченного перспективой фабричного, массового, стандартизированного производства, и с высоты своей квалификации снисходительно благодетельствующего жалких кустарей, ограниченных узкими стенами своей «мастерской». Все это прекрасно. Однако абсолютно не видно, какова направленность вещного, количественного пафоса этой речи, каково внутреннее содержание раскрывшейся в этих словах квалификации: социалистическая природа этих явлений или, быть может, капиталистическая? Во всей речи нет оформляющей точки, последнего штриха, решающего для характеристики ее внутреннего содержания.

Этого последнего штриха, этой определяющей точки нет и во всем образе Андрея Бабичева, о котором если и отозвался с высокой похвалой нарком, то едва ли не вследствие перегрузки, иногда мешающей внимательно взглянуться в человека. К тому же наркому сделать это было тем труднее, что Олеша постарался снабдить своего героя хорошим мандатом: каторгой и ранением при побегах, а также членством в об-стве политкаторжан. Все это поневоле приходится верить на слово, ибо ничего подкрепляющего эти обстоятельства биографии Бабичева в его внутреннем мире нет. И нам остается только с удовлетворением отметить такт Олеша, который заставил его удержаться от награждения своего положительного человека орденом Красного Знамени, — прием, соблазвивший не одного из наших «стопроцентных».

Совершенно так же, т. е. как спец, занятый своим делом и равнодушный к идее, которой он служит, раскрывается «замечательный человек государства» и в сцене с изготовленной по его рецепту какой-то замечательной колбасой.

Олеша, этот «новый Тьеполо», устами Кавалерова дает превосходную по своей яркости картину: «Пир у хозяйственника». Он сообщает нам, недо-

¹⁾ Называя Олешу конструктивистом, мы имеем в виду не формальную принадлежность его к той или иной группировке, а исключительно характер его работы как художника.

умевающим, о чем с таким вдохновением говорит написанный им, Олешей, «тучный гигант в синих подтяжках», держа на вилке кусок колбасы, который не может взять в рот, т. к. слишком увлечен своей речью. Образ мыслей, круг интересов «тучного гиганта» дан в предельно-отчетливом и замкнутом очерке:

«Сосисок у нас не умеют делать, — говорил гигант в синих подтяжках. — Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы — еврей, и ничего не понимаете в сосисках, — вам нравится кошерное худое мясо... У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добыюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски».

И мы верим этому: да, Андрей Бабичев добьется этого, он может сделать такие сосиски. Ибо он — из породы Сваакеров (помните «Трансвааль» Федина?), которые «все могут». Разница лишь в том, что Сваакер дан Фединым, как величина с отчетливым отрицательным знаком: приобретатель, собственник, хищник. Фигура его наполнена поэтою вполне реальным содержанием. Это — человеческий тип. Олеша задумал своего Бабичева, как фигуру положительную — коммуниста, рационализатора и строителя, — но не смог воплотить свое намерение в жизнь, забыл поставить положительный знак перед этой величиной, ошибочно полагая, что в искусстве, как и в математике, достаточно условиться, что число без знака есть число со знаком плюс, и им можно оперировать, как с числом положительным. Но искусство не терпит условностей. Оно хочет, чтобы все в нем было конкретным или с необходимостью вытекало из конкретного, чтобы плюсы и минусы в нашей оценке образов были неизбежно predeterminedены содержанием этих образов. И если этого нет, оно дает нам нейтральный (т. е. незавершенный, непроявленный) образ — не тип человека, а стандарт его. Таким стандартом, лишенным содержания и готовым принять от нас любое, одинаково необязательное, получился у Олеси Андрей Бабичев.

Образ коммуниста-строителя у Олеси снижен. От схемы «добродетельных коммунистов», которыми нас пичкали, к некоей конкретности. Да, Бабичев конкретен весьма. Но он конкретен вещной конкретностью — не конкретностью личности. В плане личном он — схема. Также вещно его строительство, его социализм: это социализм потребления, — не производства, не создания новых отношений, но распределения новых благ. К Андрею Бабичеву можно применить его собственное выражение о рекламном плакате: «должен быть глухой синий цвет — химический, а не романтический». Андрей Бабичев дан в плакатном химическом тоне, отнюдь не романтически. И «Четвертак» как раз — мечта, изображенная на плакате «химически», мечта, окрашенная в определенную краску, которая заменяет ей цвет. Эту мечту можно видеть и осязать, это верно. Поэтому она лучше схемы, жизненней, по-своему ценней. Но эта мечта не звучит: цвет звучен, а краска — она глухая. Поэтому мечта Бабичева, которая своей конкретностью лучше схемы, богаче ее, в то же время неизмеримо ниже, бедней жизни, в которой все подлинное, вырастая из «химии», очень явственно перерастает ее. Ведь жизнь — это химия, однако, отнюдь не глухая, но которая «романтически» звучит.

Введение мотива о строительстве («Четвертак», «колбаса») не выводит образ Андрея Бабичева из круга «вещных» отношений, «духовно», т. е. социально разомкнутых, неосмысленных. Эта попытка прикрепить к телу «замечательного человека государства» голову, дать ему лик и тем превратить его в личность, оказалась неудачной.

Олеша делает вторую попытку. Он рассказывает героическую (и в достаточной мере сентиментальную) историю о том, как Андрей Бабичев, будучи комиссаром на фронте, попал к белым, но был спасен малолетним сыном рабочего, и как впоследствии «замечательный человек государства» взял ребенка к себе на воспитание, видя в нем росток «нового человека». Этот рассказ о знаменитом рождественском

мальчишке (правда, красном рожденном мальчишке, но разве это меняет дело?) введен Олешей с большим искусством. Он задвинут в дальний угол повести, в полумрак ее пред-истории. Писатель чувствует, видимо, всю невозможность вывести его на авансцену: при ярком свете рампы даже освеженный грим выдал бы штампованность образа. Поэтому вся история оставлена в тени и тщательно замаскирована законченным образом Володи Макарова, который дан уже юношей-комсомольцем и спортсменом. Но ведь Володя Макаров введен в повесть не для того, чтобы жить в ней сам по себе: он мыслится, прежде всего, как дополняющий образ, назначение которого расшифровать Андрея Бабичева, заставив его раскрыться до конца в чувстве личного характера. Поэтому сентиментальность, как движущая сила, втянувшая историю Володи Макарова в повесть и смятая автором перед ее введением, не могла, в конце концов, не раскрыться.

Неудачливый брат Андрея, Иван Бабичев, желая унижить «большого человека»; пытается изобразить дело так, будто последний любит Володю вовсе не за то, что Володя — «новый человек»: «Просто стареешь ты, Андрюша. И просто тебе сын нужен. И просто отцовские ты питаешь чувства. Семья — она вечна, Андрей» и т. д... Конечно, Иван ошибается (или сознательно лжет). Если б в Андрее Бабичеве говорило это чувство, он стал бы живым человеком, и его образ раскрылся бы для нас, хотя, может быть, и не той стороной, которой хочет раскрыть его автор. Чувство, на котором хочет поймать Иван брата — естественное человеческое чувство. Казалось бы, оно приемлемо со всех точек зрения: и с буржуазной, и с мешанской, и с коммунистической (нельзя же и теперь представлять себе коммунистов «геометрическими» людьми, «кожаными куртками», аскетами, отрицающими семью и т. д., и т. п., — ведь это и значит как раз повторять о коммунистах болтовню обывателей и мешан). Но в глазах Олеси это естественное чувство может скомпрометировать Ан-

дрея Бабичева, снизить рост этого «большого человека» (или «тучного гиганта в синих подтяжках»). Почему? Да дело в том, что это чувство недостаточно «химическое», т. е. оно в плане простой человеческой «романтики», а не в плане вещной. «химической» романтики «нового человека», отпрепарированной по последней «конструктивистской» моде. Ибо конструктивист Олеша мыслит коммуниста вне всего этого, т. е. мыслит его так же, как мешане, с той лишь разницей, что те отрицают, а он... похваливает. Там, где мешане говорят: «Коммунисты — машина, им недоступно человеческое», Олеша поправляет: «Да, они машина, поэтому они выше обыкновенных людей, которые суть мешане, они — «новые люди».

Олеша спешит создать особую мотивировку для усыновления Андреем Бабичевым приемыша — мотивировку, которая давала бы Бабичеву лицо и притом совершенно новое, не похожее на то, которое свойственно людям «старого мира», привязанным к «своим подушкам».

«А может быть, Иван прав? — задает себе вопрос Андрей Бабичев. — Может быть, я просто обыкновенный обыватель, и семейное живет во мне? Потому ли он дорог мне, что с детских лет живёт со мною, я просто привык к нему, полюбил, как сына?».

И немедленно эта мотивировка — столь естественная, человеческая — отвергается, как слишком «простая»:

«Только ли потому? Так ли просто?.. Я выгоню его, если обманусь в нем, если он не новый, не совсем отличный от меня, потому что я еще стою по брюхо в старом и уже не вылезу».

Эти слова особенно значительны потому, что здесь единственный раз Андрей Бабичев сам дает свою характеристику, так что мы ничего не можем отнести за счет ненависти к нему Кавалерова, устами которого давались прежние характеристики Андрея Бабичева. И вот в этом интимном раздумьи, долженствующем раскрыть образ Андрея Бабичева, сделать этот образ личностью, образом не только внешним, но и внутренним, «большой

человек» выходит из «химического» вещного плана. Но попадает ли он тем самым в план подлинно человеческий? Нет, он всего-на-всего погружается в дебри отвлеченной сентиментальной реторики. Оказывается, Володя Макаров дорог Андрею Бабичеву не в силу обычной человеческой привязанности (это было бы мешанством). Андрей Бабичев несогласен принять его как личность, с возможными недостатками. Андрей Бабичев готов сейчас же без всякого сожаления выгнать Володю, если тот не оправдает задачи, на него возложенной: он должен служить Андрею Бабичеву наглядным образцом «нового человека».

«Жизнь нового человечества далека, — рассуждает Андрей Бабичев, — я верю в нее. И мне посчастливилось. Вот он заснул так близко от меня, прекрасный мой новый мир» (имеется в виду мирно спящий на диване Володя. Д. Г.). «Новый мир живет в моем доме, — восклицает «большой человек». — Я души в нем не чаю», — настойчиво уверяет он. Кого? Не себя ли? Читателя убедить ему не удается. Читателю ясно: повторяется история с новым сортом колбасы, который изобретен Бабичевым. Окажись Володя недостаточно новым, его немедленно выбросят. Разве не так же поступили бы и с колбасой, не удовлетвори она требованиям изобретателя?

До этого, впрочем, дело не доходит. Колбаса вышла удачно, удачно сделан и «новый человек» — Володя Макаров. Да и может ли быть иначе? Андрей Бабичев из породы тех, которые не ошибаются, он из породы Сваакеров, которые «все могут». Володя — ужасно «новый человек», он не уступает ни в чем качеству Бабичевской колбасы. Судите сами: юноша терпеть не может телят, зато, как полагается, обожает машины: «Не люблю я этих самых телят, — заявляет он в письме к своему приемному отцу. — Я — человек-машина. Не узнаешь ты меня, я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться... Хочу стать гордым от работы, гордым потому, что работаю. Чтобы быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что

не работа! Зависть у меня к машине — вот оно что!.. Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрови, — чтобы ни цифирки лишней»...

В своем стремлении к утилитаризму Володя превосходит самого Бабичева. В этом смысле он еще более «новый человек». Но разница лишь количественная. А качественно между ними никакой разницы нет. В лице Володи перед нами Андрей Бабичев в молодости, а поэтому более стремительный и экстремистский. Но внутренняя осмысляющая направленность его уклона в практицизм столь же неясна, как и у Андрея Бабичева. И тут у нас нет никаких оснований видеть что-либо иное, кроме все той же «химической» психологии дельчества без никаких «тезисов о коммунизме».

Такая прямолинейность внутренним навыкам, столь законченная поглощенность «работой» и «машиной», такая полнота вещного идолопоклонства не могут не казаться малоправдоподобными. Олеша не может не понимать этого. Он чувствует потребность снизить своих «энергично фукцирующих» героев, снабдить их некоторой долей обычных человеческих слабостей. И вот характерно: каковы эти слабости? Это холодный и в то же время слащавый сентиментализм. Андрей Бабичев подбирает на улице и привозит к себе пьяницу, выброшенного из пивной. Дело в том, что при виде этого пьяницы у него мелькнула мысль об отсутствующем Володе: а ну, как с ним происходит в данный момент нечто подобное? Это сближение образа Володи с образом совершенно обезличенного алкоголем случайного пропойцы (ведь это потом он на глазах у Бабичева становится личностью, Кавалеровым) настолько неестественно и натянута-сентиментально, что даже Володя, узнав о поступке Бабичева, заявляет, что ему стало смешно и непонятно: «Словно не ты это, а Иван Петрович». У читателя этот эпизод производит на первых порах приблизительно то же впечатление. Но объяснение ближе, чем кажется на первый взгляд: голодное чувство не может привести ни к чему, кроме как к сенти-

ментальным поступкам—одинаково ненужным ни благодетелю, ни благодетельствуемому.

У Володи есть тоже слабость. Мы имеем в виду, разумеется, не его увлечение футболом. Последнее у него целиком в плане «химическом»: «индустриальному человеку», представителю «нового поколения», как аттестует себя сам Володя Макаров, футбол нужен, как тренировка. Это для него не просто игра, а игра-упражнение. Но у Володи есть невеста. И вот по отношению к ней он позволяет себе маленькую роскошь. Как подобает «дельцу американской складки», он воздерживается и здесь от проявления особых чувств: это ведь телячий нежности, а Володя, как мы знаем, терпеть не может телят. Он женится на девушке ровно через четыре года. Но маленькую поблажку он себе делает; он намечает день и место для первого поцелуя: «Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой «Четвертак». Это ли не сентиментальная бургерская пошлость, перелицованная на «химический», делаячески-конструктивный манер?

Таковы центральный образ повести—новый человек Андрей Бабичев и его продолжение—еще более «новый» Володя Макаров.

Но полно, действительно ли эти образы в «Зависти» центральны? За ними ли последнее, решающее слово? Все говорит как-будто за то, что—да, это люди будущего, победители сегодняшнего и властители завтрашнего дня, и что главной задачей художника было создание этих положительных образов,—создание и возвеличение их и коллективистической психологии в их лице. Недаром ведь их антагонисты—Николай Кавалеров и Иван Бабичев—обнаруживают себя отребьями человечества, завсегдатаями пивных (а уж это, по нашим условиям,—недвуслысленный признак «есенинщины» и прочего упадочничества). Недаром скатываются они от одного унижения к другому, и, наконец, оскорбительно награждаются совместным обладанием отвратительной мешанкой, вдовой Проколович. И это в то время, как Андрей Бабичев и Володя Макаров увенчаны тем, что с ними Валя, это новое выра-

жение чистоты и женственности. Смысл всей картины как-будто ясен и не поддается кривотолкам: старый мир исходит завистью к новому, но остается посрамленным. Победа нового—тема повести. Так ее понимает сам автор, так ее поняли и критики.

Но так ли это на самом деле? Ведь, не говоря уже о толкованиях критиков, даже представление автора о своем произведении далеко не всегда обязательно. Художественное произведение говорит ведь само за себя и очень часто вовсе не то, чего хочет автор. Поэтому необходимо к нему прислушаться.

«Зависть» Олеси—картинка с двойным содержанием. Она как бы написана на стекле. Положишь на темную поверхность—на ней один рисунок, сделанный в глухих, «химических» тонах. Посмотришь на свет—получается нечто совсем иное и едва ли не обратное по смыслу. И слишком много в первом случае есть такого, что наталкивает на необходимость поднять картинку и рассмотреть ее на свет.

Прежде всего, это переносное убожество образов «нового» в их внутреннем содержании, убожество, находящееся в обратном отношении к внешней пластичности этих образов. Неужели Олеса—это действительно новый Тьеполо, искренне восхищающийся своими «тучными гигантами», «Четвертаками» и комсомольцами, впервые целующимися с возлюбленной в день открытия общественной столовой? Неужели все это—буквально и всерьез?

Далее, зачем понадобилось «повому Тьеполо» делать Ивана Бабичева, этого великого провокатора, шарлатана и «скромного советского фокусника», этого Мефистофеля в обличье опустившегося завсегдатая московских пивных,—зачем понадобилось делать его родным братом Андрея Бабичева—рационализатора, вещника, коммуниста, строителя? Родным братом Андрея Бабичева и отцом Вали, той самой Вали, образ которой, внутренне не развернутый, служит увенчанием Володи Макарова и Андрея Бабичева. Неужели это сделано для того, чтобы на наглядном примере опровергнуть значение кровного родства и показать, что в новом мире

родство будет считаться не по происхождению, а по общественной ориентации? Конечно, можно толковать и так. Но не будет ли это значить, что мы (быть может, вместе с автором) попадаем в ироническую ловушку, которую он приготовил для нас или которую ему самому расставило искусство?

Ибо конфликт взят Олешей (может быть, помимо его собственной воли, — это не существенно; намерение автора не всегда принимает участие в значительности его произведения) слишком глубоко, чтобы мы могли понимать детали его повести столь упрощенно натуралистически. Да и стоит ли опровергать значение родства по крови, мобилизуя те художественные средства, которые вводит Олеша? Не значит ли это стрелять из пушек по воробьям? Ведь мысль эта — простой трюизм, и надо вложить в него какое-то новое содержание, чтобы он был воспринят как факт искусства.

И Олеша делает это (или его искусство делает это за него). Дело в том, что Олеша отнюдь не Тьеполо. В его художническом облике (как он раскрывается в «Зависти», рассказах «Лиомпа» и «Любовь») нет натуралистических тонов. Как у подлинного художника, у него нет вещей, но очень много искусного и тонкого «обыгрывания вещей». Ведь очень часто художник в тот самый момент, когда иной читатель, поняв его буквально, тянется к вещи, изображенной с натуралистической выразительностью, намереваясь схватить ее руками, как предмет среди других, отдергивает самый предмет и оставляет читателю одно впечатление игры с вещью, впечатление «обыгрывания вещей». Именно это имеем мы у «вещника» и «конструктивиста» Олеша, который на деле (пусть даже помимо своей воли) — парадоксальный вещник, иронический конструктивист. Именно это происходит в «Зависти» с тою вещью, которой приданы человеческие черты и дано человеческое имя Андрея Петровича Бабичева. «Тучный гигант» дается Олешей не всерьез, не буквально. Во всяком случае, не настолько всерьез и буквально, как это хотелось бы иным, взыскующим нового человека в искусстве и напирющим на него со стороны

наивного реализма. В этом образе, столь искусно «обыгранном» (чего стоят его «омовения» или «жранье»), столько же утверждения, сколько и отрицания. Художник, давая нам в руку этот «предмет», сейчас же отбирает его.

Повторяется то, что произошло с умирающим Пономаревым и только вступающим в жизнь мальчиком из рассказа Олеша «Лиомпа». Вещи живут вокруг них как бы самостоятельной жизнью. Они исчезают вокруг умирающего, выпадают из его бытия одна за другой и, наоборот, в возрастающем количестве врываются они в бытие ребенка. В сознании обоих бытие вещей совершенно самостоятельно: вещи уходят и приходят по своей воле. Но такая самостоятельность вещей — лишь обратная сторона их относительности: ведь ею только подчеркивается значение вещей, как знаков внутреннего мира личности. Та же проблема (она у Олеша центральная, волнующая писателя проблема — это ясно из всех трех написанных им до сих пор произведений) в рассказе «Любовь». «Синие груши», которыми вынужден лакомиться дальтоник, и «полеты на крыльях любви», совершаемые «молодым марксистом» и «членом партии» Шуваловым — это результат своеобразной «теории относительности» в нашем восприятии внешнего мира, не опрокидываемой, а напротив, подтверждаемой обостренной четкостью этих восприятий, которая отливается в форму конкретности вещей.

Олеша хотел бы вырваться из мира относительности. Он ищет путей к тому, чтобы вещи стали на свои места. Его бунт против власти вещей над сознанием человека искренен. Его воля протестует против Кавалерова, пошедшего по пути признания власти вещей над собой, против дальтоника, смирившегося перед синими грушами, против распада вещного мира, переживаемого Пономаревым и т. д. Он предает Кавалерова позору, бросая его на постель к Аничке Прокопович, он посылает дальтонику ироническое: «Идите, покушайте синих груш», он приговаривает Пономарева к гибели за его бессилие над вещами, за его отданность во власть вещей. Он ищет зрячего человека,

знающего власть над вещами, знающего место вещам и предел значения их. Ему, быть может, действительно кажется, что такого человека он нашел в лице Андрея Бабичева, которого вещи любят и слушаются. Но он обманут. Вся сила Андрея Бабичева над вещами сводится к тому, что он, «вещник», — безликая вещь среди других вещей.

Ирония художника в том, что «властитель» над вещами у него без головы. А ведь только головой возвышается человек над вещами, которые все лишены этого человеческого признака. Где же голова Андрея Бабичева? Она... у Николая Кавалерова, у того самого Николая Кавалерова, которого «не любят вещи» и который за эту нелюбовь вещей к нему теряет все свое достоинство и погружается на дно мешанства. В этом основной парадокс, положенный Олешей, быть может, против воли в основу «Зависти». В этом — второе содержание картинки, видимое только на свет. Второе и главное.

Посмотрим картинку на свет.

«Да, она стояла передо мной, — да, сперва по-своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо, по цвету — от загара и по форме — скулами, округлыми, суживающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены». Так говорит Николай Кавалеров. Он говорит по-своему. Он говорит Вале: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев». «Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилленталя с детских лет звучало для меня чудесно... Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации». «Я читал некогда «Атмосферу» Камилла Фламариона (какое планетное имя Фламарион — это сама звезда!»).

Кавалеров предельно чуток к звучанию слов. Но слова не бросаются на ветер: слово — смысл вещи; душа ве-

щи — ее имя. Кавалеров чуток к именам вещей, к душам их. Таково ощущение языка у Кавалерова. Таков язык Кавалерова. И значит таков Кавалеров (ибо человек — это его язык).

«В его восприятии дворику было тесно. Вся окрестность, потянувшаяся за высокой точкой наблюдения, взгромоздилась над двориком. Он лежал, как половик в комнате, полной модели. Чужие крыши открывали Кавалерову свои тайны: он увидел флюгера в натуральную величину, слуховые окошечки, о которых внизу никто и не подозревает, и навсегда невозвратимый детский мяч, некогда слишком высоко взлетевший и закатившийся под желоб. Строения, обгвожденные антеннами уходили по ступеням от дворика. Головка церкви, свежее выкрашенная суриком, попала в пустой промежуток неба и, казалось, летела до тех пор, пока Кавалеров не поймал ее взлядом. Он видел коромысло трамвайной мачты с тридевяти улицы, и какой-то другой наблюдатель, высунувшийся из далекого окна и что-то нюхавший или евший, покоровшись перспективе, почти опирался на то коромысло.

Так говорит Олеша. Говорит ли он своим языком? Нет, Олеша говорит... языком Кавалерова. Вернее, Олеша и Кавалеров говорят на одном языке. Возьмите кавалеровские образы: цыгана с тазом, который отражает уходящий день, или зеркала, дающего обратную проекцию уличного движения, и сравните это с динамическим описанием обнаженных ног Вали в гимнастических трусах, футбольного состязания и т. д. и т. п. Вы убедитесь, что все это — в одном плане. Если и будет разница, то лишь количественная: в своих смещениях смыслового содержания слов Кавалеров немного более фантастичен, он черпает свои сравнения из более отдаленных рядов, он чуть более откровенно метафоричен, тогда как Олеша осторожней: он стремится дать менее вызывающее, но тем более безошибочно бьющее в цель смещение слов, тогда как Кавалеров дает больше воли своим личным эмоциональным запро-

сам. При всем том подход к слову у обоих совершенно одинаков, и даже характер словесных рядов часто тождественен до невозможности провести разграничение: если можно еще спорить о «ветви, полной цветов и листьев», то цыган с тазом, трамвай, идущий по краю бульвара, как нож по тарту, зеркало на улице, и даже Валя-молния, — во всем этом столько же Кавалерова, сколько и самого Олеша.

«Я не хочу говорить образно, я хочу говорить просто» — заявляет Кавалеров. Но он не может осуществить этого; он обуреваем образным видением мира; поэтому он во власти вещей. Олеша — не Кавалеров, конечно. Он художник, владеющий образным видением мира! Поэтому-то он в силах поселить в нас иллюзию, что язык его — не образный, а что в словах его — просто конкретность мертвых вещей. Но, в конце концов, и он не может обмануть нас, нам ясно: и он силен только образным видением мира, и в его словах конкретность живет не сама по себе, но лишь в подобии, в намеке на нее. Иными словами: Олеша — хочет он этого или не хочет — смотрит на мир глазами Кавалерова. Стремясь взять в руку вещь, он ловит лишь ее имя. Оттого-то фабульно-униженный, переведенный в категорию мещан Кавалеров говорит у него прекрасными, внятыми человеческими словами (ведь человек — это тот же художник: и ему имена дороже вещей), а фабульно возвышенный, возведенный в сан строителя жизни, Андрей Бабичев, в действительности, так страшно снижен: он владеет вещами, имена которых невняты ему; более того, ему невнятно и то, что единственная цель овладения вещным миром для человека — это дать имя вещам и тем самым вобрать их в свой внутренний мир.

Между Андреем Бабичевым и Николаем Кавалеровым пропасть: первый действует в мире вещей, не зная их имени; второй владеет именами вещей, но бессилею воздействовать на вещи, боится вещей. В чем выход? Он, конечно, не в том, чтобы вознести одного над другим, ибо в обоих ведь нет полной правды. Если Кавалеров болен болезнью безволия к действию, то и бо-

лезнь Андрея Бабичева — болезнь незнания и нежелания знать, болезнь слепоты к внутреннему смыслу вещей — не позволяет ему сделаться «новым человеком». Андрей Бабичев, в сущности, ущемлен прошлым не менее Кавалерова. Его деячество так же далеко от того, что нужно завтрашнему дню, как и фантастический идеализм его антагониста. Срыв Кавалерова и Аничке Прокопович не лучше, но и не хуже бабичевских славословий чудесной колбасы.

Но в одном Кавалеров не только не ниже Андрея Бабичева, а несомненно выше (т. е. нравственно, общественно ценнее) его. Нужды нет, что ему выдан паспорт мещанина. Ведь паспорт этот выдан ему произволом художника, как и лартбилет Андрею Бабичеву. На деле образ Кавалерова так же мало буржуазен, как образ Андрея Бабичева — коммунистичен. И это обстоятельство делает как раз Кавалерова центральной фигурой повести (не даром они с Олешей говорят на одном языке, т. е. одинаково мыслят о мире, тогда как подход Андрея Бабичева к вещам — натуралистический, «фламандский» — как нельзя более чужд Олеше по существу, почему образ Андрея Бабичева дан извне, а образ Кавалерова — изнутри) Это обстоятельство заключается в том, что Кавалеров — это лицо, это человек, в муках и борениях завоевывающий себе право на существование под солнцем. Пусть эта борьба, по милости автора, кончается неудачей. Но тот же автор на деле показывает нам, что Кавалеров имеет право на существование по меньшей мере такое же, как и Андрей Бабичев и Володя Макаров — если только не больше. Человек, говорящий языком Кавалерова, так глубоко чувствующий значение слова, имеет право на то, чтобы властвовать над вещами. Он имеет право на эту власть, он только не в силах осуществить ее. От этого история Кавалерова насыщается содержанием подлинной трагедии. Он-то и есть подлинный трагический герой повести, боримый противоречиями, борющийся с ними и, по воле своего автора, ими в конце концов одолеваемый. Оттого-то падение его в лапы вдовы Прокопович, задуманное автором как из-

девка, ощущается как трагическое зрелище растоптания живой, но слабой человеческой личности. Провоцируемые автором на иронию, мы ощущаем совсем другое чувство — человеческую жалость. Дело в том, что автор, давая образ Кавалерова, неосторожно открыл в нем черты, вызывающие наше сочувствие, явно нужные новому миру (зачем, зачем он изобразил этот образ изнутри, ведь этим опрокинул он всю постройку! Правда, иначе поступить он не мог, ведь этот образ для Олеши — единственно органический! Тем хуже для Олеши... или для его постройки!). Как можем мы пройти мимо совершенно очевидной талантливости этого вздорного фантаста, который говорит с нами о вещах нашего мира чудесным, внятным, непосредственным и в то же время изысканным языком, языком подлинного художника... языком Олеши? Как можем мы пройти мимо его своеобразного, — пусть истерически-искаженного в своих проявлениях, но вовсе не такого уж вздорного и социально бесценного бунтарства? Как можем мы отказать в сочувствии, в простом человеческом понимании той боли, которая явственно звучит в его выкриках: «Я получу Валю как приз за все: за унижения, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь»? И может ли после всего этого нравственно удовлетворить нас, предстать в наших глазах простым воздаянием по заслугам та казнь, которую изыскал Кавалеру его автор? Да одно уже то, что Кавалеров не только враждовал против «нового мира», но и жадно тянулся к нему, тянулся вовсе не из корыстных побуждений, но как бы чувствуя, что конфликт слишком глубок и серьезен, чтобы он мог быть разрешен простым отсечением его (Кавалерова), что у него (Кавалерова) тоже есть ценности, без которых «новый мир» не обойдется, уже одно это показывает нам всю невозможность разрешить вопрос простым выставлением Кавалерова за дверь и «анестезированием» половины его лица и даже низведением его из бабичевского чистилища в ад вдовы Прокопович, как бы внешне убедительно это низведение ни выглядело.

Нет, слишком многое в образе Кавалерова говорит о том, что, столкнусь он не с тучным гигантом, а с подлинным коммунистом-общественником, он не кончил бы вдовой Прокопович, не попался бы в лапы к Ивану Бабичеву.

«Не так все просто» — готовы мы сказать Андрею Бабичеву вслед за Кавалеровым.

«Послушайте вы, тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев, послушайте, — да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее... — говорит Кавалеров своему благодетелю. — Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонятное либо смешно, либо страшно». Эти слова оправдываются: «тучный гигант», неудачно исполняющий у Олеши роль «нового человека-коммуниста», в действительности, не только смеется над Кавалеровым и его руководителем Иваном Бабичевым, как и подобает подлинному мещанину. Он еще и боится сложности вопроса, не замечая, что этим самым он ставит под сомнение цельность своей собственной «новизны»: «Кто он — Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!» «Против кого ты воюешь, негодяй?» — кричит Андрей Ивану. — Убирайся отсюда. Я велю тебя арестовать а-а-а-а!». «Расстрелять! Арестовать!» — эти выкрики «тучного гиганта», обычно столь уравновешенного, выдают все его беспокойство. Дело в том, что позиция Ивана, обвиняющего людей типа Андрея Бабичева в стремлении к полной ликвидации чувств, беспокоит самого Андрея Бабичева — правда, в той мере, в какой ему вообще доступно такое чувство, как беспокойство: «А может быть, Иван прав? Может быть, я просто обыкновенный обыватель, и семейное живет во мне?». Признать, что именно «семейное» является содержанием его отношений к Володе Макарову, он не может. Ведь отрицанием этого «семейного» исчерпывается вся его «новизна». Признать это — значит признать, что и он, Андрей Бабичев, не в силах выпрыгнуть за пределы «чувств» в мир вещей. На это,

понятно, ему нельзя согласиться. Отсюда его тревога: «Арестовать! Расстрелять!». Но, понимая, что этим, в конце концов, дело не решается, он ищет успокоительного компромисса. И находит его: чувства выбросить просто нельзя. Но можно заменить их риторикой и сентиментальностью, теми красными рождественскими мальчиками, о которых мы говорили выше. Проанализировав свое чувство к Володе Макарову и найдя его с этой стороны удовлетворительным, Андрей Бабичев успокоенно восклицает: «Тогда я получаю право ликовать: тогда я вправе любить его и как сына, и как нового человека. Ивана не нужно больше арестовывать и расстреливать. От него, оказывается, можно отгородиться: «Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибли. Зря ты бешишься, Иван! Кое-что останется».

Только отгородившись этим «кое-что» от домогательств своего родного брата Ивана, только обойдя «заговор чувств» и «Офелию», изобретенные Мефистофелем-Иваном, Андрей Бабичев, этот непогрешимый «господь-бог» повести, сумел разделаться с Фаустом-Кавалеровым, выставить его из рая своей квартиры в коммунизированном доме и низвергнуть в преисподнюю вдовы Прокопович.

Такова судьба Фауста в наших условиях, в вешном раю, каким представлена в повести наша революционная современность,—в вешном раю, где нет места именам вещей, где существуют лишь безыменные вещи и безликие люди-вещники, а из всего прочего, в виде не совсем последовательной уступки, допущено одно только неопределенное еще «кое-что», при ближайшем рассмотрении оказывающееся... теми же старыми чувствами? Нет, но сентиментальностью и фразой, этими обезьянами чувства.

Можем ли мы согласиться на такой исход? Нет, не можем (тем более, что и сам автор, кажется, не в силах с ним согласиться). Мы не можем принять Мефистофеля-Ивана с его «выдумкой», которая противопоставлена «разуму», как его «возлюбленная». Непереносим этот успокоенный мещанский адюльтер

развращенной фантазии, поступившей к правде на содержание. «Заговор чувств», «Офелия»— эти мефистофельские выдумки провокатора Ивана неприемлемы, ибо они нечеловечны. Но столь же непереносна, мещански-ограниченна и «вещная» успокоенность безликого дельца Андрея Бабичева—и она ведь тоже нечеловечна. Этот «господь-бог» «нового мира», как и всякое божество, не может существовать самостоятельно, в отрыве от человека, который всегда был, есть и будет единственным творцом всех «божеств»— и «потусторонних» и «вещных» одинаково.

Но приемлем Николай Кавалеров, ибо он человек, борющийся, падающий и поднимающийся. И не его вина, если автор подsunул ему вместо подлинного коммуниста перекарасившегося безликого мещанина. Какой бы позорной казнью ни казнил Кавалерова «конструктивист» и «вещник» автор, никакой конструктивизм, никакая вещьность не в силах изменить того факта, что Фауст-Кавалеров больше «господа-бога» Андрея и «Мефистофеля»-Ивана вместе взятых. Ни «заговор чувств», ни «колбаса», ни «Офелия», ни «Четвертак» ему не нужны. Ему некому и нечему завидовать. Им может двигать одна лишь зависть, единственно достойная его человеческого образа: творческая «зависть» к самому себе, к своей человеческой способности и человеческой жажде бесконечного внутреннего роста.

И плох будет тот «строитель», который не сумеет учесть в нем эту драгоценную социальную энергию и переклЮчить ее на общее дело.

Эта творческая зависть человека к самому себе есть в Николае Кавалерове. Олеша обошел эту фаустовскую черту в братском образе своего героя (увы, так же как Андрей Бабичев обошел мефистофельские домогательства своего брата Ивана Бабичева). Только этой дорогой ценой мог он купить свою развязку. Иначе ведь ему пришлось бы писать не эффектный парадоксальный гротеск, но трагедию. Иначе ему пришлось бы написать не осуждение зависти, по оправдание ее.

2. ПЕРЕХОДНИК

(Об Эдуарде Багрицком¹⁾)

Корнелий Зелинский

Сказать о Багрицком, что он—романтик, это еще почти ничего не сказать о нем или сказать часть истины. Но «если не по звездам, по сердцебиению полночь узнаешь, идущую мимо»... Багрицкий прежде всего—поэт, и поэт истинный. Его узнаешь не по знакомой поэтической иллюминации. Много в ней от «нарочно». Багрицкий иногда кажется немного старомодным со своим исконным романтическим реквизитом поэзии, с этим певучим амфибрахией—складным, журчащим размером,—с этими соловьями, с этой средневековой соевой романтики, слетевшей «с пожелтевших страниц Вальтер Скотта», с охотничьих гравюр Дюрера или Ходовецкого. Не в этом «романтика» Багрицкого. Эта романтика отменно литературна и традиционна.

Багрицкого узнаешь по «сердцебиению». Узнаешь поэта по какому-то безотчетному беспокойству, по радостному стону, вырывающемуся из груди, стону невыносимой жадности жизни, крику праздничной чувственности. В нем есть что-то «вечно поэтическое», какое-то беспокойное напряжение физиологического корневища поэзии. Откуда беспокойство это? Только ли оно от этого романтического корня? Почему безотчетно оно? Не услышим ли мы здесь социальный резонанс поэтического пульса Багрицкого?.

У Багрицкого есть одно стихотворение—«Бессонница». Ночью раздражается буря. Одинокий дом, где живет поэт, снимается с места; «сруб вылетает, бревенчатые стены ночь озирает горячим глазом», «следом, привязанные к

дому, упираясь, тащатся собаки». Дом летит, разбивая камни, пни подгибая, летит по оврагам и скатам, с откинутой назад трубою, так что «дым кнутом языкатым хлещет по стволам и по хвойному прибою»... «Дом пролетает тропой недоброй» и вдруг... останавливается.

Милая, где же мы?

— Дома, под Москвою,

Десять минут ходьбы от вокзала.



Э. Багрицкий

Образ этого дома, пролетающего сквозь яростные битвы со всем своим домашним интерьером, с собаками, с птицами, песнями и стихами, является как бы образом, суммирующим пути и перепутья Багрицкого. Он тоже прошел «тропами недобрыми», гетевский «Лесной царь», царь песен и птиц, он прошел огонь и громы гражданской войны, и сабля, откинута назад, «хвостом языкатым» хлестала по бокам его доброго коня. Кругом кипела эпоха, и

он был вместе с ней, на передовой линии огня, в буденновке и с походной сумкой.

А в походной сумке —

Спички и табак,

Тихонов,

Сельвинский,

Пастернак...

Может быть, и не эти поэты лежали тогда в сумке Багрицкого. «Сабля да книга — чего еще?». За плечами Багрицкого был какой-то иной багаж, а не планы и карты революции. Но основное соотношение было сохранено.

Над поколением Багрицкого эпоха сверкнула саблей. Гигантские, десятилетиями сдерживаемые социальные силы нашли себе выход на историческую поверхность в «ревущих стихиях» революции. Массовость революции, ошеломляющий дых великих со-

¹⁾ «Югозапад», Э. Багрицкий, стихи, изд. ЗИФ'а, стр. 104.

циальных передвижений, крестьянская толповидность ее, скифская отчаянность степных раздолий — все это ударило по поэтическому воображению, по чувствам. Все это дало стихийному сексуальному напряжению поэзии Багрицкого широчайший социальный резонанс. Личное уложилось в симметрии с внешним, с общественным. Поэтическая страсть опрокинулась в страсть эпохи. Но внутреннего контакта, контакта по разуму, по организационному конструктивному духу революции не произошло. Срослось мясо, но не срослись кости. Не в том дело, что в сумке Багрицкого лежат любимые поэты, а не «Азбука коммунизма», а в том, что у Багрицкого иной культурный багаж, иное культурное мироощущение.

Мир Багрицкого, его дом, который он пронес сквозь революцию, — это пригородный «крестьянский» дом: Внешне, по фасаду, по старинной архитектуре Бернса или Гуда он глядит иначе, и такое заключение может показаться несколько неожиданным, но по существу оно верно. Потом мы разберемся в литературной генеалогии Багрицкого. Сейчас мы скажем, что идеологическое хозяйство Багрицкого по внутреннему двигательному заряду своему, по темпу больше отвечает жизненному кругообороту крестьянского двора. Несмотря на внешнюю стихийность, «бездомность», подвижность, — оно внутренне идеалистично и созерцательно. Глаголы революции всегда в повелительном наклонении; глаголы высказывания Багрицкого — в сослагательном наклонении. Зрячесть, рационалистичность, костистость пролетарской революции — это все внутренне по культурному существу трудно усвояемо Багрицким. Для Багрицкого стихи революции — это прикладная логика стихий природы, биологическую красоту которых, силу и страсть он чувствует, как никто.

Именно такое «кочевое» сознание находит «умственное» оправдание своему распластыванию в природе. В связанности, в обусловленности трудовых процессов стихиями оно находит некую гармонию, заложенную в «ходе

вещей». Такова философия «естественного договора» между сознанием и бытием, философия естественного права и растительной этики. Разве не под одной соломенной крышей витают тени Жан-Жака Руссо, Льва Толстого или наших народников?

И перед ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,
Свищет, шелкает, звенит.

И перед ним, перед Багрицким, мир встает «голубой сверху», и в его птичьей, невнятной болтовне он хочет услышать слово-ключ, слово-разгадку гремящему хаосу человеческого мира.

На заднем дворе дома Багрицкого мы, может быть, не найдем ни крестьянской сохи, ни всей унылой незатейливой деревенской снасти хлебдаря-зернолова. Багрицкий — бродяга и кочевник. Но мы найдем малоподвижную, что-то знающую для себя и про себя растительную философию. Собственно, что это такое за «что-то»? Что это за свое особое знание? Было бы непониманием дела спрашивать у Багрицкого точной формулировки. Может быть, он скажет, что хочет мыслить своей правдой, правдой поэта, но ведь это будет только псевдонимом внутреннего упирательства напору идеологии, чужой мысли, обязывающему умственно-организационному выводу. Консерватизм и недоверчивость к «машиннообразной» работе ума — это тоже наша русская наследственная вековечная болезнь, гамлетова мука идеализма русской буржуазной интеллигенции.

«Я подписал договор с дьяволом, — писал Строганову предтеча нашей революционной эмиграции XIX века В. Печерин в дни июльской революции во Франции, — дьявол этот — мысль».

А через три четверти столетия, уже в дни Октябрьской революции, Блок скажет Горькому:

— Если бы мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Мозг, мозг... Это — ненадежный орган: — он уродливо велик, уродливо развит.

Багрицкий инстинктивно обитается подписать договор с дьяволом революции, с ее

мыслью, с ее идеологией, с разумом эпохи», ибо растительным нутром своим не верит в голый, сталевидный мозг—ненадежный орган человечества.

Как-то мы с Сельвинским поехали навестить Багрицкого в Кунцево, в его «доме под Москвою, десять минут ходьбы от вокзала...». Багрицкий нас встретил на пороге в высоких, выше колен, охотничьих сапогах, клетчатой бумазейной блузе, заправленной за пояс. Здесь среди своих птиц, которые в маленьких клетках, точно лесные буи, плавали под потолком, среди егозливых собак, тершихся об ноги, всей своей сутуловатой высокой фигурой охотника и корчмаря муз, Багрицкий показался мне лесным об'ездчиком и соглядатаем природы. Стояла ранняя весна. Мы вышли посидеть на каком-то срубе. Бледное тепловатое солнце не могло еще дать краски серой, как рядно, окружавшей природе. «Идеологический разговор» как-то не клеился. Мы тоже не хотели втеснить какую-либо «умственность». Багрицкий скинул голову. В этой спущенной на лоб низкой шапке серых, густо перевитых неяркой сединой волос, когда он быстро взглянет на вас из-под бровей, он делается чем-то похожим на филина. Может быть, и сейчас его иная ночная дума или песня взмахнула крылом поверх дневного сознания.

Ты мимо окна пролетела совой,
Ты криком меня позвала за ворота.

Багрицкий прочел нам свою «Думу про Опанаса». Тогда в его чтении я как-то по новому почувствовал за простым несложным стихом поэмы не только муку и силу изливающей себя жизни, но и нотки какого-то душевного бездорожья, чувства трагической судьбы.

Опанасе, наша доля
Туманом повита...

Багрицкий помолчал, снова сел, потыкал палкой хлюпающую мокрую землю и сказал:

— Это еще не все. Теперь я вам прочту эпилог «Думы». Это, знаете, так...

И Багрицкий как-то виновато, неловко улынулся, точно извиняясь за то, что сделал какую-то идеологическую

концовку, какой-то вывод, точно он карандашом подрисовал природу.

И вместе с тем Багрицкий пришел к конструктивизму. В чем смысл этого внутреннего сдвига? Как могло случиться, что «стихийник» Багрицкий и «рационалист» Сельвинский подали друг другу руки для какого-то общего культурного дела? Ведь по существу Багрицкий именно на «перевале», на переходе революции? Этот факт по смыслу своему гораздо более значителен, чем он кажется на первый взгляд. Литературная судьба Багрицкого, если хотите, является символом социальной судьбы Багрицких. Творчество Багрицкого по своей мироустановке и настроениям соответствует душевной природе классового промежуточника, переходника и разночинца революции. Как могло случиться, что одесский ковбой стал «мужиковствующим» выразителем этих социальных слоев? Здесь мы столкнемся с явлением весьма мало изученным, но игравшим и играющим крупнейшую роль в ходе формирования новой психологии, нового революционного мироощущения, в росте новой культуры. Я говорю обо всем, что можно назвать переходным, промежуточным, двухсторонним. Может быть, численно промежуточные социальные слои и не так велики, но переходническая, разночинная психология имеет у нас гораздо более широкое и могущественное место, нежели мы это думаем. Делительное, выпрямляющее, ведущее начало революции, коммунистической мысли в условиях советского режима оказывает сильнейшее влияние на все социальные слои. Вместе с тем чудовищное крестьянское наследство наше продолжает давить на сознание со всей инерцией старой идеалистической русской культуры. В жизни мы найдем тысячи комбинаций взаимоотношений и сосуществований этих двух начал, бесконечное разнообразие индивидуальностей. Но есть социальный слой, где противоречия идеологии и песни, города и деревни, «машины и волка» находят себе преимущественное, трагическое, принципиальное выражение. Классовые осколки, выходцы из мелко-

буржуазной среды, новая интеллигенция — все эти социальные прослойки особенно напряженно, всем существом своим переживают пришествие новой культуры. Здесь мы найдем целые гаммы настроений (адекватных культурно-социальной роли) от пейзажно-созерцательных до гудяще-индустриальных. Но все они будут выражать один и тот же процесс переваривания, усвоения новой социалистической культуры, грядущей судить дела наши огнем мысли и мечом машины.

Если Сельвинский целиком и весь с таранящей волей разума эпохи, если он интеллектуально вооружен с головы до ног, то вооружение Багрицкого не действительней, нежели рыцарские доспехи старинной романтики, ибо он подошел к эпохе только «сердцем», а не со стороны ее конструктивного конца. За мужественным полнокровием природочувствования Багрицкого мы увидим шаткую и неуверенную социальную изнанку. Здесь срывается его голос. Социально одиноким вдруг почувствует себя переходник революции, тоскливо обернется вокруг, точно после пышных пиршеств природы, когда «раскиданы звери, распахнуты воды», захочет он вдруг ощутить теплое пожатие человеческой руки, класса-друга, класса-товарища... Ведь и он, переходник, бился под знаменами революции. «Бессмертной польнью» напоены его молодые годы, «испытаны копытом и камнем». А теперь, в час раздумья и сомнений ему вдруг кажется, что...

Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.

Он чувствует себя спелым и полным сил. Но куда, зачем? Кто поймет и оценит это, кто захочет обнять его, как своего близкого:

Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубаچی молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...

Багрицкому чудится, что они «бездомной стужей уют раздувают», устилая собою путь «колеснице истории».

У него «горечь полыни на губах», обида за себя и за своих против тех, кто, по слову Сельвинского:

Говорили о нас: «это — авантюристы,
Революционная чернь. Шпана...».

Это — забота о разночинцах революции, о праве на свой угол в жизни, в революции, в новом социалистическом доме тех, кто не только «сто процентов», чистокровен. Это — забота о тех, которые тоже «хотят любить свою республику».

Багрицкий по-бродяжьи не уверен и недружен с идеологией. Он, стыдясь, прикрывает ее слегка иронической пастелью, этими «звездами, трубачами», этими старыми, но милыми ему, одеждами Мусажета. Но внутренне, по настроению, он гораздо более беззащитен: «Чуть ветер, чуть север и он облетает...». Он гораздо более нуждается в социальном тепле, в общественной поддержке и внимании. Навивно было бы думать, что тут все дело в близкой товарищеской или литературной среде, в зависимости от влияния которой барометр Багрицкого будет показывать ясно или пасмурно. Разве идеологические «уклоны» Багрицкого балансируются «близкими», одной «литературной общественностью»? Багрицкий — человек длинного коромысла. Дело — в «дальнем», дело в глубоком, дело в соотношении переходника и советской общественности, в «климате» новой культуры в целом. Творчество Багрицкого чутко отражает именно эти процессы. Выбитый эпохой из своего социального гнезда, переходник уже не может остановиться. Он чувствует себя «веткой Палестины», изгоем мира, гонимым ветрами. И в новой обстановке буден и труда, от «черного хлеба и верной жены» в сердце его закрадывается беспокойная тоскливость и сомненье.

Отсюда вовсе не следует, что такой переходник чужд революции, — по натуре своему ему легче ее принять в ином облики. Сравните, например, Багрицкого с Верой Инбер. Если для Инбер, для ее социального пласта легче принять революцию культурнически, в ее замыслах построения нового прекрас-

ного дома на земле, то для Багрицких, наоборот, легче принять ее политически. Багрицкому легче, если позовут сесть на коня, чем засесть за Бухарина. И это знает Багрицкий. Он знает, что в решительный час он будет с революцией. Вот почему, когда горячится комсомолец, атакуя «романтику» Багрицкого, спокоен и задумчив он: «Коля, не волнуйтесь, дайте мне» (разговор с комсомольцем Н. Дементьевым):

Что ж, дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить.

Да, не разрубить враз дорогу с революцией, с новым и молодым, поколению Багрицкого. И разве не о том же говорит Сельвинский, что:

От пролетариата не уйти нам теперь
По возрасту, по пульсу, наконец, по идеям,
По своей, наконец, социальной судьбе.

В Багрицком есть вместе с тем своеобразная «гордость нашей грусти», венчающая поэта «благословением солнца». Это не только отсветы «голубого сверху» купола природы, «голубой тюрьмы», по выражению Тютчева. Солнце Багрицкого не только планетное светило, опекун и жизнедавец земли. Это отсветы какого-то смутно чаемого мира идей, «голубинного царства», где «небо в алмазах», где нет земных противоречий, это отсветы традиционной мечты русской интеллигенции от Печерина и Станкевича, до Белинского и Достоевского. Курево тончайшего идеализма вьется струйкой над домом Багрицкого. И издали, в походах жизни этот столб сладкого дыма служит ориентировочной вехой, напоминающей о покое раздумий, об уюте идеального мира. Это те голуби (см. стих. «Голуби»), что равно взлетают над крышей друга и врага. И тогда Багрицкому кажется, что «не попусту топтались ноги — чрез рокот рек, чрез пыль полей, через овраги и пороги—от голубей до голубей».

Этот житейский идеализм есть то, что роднит Багрицкого, человека нового поколения интеллигенции, с высоким и страдальческим прошлым ее. Он начинает чувствовать себя

наследником каких-то мечтаний, какой-то уснувшей скорбной думы. У Багрицкого есть удивительное стихотворение «Папиросный коробок». Оно проливает свет на потаенный, стыдливый «угол» Багрицкого: на его идеологию. Ночью приходит к Багрицкому в «столетнем цилиндре», «перчатку терзая, Рылеев... Не случайно, мне кажется, выбрал себе Багрицкий этого собеседника. Его драматическая фигура, его несчастная судьба, весь облик этого «американиста» начала прошлого века, поэта, служащего американской торговой конторы в Петербурге, западника и энтузиаста, мечтавшего об индустриальном перерождении России, декабриста, расплакавшегося на груди Николая и повешенного зимним рассветом на тюремном дворе,—эта противоречивая, двусторонняя фигура продолжает оставаться чем-то тревожно-притягательной и близкой нам. Рылеев—кристалл идеализма, а ведь чуть слово, чуть ласка,—и он пошатнулся... Оторванный лист, гонимый ветром истории, он также хотел взлететь в небо и пал, прибитый первыми каплями бури. Он протягивает руку к окну и говорит Багрицкому:

— Ты наш навсегда. Мы повсюду с тобой.

За окном гремит ночь, «крылатые ставни колотятся в дом, скрежещат зубами шарниров, пять сосен тогда выстулают вперед, пять виселиц, скрытых вначале». Но... повернут выключатель и «безвредною синькой покрылось окно».

— Вставай же, Всеволод, — и всем волюдай,

Вставай под осеннее солнце.
Я знаю, ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен.

Так сыну своему отдает поэт «веселые времена», иные миры, «голубинное царство». А мы... «мы ржавые листья на ржавых дубах, чуть ветер, чуть север, и мы облетаем»...

У Багрицкого две «романтики». Тот, кто этого, не понимает—не понимает существа творчества Багрицкого. Багрицкий внешне, обманчиво ультраромантичен по декоративным поэтическим одеждам своим. Поверхностно предполагать, что, если Багриц-

кий переводит певцов «старой веселой Англии»—Гуда, Бернса, Скотта, если он распевает Диделем по рейнским берегам, если, как угольщик Уленшпигель, «без шпаги—рыцарь, пахарь—без сохи», вдыхает веселый чад, плывущий из кухонь старинного торгового Антверпена, то это делается только для того, чтобы «скрыться от действительности». Этот романтический реквизит, как я уже говорил, имеет более тонкий смысл. Это все идет целиком от литературной традиции, из желания переломить декламационную линию современной поэзии (Маяковский) новым литературным материалом, переложить листом Дюреровской гравюры, литературно обособить. Эта романтика ради установления формальной дистанции, а не идеологической (ср., напр., Н. Тихонова). Багрицкий слышал иной гуд эпохи, иные зовы и громы. Но само желание установить литературную дистанцию понятно и законно. Оно идет по линии отталкивания и сосуществования литературных направлений. «Еще не затихло у нас рационалистическое направление галломанов, а уже показался таинственный поезд всадников, богатырей дальнего севера, повеяло суровым привольем моря и гор,—и перед прелестью Оссиана (Макферсона) преклонились даже поэты в роде Державина», так живописно рисует Алексей Веселовский приход романтической школы Жуковского, Батюшкова и др. в прошлом столетии. Еще не затихло, а, напротив, только разгорается рационалистическое направление конструктивизма, как в него везжает «романтический» кортеж Багрицкого. В чем же дело? А в том, что переводы и «западнические» увлечения Багрицкого есть только один из видов псевдоромантической манеры Багрицкого, попытки утвердить, как литературный жанр, то, что нам уже кажется нелитературным. Так Блок в свое время «поднимал до литературы» цыганский романс, Маяковский—эстрадную сатиру, Сельвинский—прозаическую интонацию и т. д. Герб Багрицкого: тяжелый ясеневый посох—над птицей и широкополой шляпой; его соловьи, сердце, пронзенное

стрелой амура, ночные виденья, — все это—атрибуты той поэзии, которая давным-давно перестала ощущаться как поэзия. Встречая их у Багрицкого, мы сначала считаем это наивностью, потом дерзостью, потом идеологической хитростью, потом, наконец, начинаем понимать, что Багрицкий хочет стряхнуть душистую пыль с засохшей розы так, чтобы мы, сперва поморщив нос, весело чихнули, как от доброй понюшки. Нет, это совсем не та романтика Ундин, Громобоев и Светлан, словом, тот самый «таинственный поезд» Жуковского, за мистические пары которого (поезда) трезвый мечтатель Рылеев (да, да, опять Рылеев) ругмя-ругал Жуковского в письме к Пушкину. В виденьях, «бессоннице», «трясинах», ночных беседах Багрицкого гораздо больше от формальной мотивировки, нежели от мистического жизнеощущения. Наконец, для Багрицкого романтика ни в какой мере не является широкоохватывающей мировоззрительной установкой в духе Фридриха Шлегеля. Багрицкому нужен старинный аромат, поэтический запах, отличный от его современников. Эти чуть-чуть бунтовские полуреволюционные англичане XVIII века нужны Багрицкому не только для подмены манускриптом «Правды» или «Известий», не только для эстетического укрытия своего анархизма, но и для высоты тона, для благородства поэтического голоса. Так, Сельвинский в «Пушторге» перекликается с байронической традицией нашей литературы пушкинской поры, традицией драматического героя и высокой интонации.

Прелесть, аромат «наивной поэзии» Багрицкого именно в том, что она дается поэтом с легкой улыбкой, то ли как сентиментальная ирония, то ли как иронический романтизм. Багрицкий всегда неуловимо ироничен, точно он в самом деле неуверен, что «правильней, может, сжимая наган, за вором следить, уходящим в туман». Ирония Багрицкого—не от чувства избыточествующей цивилизации, а от культурной шаткости, от внутренней

боязни «подписать договор с дьяволом—мыслью». И вот тут-то за оборотной стороной иронии мы увидим истинную романтичность Багрицкого, для которой литературная романтика — только одно из выражений. И несомненно, конечно, что литературный гардероб романтики имеет для Багрицкого тоже двухсторонний, лукавый смысл. В целом вся литературная манера Багрицкого несет на себе печать внутренней, «крестьянской» романтичности, анархизирующей первобытной певучести, мыслелоборствующей плоти.

Итак, три основных черты определяют творчество Багрицкого. По тону — своему оно полнокровно и гремуче — оно бьет подземным ключом плоти, оно «выстрелом рвется вселенной навстречу»; по литературной манере оно «романтично», канонизируя также формы «наивной поэзии»; наконец, по своей социальной природе оно соответствует мироощущению «мужиковствующего» переходника революции, смыкаясь по идеалистической культуре своей с народнической интеллигенцией.

Именно последней своей стороной, а также по мясистому чувству напряжения эпохи, Багрицкий подошел к конструктивизму.

Было бы наивно делать, однако, отсюда поспешные выводы, и на основании формального примыкания Багрицкого к литературному конструктивизму заключать о каком-то перевороте, случившемся неожиданно в творчестве Багрицкого. Речь идет о медленном и подсознательном глубинном процессе. Для Багрицкого конструктивизм, как и для Инбер и многих иных, есть форма борьбы со своими особыми трудностями, тяжелым наследством, есть форма пахождения себя в революции. Багрицкий ищет себя не только социально, но и литературно. В этом смысле прозрачное и чистое письмо Багрицкого находит себе ответ в логике конструктивизма. В поэтике Багрицкого мы также найдем сосредоточивающую

лаконичность, мясистость и точность эпитета. Локальный принцип конструктивизма часто простилает всю формальную структуру стихотворений Багрицкого. Так, например, стихотворение «Папиросный коробок», где поэту являются декабристы, картина ночи дана вся в локальных образах: ночь надвигается «в гербах и султанах», это «ночь третьего отделения», ветви над крышей «заносятся, как шпицрутены», и т. д. В стихотворении «Трясина» выстрел из ружья на болоте «побежал сухим одуванчиком дыма»; в «Бессоннице» вологодские звезды, как «золотые баранки» и т. д. Эти примеры можно было бы продолжить. Но не они определяют существо поэзии Багрицкого. Багрицкий не новатор литературы, идущий по целине, как, например, Сельвинский, и как в свое время начинал Маяковский. Его размеры и ритмы идут от старинной «поэтической» певучести, они также в духе той лукавой романтики, о которой сам Багрицкий иронически говорит, что она, как:

Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «newermor'e» он
По Эдгару По...

Итак, творчество Багрицкого в целом — это творчество переходника революции. Его думы, радость, муки, сомненья разглядим мы за этими ставнями дома «по Эдгару По», по Вальтер Скотту и т. д. За рыцарскими латами мы услышим Багрицкого «по сердцебиению». Если хотите, и за всей этой литературной «готикой» есть что-то очень русское, близкое и знакомое нам. В этой «бездомной молодости», безотчетной ярости жизни, которая «бьется по жилам», «кидается во все края», есть что-то от той бездомности и бесшабашного буйства, что томили Есенина.

Куда идет Багрицкий? Вот вы видите, как бродит он в своих сапогах, со своей палкой, с соловьем за плечом. Да и сам он себе чужится соловьем в клетке под газетным листом. Вечный жид поэзии — неужели ему дано вдыхать дым только чужих очагов, радоваться чужими радостями и биться

под «чужими знаменами»? Нет, «не повита туманом доля» переходника революции, есть ему «дорога дальше своего порога», и недаром говорит Багрицкий своему герою:

Опанасе, не дай маху,
Оглядишь толково.

Но противоречия какого-то идеального мира и действительности опрокинулись в его сердце неутолимой болью. Это не его вина, а его социальная беда. Точно хочет Багрицкий выстрадать сам и опеть кругом долю человека, пошедшего с революцией искать тихий

дом, «голубой сверху» и полный солнца, ибо жестока эпоха и требует соколиного глаза и тяжелой руки. Он хочет также ответить песней на какие-то несбывшиеся надежды, на какие-то бродячие мечты, что дремлют, по слову Гамсуна, в душе человека. Иным кажется, что Багрицкий кулил это дорогой ценой, обменяв компас революции на манок великого Папа, ибо много берет песня за ту боль, что она оставляет нам. Нет, — наш Багрицкий, и «вместе есть нам кашу», вместе петь и пить.

3. ОПУСТОШЕННАЯ ДУША¹⁾

Б. Скворцов

«Идательство писателей в Ленинграде» выпустило в текущем году часть дневников Александра Блока, охватывающую 1911—1913 гг. В ближайшем будущем предполагается издание последней части записей поэта—с 25 мая 1917 года по 3 июля 1921 года. Но и опубликованный уже материал дает чрезвычайно много для всестороннего уяснения богатой и сложной личности крупнейшего поэта нашего столетия.

Целей такого уяснения настоящая статья себе не ставит. Ее задача — установить психические доминанты Блока, поскольку они отразились в записях 1911—1913 гг.

Еще свежа в памяти политическая, общественная и культурная физиономия предвоенных годов. Со всей определенностью всплывает она перед нами при чтении «Дневника». Правда, Блок никогда не подходил к вопросам нашего социального и политического бытия иначе, чем как художник, искатель-индивидуалист, и статьи его за время революции не являются каким-либо исключением. Если он мог искренне увлечься вихревой сущностью первых взлетов Октября, то тусклые предвоенные годы не представляли для него ничего интересного. Но есть эпохи, безыменность которых является их именем, есть явления, которые характе-

ризуются скупыми высказываниями очевидцев. Таковы высказывания Блока.

Общее его отношение к своему времени — глубоко отрицательное: «Лучшие из нас бесконечно мучатся и шепчутся... такой горечью полны пропитана русская жизнь», заносит он 18 декабря 1911 г. (стр. 52).

«Откуда эти каракули и драгоценности на всех господах и барынях Невского проспекта? В каждом каракуле—взятка..., смазливая рожа любой барыни есть акция, серия, взятка» (стр. 39), — эти строчки мог бы написать и убежденный враг капиталистическо-бюрократического общества, а Блок таким врагом не был. По происхождению, привычкам и, частично, даже по взглядам поэт должен быть скорее отнесен к числу его союзников, однако, случаи разрыва с этим классом в его «Дневнике» встречаются неоднократно. Были у него определенно демократические тяготения, поэтому «Куприн в 100 раз лучше общества светской сволочи» (стр. 162), поэтому от Горького и «Звезды» для него «запахло настоящим»: «все здесь ясно, просто и отчетливо, потому талантливо» (стр. 84). В растущем успехе социал-демократии ему чудится «подкрадывание двенадцатого года к событиям» (стр. 85). Монархические юбилейные торжества вызывают в нем отвращение: «Сегодня празднуется трехстолетие дома Рома-

¹⁾ «Дневник Ал. Блока». Стр. 77.

новых, союзников 4.000 понаехало из Киева, опасно выходить на улицу» (стр. 184). Отсюда он ждет только кровавого ужаса, «погрома во славу божию». Кадетов он ненавидит (стр. 52), брезгливо отмечая, что Милоков «в день открытия Думы... лез вперед со свечкой на панихиде по Столыпину» (стр. 22).

Болезнь и нужда прачки открывают ему глаза «на жизнь в этом ее настоящем смысле, такой хлыст нам, богатым, необходим» (стр. 152)... и тут же — очень частые сетования по поводу плохой прислуги, обобщенные такой, например, сентенцией: «Так, совершенно последовательно, мстит за себя нарождающаяся демократия: или неприступные цены, воровство, наглость, безделье, или разбитые существа неизвестных пород» (стр. 101). Блок способен интересоваться... Распутиным и Гермогеном и даже признать их «крупным и бескорыстным явлением» (там же). Временами он недалеко от настоящего юдофобства (см. стр. 22, 46, 60, 132), и, хотя у него «не смеет повернуться язык», чтобы сказать хулу на Гесю Гельфман, участницу убийства Александра II, но все же поворачивается для такой ее характеристики: «Несчастная жидовка, которая, сидя в грязной комнате на чердаке, смотря на погоду из окна, живя с грязным жидом, идет на набережную Екатерининского канала бросать бомбу в блестящего, отчаявшегося, изнуренного царствованием, большого и страстного человека» (стр. 22).

Воистину, трудно сыскать что-либо более противоречивое и неустойчивое, чем эта общественно-политическая «идеология».

Ей соответствует (а, может быть, частично ее и обуславливает) общее мироощущение Блока, его отношение к реальному и мистическому. В предисловии к «Дневнику» П. Н. Медведев считает, что развитие поэта за эти годы шло в сторону «преодоления вихревой лирической стихии, переоценки устоев мистико-романтического мирозерцания и пробуждения вкуса к реальности» (стр. 11 — 12).

Но такой вывод поспешен и неверен. Правда, что все, отмеченное П. Н. Мед-

ведевым, в записях Блока имеется, но еще больше имеется моментов не только мистического мирозерцания, но и мистического мироотношения. Обратимся к фактам.

В предисловии редактор цитирует запись поэта от 30 октября 1911 года: «Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское...» (стр. 28). Но эта цитата благоразумно заканчивается там, где это нужно редактору, а между тем, в тот же день, несколькими строками ниже, Блок написал: «Вечером напали страхи. Ночью проснулся, пишу, слава богу, тихо, умиротворюсь, помолюсь», и с надеждой вспоминает поэт слова своей матери что «нет никакого спасенья, кроме молитвы». Признание жизни и любовь к ней, особенно в ее житейски-простом, встречаются в дневнике чрезвычайно редко, зато «страхи», боязнь жизни и людей — так часто и в таких грандиозных очертаниях, что, пожалуй, грозят перевести поэта за грань душевного здоровья.

«Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете», заносит поэт 19 марта 1912 г. (стр. 88), сразу выдавая ирреальную сущность своего мышления: для доподлинного реалиста мистика не страшна по той причине, что она для него просто не существует. И как может быть сильной потребность в реальном у человека, который тремя днями спустя исповедует, что жить настоящим — это значит не жить, а только существовать, что жить можно только будущим (стр. 89).

Только еще два раза проскальзывает у Блока здоровое, реальное отношение к миру: 10 февраля 1913 года — «Бодрость, рад солнцу, хоть и сквозь мороз. Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов. больше...» (стр. 177); 4 мая того же года — «Жить хочется мне, если бы было чем, если бы уметь» (стр. 211). Как красноречиво здесь это двойное «если бы!».

Вот и весь материал, характеризующий Блока — реалиста и жизнелюбца. Очевидно, что на основании его никак нельзя делать выводов о «преодолении вихревой лирической стихии и устоев».

мистико-романтического мирозерцания». Зато как много материала, свидетельствующего, что эта стихия бушевала в нем и в эти годы чрезвычайно сильно, что эти устои даже и не начали гнить. Располагаю материал в хронологическом порядке.

10 ноября 1911 года: «Жить на свете и страшно и прекрасно. Если бы сегодня уснуть» (стр. 36).

Через четыре дня его смутили два наглых взгляда каких-то гуляк и брошенное в спину: «Ишь какой... верно, артист». Этот пустой случай приводит, однако, поэта вот к каким обобщениям: «Эти ужасы (sic!—Б. С.) вытеся кругом меня всю неделю,— отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа—ты вот какой» (стр. 38).

И не раз такие случайные встречи приводят его к таким же глубинам отчаяния и страха. Подсевшего к нему в Зоологическом саду пьяного полковника, по его же собственной характеристике, «вероятно, доброго, бедного, нищего и одинокого», он принял ни больше ни меньше как за «преследователя»: «Тебя ловят, будь чутким, будь своим сторожем» (запись от 19 июня 1912 г., стр. 110). От этих строк прямо веет чуть ли не манной преследования, уживающейся, как это ни странно, с совершенно трезвой оценкой беспokoящего объекта.

25 января 1912 г.: «Тягостно, плохо себя чувствую, пусто, во мне мертвое что то. Ночью дикие и ужасные сны» (стр. 80).

26 февраля того же года: «Поэма («Роза и Крест».—Б. С.) ни с места. Ненависть и боязнь людей» (стр. 83).

Через день: «Вечерние прогулки по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристаёт щенок, тусклые окна с занавесочками. Девочка идет, точно лошадь, тяжело дышит: очевидно, चाहотка... Страшный мир» (стр. 84).

Боясь жизни и людей, он часто пытается спрятаться от них в себя как можно глубже, потому что «все—легкомысленно, легко, и ничем по, жуток» (стр. 90; курсив наш.—Б. С.).

1 мая 1912 года своих близких Блок наделяет собственными настроениями: «Мысли печальные, все ближайшие люди на границе безумия, как-то боль-

ны и расшатаны» (стр. 98). Попытки пролетариата заявить в этот день о своем существовании вызывают только такую запись: «Шел проливной дождь—весь день. В городе происходили рабочие демонстрации» (там же).

28 мая того же года: «Боясь жизни, улицы, всего, страшно остаться одному, а еще и мама уедет» (стр. 103).

11 июня: «Боясь проклятой жизни, отворачиваю от нее глаза» и еще раз в тот же день: «Боясь жизни» (стр. 106).

Через неделю поэт дает совершенно правильный диагноз своего самочувствия: «Я болен, в сущности, полная неуравновешенность физическая, нервы совершенно расшатаны» (стр. 109).

Когда с пьяным переплетчиком он при ярком свете разобрал книги, «было мрачно, жутко и ужасно» (стр. 130).

25 марта 1913 года поэт «тоскует, тоскует» (стр. 195).

30 марта: «Дни невыразимой тоски и страшных сумерек» (стр. 196).

20 апреля: «Так тянется, тянется непонятная моя жизнь» (стр. 199) и заключительный аккорд 23 декабря 1913 года: «Господи, дай силы, помоги мне» (стр. 214). Любопытно, что вариациями этого возгласа кончаются дневники и за два предыдущих года.

В те же тона окрашивается и восприятие природы: «Заря была огромная, ясная, желтая, страшная» (24 октября 1912 г., стр. 126. Ср. начало стих. «Унижение»: «В черных сучьях дерев обнаженных желтый зимний закат за окном. К эшафоту на казнь осужденных поведут на закате таком»). «Ужасная луна—под ней мир становится голым уродливым трупом» (25 октября 1911 г., стр. 26). Темнее море приводит «подтачивающую мысль о гибели» (12 апреля 1912 г., стр. 198).

Ряд непосредственных автохарактеристик дорисовывает постепенно создающийся образ поэта. Блок постоянно жалуется на анатию (стр. 108, 112, 213), приходит к выводу, что он «устал и болен» (стр. 112), «стар» (стр. 129), что у него «опустошенная душа» (стр. 77, курсив наш.—Б. С.).

Он частенько ищет выхода из этого тягостного состояния в вине, но проходит опьянение, и прежнее состояние

возвращается с удвоенной силой. Упоминания о вине, о чрезмерном его употреблении в «Дневнике» встречаются постоянно: «Вечером изныл от усталости — вино и утро без сна сказались» (стр. 21); «устал — уже как рано, сколько еще зимы впереди. Надо бы не пить больше» (стр. 58; см. также стр. 18, 27, 30, 31, 35, 48, 58, 94, 101, 106, 111, 113 и др.). Вино являлось как бы осуществлением его двуединой формулы: «Жить надо и говорить надо так, чтобы равнодействующая жизни была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, порядка и беспорядка» (29 марта 1912 г., стр. 92), но осуществлением только одной ее части, потому что часть «гармоническая», рациональная, редко призывалась к жизни.

Если чувства вообще иррациональны, то чувства Блока в особенности: 5 апреля 1912 г. он записывает: «Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно, — есть еще океан» (стр. 93), а рядом с этим — жалость к хаточной девочке, «непоправимость всего, острая жалость ко всем» (29 января, стр. 173).

«Нет, все-таки я усталый и больной» (ночь на 3 июля 1912 г., стр. 112) — лучшая характеристика душевной жизни Блока, отраженной в «Дневнике». О каком-то странном надломе и раздвоении психики говорят и нередкие записи в одной строчке совершенно противоположных явлений: «Несказанное. Потом с Любой пили чай» (стр. 137).

Мятущимися и противоречивыми представлены в «Дневнике» и взгляды Блока на творчество, с явным, однако, перевесом начала иррационального и даже болезненного. Только однажды, 17 декабря 1911 г., Блок исповедует, что «надо, побеждая восторги и усталость, писать задумчиво» (стр. 20). На деле же происходит вот что: «Вечером опять отчаянное вдохновение, восторг, граничащий с измученностью» (стр. 33). На него так сильно действует красота, что после встречи в трамвае с необычайной красавицей у него долго болит голова (стр. 165).

«Чтобы изображать человека, надо полюбить его — узнать. Грибоедов лю-

бил Фамусова, уверен, что временами больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь осмеяли» (стр. 179). Эта цитата опять-таки говорит не о «преодолении восторгов» и «задумчивости», а о совершенно обратном. Но любовь часто превращается в ненависть, и именно Блок в стихотв. «Друзьям» так перефразировал известную строчку Майкова: «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда», а в дневнике 4 мая 1913 г. записано: «Надоели тезисы, книги, искусство» (стр. 211).

Мы охватили очень небольшую часть имеющегося в «Дневнике» богатства. Прав П. Н. Медведев, утверждая, что «Дневник» представляет драгоценный материал как для биографа Александра Блока, так и для историка начала текущего века». Желаящие найдут в «Дневнике» и богатейший материал для выяснения литературных и театральных вкусов Блока (отзывы о Л. Толстом, Л. Андрееве, Брюсове, футуристах, Мейерхольде и т. д. и т. д.), и для истории его творчества (особенно для истории создания поэмы «Роза и Крест», — см. стр. 134, 155, 165, 169, 200, 205 и 208), и для характеристики бытовой обстановки поэта, и, наконец, для характеристики литературно-общественной среды 10-х годов.

Мы старались восстановить только основные черты психического облика Блока, этой богатейшей и сложнейшей природы, с ярко выраженными признаками упадка и разложения.

Эти признаки, не теряя в своей индивидуальности, являются, конечно, порождением общественной и политической реакции 10-х годов и утонченной культуры богатого барства, к какому принадлежал Блок. «Опустошенная душа» поэта, распад его личности — лишь одно из ярких проявлений уже заканчивавшегося в эти годы распада его круга — классового и литературного.

4. ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

(Мелочи и факты литературного быта)

Вяч. Полонский

1

На пленуме Раппа поэт Жаров бросил словцо:

«Надо уважать молчащего поэта, как беременную женщину».

Даже когда она распутничает?

2

Поэт Жаров словцо это бросил в пылу полемики. На пленуме его стали «критиковать». Жаров ответил критикой критиков. Виноваты, оказывается, его друзья из «На Лит. Посту».

«Портрет мой на обложке вы печатаете,—так передает слова Жарова «Веч. Москва» (4 октября 1928 г. № 231),—а здорового слова предупреждения от вас я не слышал. Два года назад меня преувеличенно хвалили. А сейчас, если ничего не пишешь, кричат: кончился. У нас не терпят молчания».

Тут-то он и сказал о беременной женщине.

3

Но всего за несколько дней, в субботу 29 сентября, тот же Жаров напечатал в той же «Вечерней Москве» стихотворение «Прощание с детьми в гор. Анапе». В нем находим мы такие «жемчуга»:

Берусь за перо,
Как морской капитан
За старый ношенный кортик..

Позвольте, дорогой товарищ. Я хочу сказать вам «здоровое слово предупреждения». Если кортик старый—он обязательно ношенный, это—во-первых. А во-вторых, почему беретесь за перо, как морской капитан? Если критически отнестись к этим строкам, надо сказать: плохо, ибо натянута. Это не поэзия, а рифмачество, стихоплетство. Оно развращает самого поэта. Дает дурной пример молодняку.

Написав эти строки, не хочу скрыть опасений: не обидится ли Жаров? Недостаток мастерства, как у боль-

шинства молодых поэтов, у него сопровождается избытком обидчивости. В том же самом стихотворении он говорит о каком-то «яде отравленных стрел», который доктора должны «вытравить» из его организма, что будто бы «почтенный заряд» этих самых ядов «запаян» ему «в нужное место»,—но доктора говорят: это вовсе не «яд», а «слюна шелопаев». Дальше он восклицает:

Нс важно!
Прекрасен осенний курорт,
Ясней черноморские воды.
Спокойно.
Ни Фейгин тебя не лягнет,
Ни прочие.. той же породы.

Бьюсь об заклад: Фейгин, которого порочит здесь Жаров...—какой-нибудь «критик», попытавшийся сказать поэту «здоровое слово предупреждения»... Иначе за что порочит неведомого Фейгина наш поэт?

Кстати: если такими стихами «беременен» поэт Жаров, мы рекомендуем ему «аборт». Средство жестокое, но зачем же плодить нездоровое потомство?

4

Я снова бросаюсь
В московский огонь
В агонию жаркой работы...

— читаем мы в том же стихотворении.

Нехорошо. Надо знать, что «агония»—это предсмертные судороги, последние конвульсии умирающего организма. Нельзя поэтому бросаться в агонию работы, да еще жаркой.

Стихотворение кончается поэтическим предчувствием:

Тартюфы зубами опять заскрипят.
Ну, что же, готов я к получке—
За море, за горы, за сочный закат,
За эти анапские штучки...

Попаду в тартюфы—ничего не поделаешь! Но не хочу обмануть ожиданий поэта. Пусть получает по заслугам.

5

Приятель, прочитавший последние строки, заметил мне:

— Здесь, пожалуй, опечатка. Жаров хотел сказать: «аралские» штучки.

Эпитет «аналские» в самом деле не выразителен.

6

Если бы Жаров был бездарен, мы не мешали бы ему в покое пожирать анапские лавры. Но у него — талант. Он, кроме того, пролетарский поэт. А такое положение обязывает: Жаров не имеет права превращать свое дарование в балалайку.

7

Но что такое талант? Кто не талантлив! Мы знаем много авторов: в талантливости им отказать невозможно, — а вещи их, тем не менее, плохи. Одного таланта недостаточно. Талант делается «инструментом», когда к нему приложена культура, когда талант организован. До того он лишь сырой материал, условие, способствующее достижениям, но не само достижение.

Талантов много в нашей молодой литературе. Но «культурных», т. е. «организованных», «квалифицированных» талантов мало. Наши «самородки» не умеют работать. У них нет технических навыков, их «уменье» не высоко, они попросту слабо знают свое ремесло. Оттого они так часто срываются.

Они играют на «нутре». Тогда как надо играть на «мастерстве».

8

Жалобы Жарова на критику — несерьезны. Но критикой недовольны всерьез и писатель, и читатель.

По человечеству — критику надо пожалеть. Положение ее правильно определяется так:

«Перевернется — бьют, не довернется — бьют».

Ее можно сравнить с положением судьи, посаженного на скамью подсудимых.

Хуже всего, при этом, что судьи, осуждающие критику, могли бы с пол-

ным правом присесть рядом с ней, на ту же скамеечку.

Ибо порицают критику чаще всего те, кто заслужил ее порицание.

Это по правилу: око за око.

9

Нередко писатель приходит в ярость от критики вообще.

Мало ли писателей, которые глубочайше убеждены: «меня нельзя критиковать».

Нередко писатель вообще не выносит критики, даже умной, даже честной, даже справедливой. Если критик хвалит — друг; если порицает — враг. Это — оборотная сторона медали.

До той поры, пока писатель не научится с достоинством выслушивать «критику», как бы жестока она ни была, — критика будет влачить жалкое существование.

Искусство растет только в обществе, которое доросло до уважения к искусству.

Не может расти без уважения и критика. У нас критику не уважают.

Вица и на критике, и на писателе.

10

Виновата, разумеется, и критика. Впрочем, критики у нас нет. Но есть многочисленные критики.

Критикует у нас всякий, кому не лень. Для починки сапог надо быть специалистом. Нельзя чинить сапоги, зная сапожное ремесло «по наслышке». А вот о литературе и искусстве рассуждать «по наслышке» очень даже можно. Чему ж тут удивляться: стон стоит!

Провалился паренек в вуз — идет в критики. Лишился службы, приелась бухгалтерия, надоело рвать зубы, еняли с биржи труда — идет в критики.

Понятно, почему писатель, трудом и талантом заработавший право говорить с читателем, приходит в ярость от наглого невежды.

Здесь одна из причин ненависти писателя к критику.

11

А если вспомнить, что под «критикой» именно невежда чаще всего понимает развязную бранчивость, под-

мену анализа, требующего знаний и умения, лихим наездничеством, для которого, кроме тождества зада, не требуется ничего, — ненависть писателя к такому лихачу делается обоснованной.

12

Есть две крайних разновидностей «лихачей». Один ходит и тоскует: кому бы дать в зубы? Другой, напротив, все хлопочет: кому бы еще сапоги вычистить!

Разновидности эти налицо — стоит ли называть имена? Какая хуже? Обе хуже, разумеется.

Эти «критические типы» надоели не только в литературе. В театральных журналах они, пожалуй, цветут еще ярче.

13

Надо говорить о «праве на критику».

Чтобы требовать читательского внимания, надо иметь право. Художнику оно дается талантом, знанием и мастерством. То же самое требуется и от критика.

Все ли наши критики лишены этих качеств? Нет, конечно. Я говорю о Репетиловых.

14

В «На Лит. Посту» (№ 18, стр. 68) журнальный обозреватель, говоря о рассказе С. Ценского «Прах хаджи Османа», напечатанном в «Кр. Нови», ставит следующий «подозрительный» вопрос:

«... не является ли целевой установкой этого произведения клеветническая карикатура на передового рабочего, революционность которого превращена писателем в дикое бунтарство, дающее силу только для бессмысленного оскорбления той или иной «святыни», да и то под влиянием обещанной выпивки?».

Позвольте ответить: «не является». В этом убедится всякий, кто прочтет рассказ, о котором обозреватель пишет столь «подозрительно».

Ибо в рассказе героем является не «передовой рабочий», а отсталый и подчеркнуто-тупой крестьянский парень, сторож, орловский.

Поменьше подозрительности, побольше добросовестности. А то ведь самая «подозрительность» может показаться подозрительной.

15

В «Веч. Москве» (6 окт. 1928 г., № 233) напечатана заметка об искусстве брани. Как пример, приведена американская книжка, где собраны бранные слова, какими осыпало в печати американское мешанство редактора радикального литературно - политического журнала «Америкен-Меркюри» — Менкена. Книжка, надо сказать, душистая. Не сомневаюсь: она послужит настоящим руководством для наших начинающих критиков.

Было бы, пожалуй, небезынтересно собрать «словечки» наших отечественных ругателей. Думается, — американцы не выдержат: кишка тонка!

16

Насколько малооригинальны люди, подменяющие «критику» «крытикой», можно судить по тому, что они повторяют прием своих предшественников времен очаковских и покоренья Крыма.

Вот как коротко определил критику своего времени Ф. Вигель:

«Под именем критики разумели тогда брань и поношение» («Записки», изд. «Круг» 1928 г., т. 1, стр. 338).

17

Есть критик В. Вешнев — ответственные статьи его постоянно печатались в «На Лит. Посту». И все было хорошо, и был он истинно-пролетарским критиком. Но прекратил сотрудничать в этом почтенном журнале и, словно в сказке, моментально лишился истинно-пролетарского естества. И отлучили его от Валпа так же вот точно, как средневековые монахи отлучали еретиков от церкви. И личность его и статьи его, те самые, которые выражали недавно точку зрения редакции, были в «На Лит. Посту» преданы поруганию.

Отлученный, натурально, взвыл. Сделал он это на страницах газеты «Читатель и Писатель». Вот как характеризует он статью, которая, вдогонку ушедшему, была пущена вчерашними соратниками:

«Никакой критики по существу эта статья не содержит. Она состоит из

ругани, передержек, натяжек, инсинуаций и клевет».

Букет ароматный. Печальней всего то, что Вешнев прав.

18

Даже «ЧиП», некогда отечески хлопавший по плечу самого поверхностного из «налитпостовцев», по поводу травли Вешнева заявил, что «те приемы, в частности, не товарищеской, а голословной бранной критики, к которым прибегает журнал «На Лит. Посту», должны быть со всей резкостью осуждены, и им пора положить конец» (№ 22 28 г.).

19

В «Октябре», в десятой книге, я с удивлением прочитал, что меня, как литературного критика, совсем недавно один молодой товарищ «раздел до гола».

Скажите! Что значит наука! А я не заметил. Как, однако, тонко работают нынче специалисты.

Первый раз меня «раздели» в 1919 г.—ночью около Проломных ворот. Техника была куда проще. Но зато люди, «раздевшие» меня, удовлетвоались, пиджаком, шапкой и сапогами, оставив штаны да белье. А ныне—дочиста, до гола!

Журнал такую операцию называет «критикой». Чтобы навсегда закрепить патент за ним, предлагаю над критическим отделом журнала нацепить такой плакат:

З Д Ъ С Я
ДО ГОЛА РАЗДЕВАЮТ
с почтнейшим приветом
красные раздевалы
Лузгин, Ермилов и Компания

20

Так что никого не удивило, когда «На Лит. Посту» с ликованием перепечатал рецензию Стеклов, до краев переполненную теми самыми цветочками, которые перечислил Вешнев.

— Ура!—гремело, вероятно, в редакции.—Нашим духом пахнет!

«Душок» действительно—хоть окна раскрывай.

21

Кстати, о Д. Б. Рязанове: человек смелости необыкновенной. Его сотрудник, тот самый, рецензию которого перепечатал «На Лит. Посту», был уличен в недобросовестности.

Казалось бы: вот случай почтенному человеку дать пример молодым! Так ведь случилось как раз наоборот: вместо того, чтобы признать недобросовестность заслуживающей порицания, Д. Рязанов ударил себя в грудь и заявил:

— Ер-р-унда! Ответственность берем на себя я и моя редакция.

— Что ж,—скажем мы,—тем хуже для вас и для вашей редакции.

От этого ложь не перестает быть ложью, а недобросовестные махинации не становятся добросовестными.

Не так ли?

22

Нельзя сказать, чтобы против такого толкования «критики» не велась борьба. Но она лишь начинается. Укажу мимоходом на критический альманах «Голоса против», вышедший в Ленинграде. Он целиком заострен против халгурщиков, лихачей, порнографов, графоманов и им подобных.

«Борьба за профессионала-писателя уже началась. Пора начать борьбу за профессионала-критика» — читаем мы в альманахе. Давно пора!

С некоторыми точками зрения участников книги мы не согласны. Здесь об этом спорить не будем. Но очень многое в их установке (борьба за литературу и критику, культурность, отсутствие демагогии, осведомленность в вопросах, о которых они пишут) заставляет обратить внимание на это литературное выступление.

Полезна также книжка Г. Горбачева «Против литературной безграмотности», вышедшая одновременно с альманахом. Она посвящена тем же важным вопросам литературной современности.

23

Н. Асеев был в Сорренто у Горького, а потом написал книжку «Разгримированная красавица». В книжке этой

на стр. 125 он, между прочим, вкладывает в уста Горькому такие сентенции о критике:

«...критик неизвестно, когда он хуже: то ли когда ругает, то ли когда хвалит: ругает — горько, а хвалит — тошно. Только ко всему этому надо относиться без внимания. Критика всегда была невежественна, и всегда нужно было на читателе проверять свое право и свою работу. А критиковать писателя имеет право только товарищ его по работе, такой же писатель» (курсив мой. В. П.).

Прочитав, я усомнился. Не может этого быть! Так-таки «всегда невежественна»? и даже «права не имеет»?

24

Предыдущий листок был написан, — пришли «Известия» с отзывом Горького об этой «красавице». Ныне она в самом деле «разгримована». Отзыв укладывается в одну фразу: «развязно написанная книга его — сплошное вранье».

Отзыв крутоват. Не пощадил Горький нашего «лефа».

25

Впрочем, как бы плох Асеев ни был (дурной прозаик, злобный полемист — насчет этих его качеств я не обольщаюсь), справедливость требует признать, что А. М. Горький недооценил его как поэта. Я продолжаю считать, что в настоящий период, когда Маяковский, как никогда, снизил уровень своего творчества, Асеев в среде лефов — поэт самый крупный.

26

Отмечу, кстати, ошибку Н. Асеева. Жалуясь Горькому на критику, Асеев сообщал ему («Разгримованная красавица», 125), будто я «обзывал» его «публично чуть ли не лучшим лириком современья». «Этому я не верил» — добавлял Асеев. И хорошо делал. Я тоже не верю.

Не лучшим лириком современья «обзывал» я его. Это слишком много для Асеева. Но лучшим лириком среди лефов. Разве я был неправ?

27

В суд! в суд! — пишет Асеев в ответном письме.

Отзыв Горького его обидел жестоко. Хотя книжка, действительно, далека от блеска и глубины. Но как может протестовать Н. Асеев, который сам гораздо более грубо и менее основательно бранился последними словами на страницах своего «Лефа».

Когда бранит Асеев — это, очевидно, добро. Даже если он бранит зря.

Когда бранят Асеева — это, очевидно, зло. Даже когда бранят за дело?

Так, что ли, выходит на поверку?

28

Иногда в полемике какой-нибудь литературный птенец, только-что вылупившийся из яйца, в качестве веского аргумента бросает:

«Отцы и дети! Борьба поколений!».

Пустяки, дорогой! У нас происходит борьба классов, а не борьба поколений.

29

Однажды тов. А. Луначарский, касательно претензий иных «молодых», обмолвился превосходным словечком:

«Молодость — прекрасная вещь, но нет ничего отвратительней мальчишеской заносчивости невежды». («Смерть Толстого и молодая Европа». «Новая Жизнь», 1911, № 2).

30

Год с небольшим назад мы писали: «Агрессивность Лефа представляет собой попытку мертвого схватить живого... Леф на поверку оказывается просто блефом».

«Год отсверкал» — и сам Маяковский покидает Леф, выходит из Лефа, оканчивается «левой Лефа»! Потеряв признанного своего главу, организация эта оказывается ныне «безголовой». Участь, которой нельзя позавидовать!

Сам же товарищ Маяковский жмет руку товарищу Рембрандту.

Старик, поди-ка, обрадовался.

Шутка сказать: его «амнистировал» Маяковский!

Но вот вопрос — амнистировал ли Рембрандт Маяковского?

31

Оставшаяся задняя часть Лефа решила выступить в Политехническом самостоятельно, мобилизовав Асеева, Брика и Кирсанова. Среди тезисов доклада, озаглавленного «На чорта нам стихи», имеется язвительный тезис: «Чему Полонский радуется?»

Да Полонский не радуется. Он смеется.

Смеяться ж, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно.

Можно потерять галоши, штаны, руку, ногу, но потерять голову и, потеряв ее, хорохориться: «мы покажем!»—что же тут серьезного?

В истории встречались «круглоголовые» с «безголовыми» же, да еще такими беспардонными, мы встречаемся впервые. Признаемся: смешно. Хотя, конечно, веселого тут мало.

32

Книга Шкловского о Толстом, конечно, интересна. Много ценнейших наблюдений. Но все частности. Отсутствует понимание общего. Синтеза нет. Такое исследование мог бы написать даровитый муравей о пирамиде Хеопса. Он облазил бы ее сверху до низу, вдоль, поперек, внутри и снаружи, — и поведал бы детальнейше о материале, ямках, выбоинках, трещинках, шероховатостях. Общего же облика муравей дать бы не сумел.

Таков, впрочем, формализм вообще. Он весь в частности.

Наиболее талантливые формалисты это начинают понимать.

Отсюда эволюция Жермунского и первые робкие шаги Эйхенбаума. Даже Шкловский как-будто «тронулся».

33

«На лице выступила розовато-желтая кожа» — читаем в «Голубых песках» Всеволода Иванова (Изд. «Круг», стр. 156).

Кожа! На лице!! Выступила!!! Очень странно! Даже невероятно!

Мелочь, конечно. Но искусство не терпит пренебрежения к мелочам.

34

Когда мелочей становится много — они заедают. И с сорной травой надо вести борьбу.

Вот, например, что читаем мы в публикации писем Лассалья к Бисмарку («Летописи Марксизма», № 6): «... всем тем интересам, представителем которых я являюсь, был бы нанесен слишком смертельный удар, чтобы я мог согласиться просидеть в тюрьме» и т. д.

Позвольте заметить: удар может быть смертельным. Он может быть несмертельным.

Но слишком смертельным удар быть не может.

Лассаль, будучи человеком большой грамотности, такого выражения допустить не мог. Вероятно, тут какой-то другой оттенок мысли, не уловленный редактором.

35

В другом произведении («Берег желтых рыб») Всеволод Иванов рисует фантастическую картину («Седьмой берег», рассказы, изд. «Круг», стр. 184). Здесь по морю плывут трупы только что убитых людей и животных. Вместо с трупами, с развороченными черепами, с жилами, трепавшимися по воде, точно нитки, с грудями перепутанного мяса людей,—плыли и сундуки...

Это, вероятно, не реальные сундуки, а сундуки, так сказать, разгулявшегося воображения. Иванов, конечно, знает, что трупы убитых не плавают, а идут ко дну. Всплывают они несколько дней спустя, да и то лишь если труп не разрублен. Но автор это забыл. Также мелочь, но ведь недопустимая.

36

Повинен в этом смысле и кое-кто из живых «классиков». У Ивана Бунина, напр. (Полн. собр. соч. изд. Маркса, 1915, т. 6, стр. 150), можно прочесть:

И турецкий хан
Отрубил ему башку седую,
И швырнул ту башку в Лиман
И п л ы л а она, качаясь, в даль морскую...

Отрубленная башка, плывущая в морскую даль!.. Она не уступает, ко-

нечно, плавающим сундукам Иванова. До таких вещей может довести воображение, если его не контролировать.

37

«Башку» эту указал мне Сергеев-Ценский. В Алуште, на горе, с которой смотрит он на мир, крутя свой цыганский ус, Сергеев-Ценский весело смеялся над промахом «классика».

Но... и на старуху бывает проруха. Сам Сергеев-Ценский (превосходный знаток языка!) в последнем рассказе своем «Павлин» («Красная Новь»,

октябрь) рассказывает, как павлин стучал «носом» в дверь.

Помню, давно, какой-то беллетрист—Крупин, что ли,—написал про голубя, несшего письмо в зубах. Тогда посмеялись над этой удивительной породой. Но ведь «носастый» павлин Ценского недалеко ушел от «зубастого» голубя Куприна.

Я возразил бы также против словосочетания: «лупоглазые глаза» (там же).

Не то же ли самое, как если бы сказать: длинноволосые волосы? белозубые зубы? короткопалые пальцы?

5. КАФЕДРА ХАЛТУРЫ¹⁾

(Вместо рецензии)

С. Пакентрейгер

Скажем открыто и прямо: мы заболели манией величия. Мы жаждем лавровых венков и потому открываем новую дисциплину. Роман Павла Журбы толкнул нас на этот отважный путь. Если бы таких книг у нас появлялось мало, мы бы, конечно, не осмелились множить и без того обильное количество научных дисциплин.

Но романов, подобных роману Павла Журбы, у нас издается немало. Появляются они в разных изданиях. О них пишут рецензии, а порой и статьи, серьезные, важные, угрюмые статьи. Издаются они на прекрасной бумаге, которой, по уверениям Алексея Максимовича Горького, у нас не очень много. Выпускаются они, как новинки изящной словесности. Очевидно, есть какая-то закономерность в их появлении. А там, где есть закономерность, там естественно возникает необходимость в строгом научном исследовании.

Павел Журба, или скорее его роман—не жертва нашего исследовательского каприза. Для молодой и новой дисциплины — это наиболее богатый, наиболее совершенный, наиболее ценный образец.

В каждом безумии есть доля разума — утверждал философ. Втайне мы делеем надежду, что из нашего безумия извлекут долю разума люди более положительные, чем мы, что они подымут новую дисциплину на высоту подлинной науки и даже, возможно, обогатят труды социологического разряда Государственной Академии Художественных Наук.

Своеобразие и, как выражаются люди науки, «специфика» произведений мастеров халтуры заключается в одном необыкновенном качестве. Их можно читать с конца, с середины, с любой страницы, можно читать с начала и с конца одновременно. Автор от этого ничего не проигрывает, а читатель может выиграть. Но выиграть он может только в том случае, если познакомится хотя бы с элементарными правилами халтуроведения.

Попытаемся на романе Журбы ознакомиться с некоторыми из этих правил и практически проверить, есть ли основание для организации новой науки.

На странице 48 вы читаете: «Был угрюм и нелюдим, как волк»; на следующей: «Трепетали перед ним, словно перед волком»; перелистайте дальше книгу и вы уже не выберетесь

¹⁾ Павел Журба. Черный пар. Роман. И-во «Пролетарий». Стр. 560. Ц. 4 руб. 95 коп.

из царства волков и волчиц: «Пойманной волчицей озиралась» (59), «и волчьи смотрели» (91), «тенью, лохматой волчицей, сжимающей степь» (96), «и в голосе каменная суровость и дрожкая волчья жалость» (102), «тоньше и гибче лозы хитрая мужичья лесь. А зависть и жадность волчья» (115), «Агат, по-волчьи ощерившись» (126), «и захотелось с медвежьим ярим рыком ринуться на кого-то. Измельчить в хруст. Или зычно завывать по-волчьи» (162). И на трехсотых, и на четырехсотых страницах — волчьи взгляды, волчьи чувства, волчьи ухватки. Сплошное волчье наваждение. Впрочем, это не совсем верно. Каемся, у нас нехватило объективного терпения проследить медвежьи и другие виды зоологической изобретательности скромного автора. Но мы можем компенсировать наши упущения иллюстрацией более поражающих изобразительных средств, взятых из той же серии приведенных примеров.

Тому самому, как мы узнаем впоследствии, правдонскателю, блаженному и преподобному мужичище Архипу, которому захотелось с медвежьим рыком ринуться на кого-то, захотелось также, как уверяет автор, кого-то «измельчить в хруст».

Павел Журба — несомненный новатор. Последователи его, вероятно, будут писать так: искрошить в крик, избить в вой. Нам, скромным халтуроведам, остается только найти точный термин, чтоб закрепить этот прием в сознании многочисленного начинающего молодняка и назвать его фонетизацией, т. е. звуковым оформлением результатов рукоприкладства.

До Павла Журбы считалось, что измельчить человеческое существо, при особом на то желании, можно только на куски или на кусочки. После Павла Журбы человека можно будет измельчить без особого усилия не только в хруст, но и в любые звуки, даже в непристойные.

Журба открывает неограниченные просторы не только в области манипуляции над человеческим естеством, но и над естеством русского языка. Он создает совершенно неожиданные прилагательные, неслыханные существи-

тельные и особые, оригинальные глагольные формы. «Холодковатые» тени, «крупность», «пухоль», «тернул» слезящийся глаз, «обленение», «протрухикали» рысцей, «горечные» вздохи, «лебезливо», — все эти новообразования безусловно потребуют составления специального толкового словаря, на подобие словаря Даля, потребуют кропотливого, вдумчивого и любовного труда халтуроведов.

О, закоренелые консерваторы, оспаривающие законность новаторства! Без всякого зазрения совести они скажут, что абсолютная свобода — свобода от презренной грамматики, от застарелого синтаксиса, от захваленного литературного наследства, от уважения читателя, даже к самому себе — высший закон для наших литературных Робинзонов.

Да, да, закоренелые консерваторы, бог не выдаст, свинья не съест, издательство проморгает, Журба выпустит роман, рецензент наспех, на ряду с «проблесками» и не совсем здоровым классовым чутьем, отметит, что автор не вполне владеет сюжетом, композицией, из сожаления и бережного отношения к начинающему мягко скажет, что автор также не совсем свободно владеет русским языком.

А в сущности автор владеет умением держать ручку и выводить залихватски и ухарски на бумаге все, что взбрдет в голову и что может питать только халтуроведов — т. е. людей, делающих серьезный и глубокомысленный вид и не вполне уверенных в том, разбирают ли они произведения честных авторов или авантюристов-макулатурщиков.

Чего ради вы потратите несколько дней чтения на книгу в 560 стр., в которой крестьяне и крестьянки рыкают, крикают, гаркают, дрыгают подбородками, скрежещут зубами, как жерновами, пучат глаза, рвут на себе волосы, отрывая их целыми клочьями, шипят, орут, столбенеют, каменеют, точно одержимые пляской святого Вита.

Для эмоционального равновесия автор порой «подпущает» жалость и сердоболые, и халтурные обормоты его обязательно выпускают две горячие или две солёные слезы, которые, конечно, медленно текут по всему лицу.

Все это не сочинено нами, все это выписано из романа, при самом добросовестном чтении которого никак нельзя обнаружить «умонаклонения» романиста.

Да и зачем «умонаклонение»? Надо заполнить полтысячи страниц. И они заполняются истуканами, которым автор вменяет в обязанность представлять собой кулаков, бедняков, интеллигентов, бандитов, повстанцев.

Из этой серии истуканов мы выделим только двух. Через весь роман проходит уже упомянутый нами мужичище Архип. Он наделен неимоверной физической силой, легко и непринужденно разрывает вервья, которыми его спутывают, разбрасывает черкесов, как щенков, только по щедрой милости автора остается живым после жесточайших избиений и неоднократных тюремных заточений, от казней физических и духовных.

Он ищет неустанно божьей правды. На всякую несправедливость он реагирует евангельскими размышлениями и изречениями. Божественный монумент этот переносит на своих плечах все ужасы помещичьего и царского гнета, а когда приходят большевики, праведная душа его начинает искать примирения в большевизме.

Есть даже специальная глава в романе, изображающая, как в годы жесточайшего разлива гражданской войны на Украине «по хуторам и селам ходил согбенный, обвешанный торбами сивый дед» и с «восторженным блеском» в глазах, и голосом «дрожким и гуторким» сеял большевизм от Матфея и Луки, от пророка Исаии.

И хотя восторженному сивому праведнику, сочетавшему в душе своей истину христианскую с истиной большевистской, достается в награду за тяжкие испытания совхоз, он все же запивает, ибо семейная жизнь его разрушена.

Было у него два сына. Один, Потап, при царе служил в императорской гвардии, а у белых дошел до офицерского звания. Другой, Лавро, был шахтером, начальником повстанческого отряда, работником ЧК, членом КП(б)У и вышел из революции «опустошенным».

После бури оба брата встретились в доме отца. Потап «ахнул» колом по голове Лавро. Последний со «страшным зверючим рыком грохнулся о землю. А Потап, визжа и скрежеща зубами, молотил по нем колом».

Когда появился Архип с женой, Потап «юркнул в темный садик», Лавро сжасли, а «когда полыхнуло первыми сухими лучами огромное утреннее багряное солнце, в садике сняли со старой корявой груши повесившегося на кожаном поясе уже остывшего и посинелого Потапа».

Братоубийственный роман заканчивается печальной сентенцией Лавро: «И революция и мы с вами,—говорит он уже согбенному монументу Архипу,—все черный пар. Поляжем удобрением».

Казалось бы, конец. Положил бы автор своих истуканов смиренными навозными кучами. Так нет же. Ведь мы живем в эпоху оптимизма. И потому даже истуканам автор возбраняет омрачать бодрую музыку времени. Только что превратил Лавро в навоз, а через одну строчку отправляет его «строить новую жизнь».

Белинский некогда такого рода произведения называл «ванькиной литературой». Он издевался, он клеймил, он высмеивал ее, в сущности издеваясь и высмеивая ее потребителей. У нас этот почетный род литературы является не только частным плодом писательской инициативы, но и плодом общественной работы редакторов, рецензентов, издательств, позволяющих этой литературе появляться на свет божий.

Посмеешься над книгой, и не потребитель, а производитель—редактор или издатель—примут это на свой счет. Поэтому, если «ванькины» романы нам нужны, то мы настаиваем на учреждении академической кафедры халтуроведения.

Это будет полезно не только для редакторов и издательств. Без оной кафедры, без специальных учебников, пособий и руководств читатель наш сбьется с пути и, чем черт не шутит, может заболеть помрачением ума.

Как, в самом деле, не помрачиться иному читательскому рассудку, если

по самым строгим расчетам одна книга Павла Журбы обходится государству во столько же, во сколько обходится полтора трактора. Что же нам нужнее: роман Журбы или полтора трактора?

Без вышеупомянутой науки ни одному смертному советскому уму не разрешить этого сложного вопроса.

Мы голосуем поэтому за халтуроведение.

6. ДЕНЬГИ ПИШУТ

Г. Рыклин

Прежде чем перейти к деньгам и рассказать о том, как «презренный металл» пишет новеллы, романы и стихи и является самым популярным и признанным автором в стране, украшенной небезызвестной «статуей Свободы», разрешите вкратце остановиться на одной юмористической истории—на истории Павла Джердановича.

Многочисленным репортерам, заинтересовавшимся его личностью, мистер Джерданович объявил, что он по происхождению россиянин, провел много лет среди каннибалов Полинезии и усвоил у них «непосредственный подход к цели».

Павел Джерданович прославился как оригинальный художник, как своеобразный мастер живописи. В настоящее время имя его пользуется широкой известностью. Произведения его гениальной кисти выставляются в Чикаго и Нью-Йорке. И лучшие художественные критики Парижа удостоили Джердановича своими восторгами.

Несколько лет назад это имя никому не было известно. Но вот появляется его первая картина «Страстное желание». Люди со здравым смыслом глядели на это полотно и недоуменно пожимали плечами: ничего не понятно. Критиков и меценатов обуяла неописуемая радость: гениально, шедевр!

На картине показана какая-то весьма странного происхождения птица, почему-то именуемая автором космическим индюком. На долю сего индюка и выпала обязанность символизировать подавление желания. Птица сидит на кресте, что опять-таки является символом, а на другой стороне, у веревки, протянутой для белья, стоит космический цветок с белыми листьями—он означает бессмертие. И тут же на

амплуа «венца творенья»—дикая женщина из племени каннибалов.

Эта картина и вызвала шумное одобрение критики, и Джерданович сразу окунулся в теплые волны славы. Хроника—о Джердановиче. Статьи—о Джердановиче. Доклады—о Джердановиче.

Окрыленный неожиданным успехом, молодой художник написал еще две картины, где космические индюки и символистическая чепуха были поданы еще в больших порциях. Слава его росла и крепла.

Восходящую звезду, Павла Джердановича, приглашают в Лагун-Бич и предлагают ему прочесть доклад в Художественной ассоциации.

Джерданович принимает предложение. И вот тут-то разыгрался грандиозный скандал.

Докладчик вышел на трибуну и вкратце рассказал, как «дошел он до жизни такой». Он—не русский, а чистокровный американец. Не Павел Джерданович, а Паул Джордан Смит. Не художник, а беллетрист, сатирик и большой шутник. Он никогда не держал в руках кисти и о живописи не имеет ни малейшего представления.

Шутки ради он решил написать карикатуру на тот клам, который навязывается публике в качестве футуристического искусства. Он и думал, что все это будет принято как шутка. И совершенно не может считать себя виноватым в том, что все это было принято всерьез.

Все негодовали. Против бывшего Джердановича поднялась кампания. Один маститый критик даже обвинил его в том, что он сбежал с лекции и захватил с собой всю выручку.

Кумир свергнут.

* * *

Паул Джордан Смит—приятель Эптона Синклера. И Синклер присутствовал в квартире будущего Джердановича, когда он рисовал свое знаменитое «Страстное желание» с космическим (вернее—комическим) индюком.

Эта история занимает несколько страниц в новой книге Э. Синклера—«Деньги пишут»¹⁾. Глава о Джердановиче не выпадает из общего плана книги, иллюстрирующей влияние капитализма на американскую литературу. Это—весьма характерная деталь. Так буржуазной критикой делаются «любимцы публики». Так по мановению золотого жезла создаются «школы», течения и направления. Так прививаются вкусы той публике, которая потребляет произведения искусства.

В своем кратком предисловии к эту-ду Синклер пишет:

«Эта книга представляет собой очерк американской литературы с экономической точки зрения. Я беру наших писателей-современников, выворачиваю их карманы и спрашиваю:—Откуда это у вас? И что вы за это сделали?—Это—невежливая книга, но честная и необходимая».

Было бы ошибкой подходить к данному вопросу упрощенно, как это делается в некоторых псевдо-революционных пьесах. Капиталист, мол, подходит к писателю, вынимает из кармана чек и небрежно дает ему «социальный заказ».

— Наши судьи не подкуплены, они только подобраны надлежащим образом,—однажды сказал Синклеру один американский государственный деятель.

То же самое применимо и к жрецам буржуазного искусства. Они не подкуплены (в прямом и грубом смысле этого слова), они искусно подобраны.

«Содержание американской литературы и искусства, — свидетельствует Эптон Синклер, — определяется крупными фашистскими журналами и изда-

тельствами, непосредственно подчиненными Уолл-стритгу (бирже). Они решают, кто должен быть возвеличен, прославлен и осыпан деньгами, и молодой писатель, если он не будет слушаться их, имеет полную свободу запереться где-нибудь на чердаке и умереть с голоду».

Паул Джордан под личиной Павла Джердановича попал своей космической чепухой «в точку». Его экстренным порядком возвеличили и вознесли на вершины славы. Но когда была разоблачена эта остроумная проделка, его опять-таки экстренным порядком свергли с престола и даже пытались затоптать в грязь. Издавна известно, что барская ласка не особенно живуча.

Была когда-то в американской журналистике и литературе краткая эпоха разоблачений. Но она давно ушла в прошлое. Мощная волна развивающегося капитализма смыкает всякую честную попытку восстания в литературе против господствующих классов.

«Всякий американский журнал, — рассказывает Синклер, — в котором печатались какие-нибудь сообщения, неудобные для крупного предпринимательства, либо покупался, либо доводился до банкротства, и эпоха разоблачений отошла в безвестное прошлое».

Синклер недавно написал статью о Джеке Лондоне. В ней, между прочим, говорилось о том разрушительном влиянии, которое оказывает алкоголь на дарование. Журнал «Американский Меркурий» вернул Синклеру статью с припиской:

«Наш журнал отстаивает восстановление свободной продажи спиртных напитков».

Кто после этого может сказать что-нибудь плохое о «свободе печати» в условиях капиталистического строя? Просто в этом крупном журнале редактор производил отбор среди американских писателей в интересах читателей американских питейных заведений. Хочешь в нем печататься,—пой хвалу спиртным напиткам и доказывай, что виски способствовало развитию таланта Джека Лондона.

В настоящее время в Америке не существует независимых журналов, пользующихся широким распространением

¹⁾ Э. Синклер. Деньги пишут. — Эту-ду о влиянии экономики на литературу. Перевод с английской рукописи В. Я. Жуховецкого. Предисловие и примечания С. С. Динамова. 1928. ГИЗ. Стр. 295. Ц. 1 руб. 75 коп.

Они все теперь трестированы. «Все они функционируют так же, как многолапки или трестированные сапожные фабрики: к ним применяются те же принципы стандартизации и массового производства... Они даже заказывают себе писателей: берут какого-нибудь молодого автора и «выводят его в люди» точно так же, как Ласки или ПарамOUNT превращают какую-нибудь маникюршу с хорошенькими губками в «звезду», пользующуюся мировой известностью».

А в то же время как ловко буржуазия умеет расправляться с негодными ей литераторами и с теми произведениями искусства, которые хоть в малейшей степени нарушают ее покой!

Кажется, в прошлом году в наших кинематографах демонстрировалась фильма «Розита» с Мэри Пикфорд. Веселая и очень невинная картина. А вот в Америке, в университетском городе Беркли, «Розита» была запрещена, потому что там изображен распутный испанский король. И в местной газете цензоры так объяснили свой поступок:

«Пьесы, которые изображают в унизительном виде представителей власти, сеют радикализм».

Это не важно, что в САСШ республиканский образ правления. Короли угля, стали и нефти не могут допустить, чтоб насмеялись над каким бы то ни было королем, даже самым пустяковым.

В Бостоне суд осудил приказчика из книжного магазина за то, что тот продал экземпляр «Американской трагедии» Теодора Драйзера.

Там же запретили продавать «Нефть» Синклера.

Бостонский цензор, священник Чейз, так объяснил Синклеру те моральные правила, которых он придерживается при просмотре литературы:

«Автор романа может написать, что Джон спал с Марией, и у Марии родился ребенок. Но как только он заставляет Джона сделать какой-нибудь жест, выражающий его чувства по отношению к Марии, книга становится непристойной, и я ее запрещаю»...

В Чикаго были запрещены «Джунгли» Синклера потому, что «книга эта является оскорблением для главной

отрасли промышленности города Чикаго».

Нельзя касаться королей. «Руками не трогать»...

* * *

«Дорогая мисс... Не восхищайтесь моими романами, они совершенно неискренни. Я пишу ради денег. Преданный вам Чемберс».

Так в редкую минуту раскаяния ответил этот писатель на письмо одной из своих многочисленных поклонниц.

Но не всякий способен на такую, даже минутную откровенность. Триумфальное шествие по путям, усеянным долларами и цветами, многим кружит голову, и они даже боятся оглянуться назад к заре своей литературной деятельности, где некогда мерцали идеи убеждения, желания творить.

«Из художников преуспевают те, — замечает Синклер, — кто умеет облечься в защитный панцырь и жить под ним наподобие черепахи. Беда только в том, что с течением времени они обращаются целиком в панцырь, — от черепахи ничего не остается. Художественные импульсы умирают, остается только имитация и поза».

Синклер перечисляет ряд американских писателей и журналистов, которые ныне купаются в золоте, потому что сумели во время облечься в защитный панцырь. Хоуэлс, Черчилль, Патерсон, Бьюкенен, Хоуз, Маркоссон, Тернер, Нина Путнем и проч., и проч.

Золотое болото засасывает. Молодой писатель первое время мечется, выбирая свой путь. Пройдешь налево — недоедание, холод, маленькие социалистические журналы. Пойдешь направо — шик, блеск, масляница. Крепкие, честные и благородные — в роде Эдвина Маркена, Джаванити, Ральфа Чаплина и др. — идут к рабочему классу, в социалистическую журналистику и литературу. Колеблющиеся — в роде Синклера Льюиса — топчутся посередине, не имея твердой почвы под ногами. Слабые натуры, а также изучившие науку приспособления, берут круто вправо и начинают украшать своими писаниями страницы реакционных и фашистских журналов.

«Если такое количество золотой жидкости вливается в литературный аквариум, то приходится ли удивляться, что целая свора книжных ежей начинает безумствовать?»...

Деньги пишут...

В чем же, как говорится, выход из создавшегося положения?

На это Синклер отвечает, что все это будет продолжаться до тех пор,

«пока рабочие и фермеры не объединятся для того, чтобы выковать оружие для своего освобождения».

И совсем бодро звучат заключительные строки этой книги:

«Я полагаю, что не пройдет нескольких десятилетий, как в Америке появится литература, проникнутая научным оптимизмом и созидательными общественными началами».

7. ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ И АМЕРИКА

Б. Песис

Интерес к Америке не только сделал ее постоянной темой французской журнальной публицистики, но и вызвал ряд попыток художественного воспроизведения жизни Нового Света. Среди этих попыток обращают на себя внимание: две книги Люка Дюртена — «Превзойденный Голливуд» и «Сороковой этаж»¹⁾, американские вещи Поля Морана, особенно рассказ «Прощай Нью-Йорк» («Adieu, New-York», «Revue de Paris», июнь этого года) и «Лафайет или Открытие Америки» Жозефа Дельтейля, частично напечатанный в «Revue Européenne».

Дельтейль и Дюртен дают два прямо противоположных взгляда на Америку. Если в книге первого мы в самом деле присутствуем при торжественном «открытии» заокеанского материка, то про Дюртена можно сказать, что он Америку «закрывает», упраздняет, как нечто, что не только не должно быть принято, но «превзойдено», преодолено, несмотря на сорокаэтажный американский дух и сорокаэтажное высокомерие янки. Насколько разными глазами глядят в этом случае оба писателя, видно из принятых ими характеристик американского человека. Американец à la Дельтейль: «рослый молодец, хорошо сложенный, с гладкой кожей, обладает верным умом. Ест, дышит равномерно, носит чистое белье, имеет свою ванную комнату и автомобиль,

ходит в кинематограф». «Я — американец, — продолжает Дельтейль, — ... я люблю этот аппетит, обемистость желудка, спокойное дыхание ничем неограниченного животного».

Дюртен: «О здоровья Америки не следует судить по одним лишь великолепным атлетам, которых она экспортирует». Американец, это — «коротенький рыжий человек с неудачно размещенными отложениями жира... в башмаках, которые заставляют думать о бесформенных конечностях... Кожа на веках, лишенных ресниц, способна своим видом испортить аппетит... Тики, нервные жесты, неустойчивое внимание». Дюртена отвращает в физическом мире янки все, даже неизбежность «ванной комнаты», которая кажется автору предназначенной для того, чтобы «смыть» налет духовности с облика американца.

Дельтейль — это фашистская идеализация Америки, любование «здоровым» режимом социальной жизни, спасающим от всяких угрызений совести, общественной и личной. Выкупанная, выбритая и посаженная в собственный автомобиль «цельная личность» business-man'a представляется образцом счастья. Такой «сверхчеловек» безгранично импонирует издерганному, разрозненному получеловеку, которым является французский интеллигент.

«Сегодня этот великий народ (американцы.—Б. П.) сглатывает все золото мира. Он овладевает постепенно всей властью... Сердце вселенной бьется в Нью-Йорке. Имперализм? — Империа-

¹⁾ «Сороковой этаж» составлен из трех рассказов: «Преступление в Сан-Франциско», «Город-видение» и «Смит Вильдинг».

лизм красных кровавых шариков... Я люблю этих миллиардеров, бывших тряпичниками, люблю их удалую манеру говорить о деньгах... Во Франции финансы находятся в духовном изгнании. Их стыдятся, о них говорят шопотом, как о сифилисе. В Америке порядочный человек, наконец, имеет право воскликнуть: «Да здравствуют деньги!». Из таких «бодрых», крикливых ноток составляет вопль слабосильного фашиствующего интеллигента, который досадует на родную Францию, вынужденную о деньгах говорить шопотом потому, что их мало, о сифилисе—потому, что его слишком много. Империализм, кровожадность «спокойного животного»—никарагуанского, к примеру, усмирителя—представляется Дельтейлю признаком полнокровия, счастливого избытка сил. Дельтейль ничего не желает слышать о непрочности американского счастья. Возможные сомнения он заглушает отчаянным и наивным лозунгом: «Да здравствует сегодняшний день! Ни прошлого, ни будущего,—одно прекрасное и живучее сегодня, бог—Сегодня». Америка—пророк его.

В том же стиле статья писателя Дриёля-Рошелля «Метаморфоза капитализма» (*Revue Européenne*). Согласно вычислениям ля-Рошелля, наибольшее количество счастливых людей приходится на Америку. Капиталистического рабства нет там, а есть, так сказать, равенство всех перед капиталом, который у американцев является «коллективным благом, универсальным, властвующим над сердцами мифом... К ногам этого бога, все более безличного и оторванного от земли», несут плоды своих трудов наука, искусство и т. д... «Прибавочная ценность—елей, возжигаемый у алтаря этого божества». Изыскания ля-Рошелля интересны не столько этим мифом о мифичности рабства и неравенства, сколько тем, что здесь откровенно назван истинный объект восторгов—фашизм, по мнению автора, составляющий наивысшую ступень современных общественных и нравственных идеалов.

Характерно, что свою новую любовь этим писателям не удается претворить в произведение искусства. Дриёля-Рошелль, талантливый беллетрист, воспе-

вает Америку в статье. Дельтейль пишет роман о Лафайете, о героическом прошлом Нового Света. Современной Америке в его книге досталась опять-таки публицистика, фельетонное посвящение, из которого было цитировано выше.

Художественное использование современной американской темы оказалось возможным только на основе негириятия, обличения, сатиры, т. е. в той форме, в какой это сделано Дюртеном. Дюртен не верит в здоровье Соединенных Штатов. «Приложите ухо к груди современной Америки... Шумы, которые вы услышите,—ненормальные шумы... Сердечные клапаны поражены!»... Народ, считающий себя самым богатым в мире, на самом деле переживает «огромную нужду», духовную бедность. «В существе всякого американца—...полная неудовлетворенность, грандиозное, безграничное беспокойство». Трагедия Америки—в патологическом расхождении между ритмом ее «спокойного дыхания» и большого беспокойного сердца, в противоречии рекламного оптимизма, самоуверенности и беспросветной действительности, «стандартизации мозгов и сердец».

В знак протеста против обезличения Америкой человека, Дюртен переносит на американскую почву излюбленный современной французской литературой мотив *evasion*—«бегства» индивидуума от общества, стремления «открыть окно» и выпрыгнуть «хотя бы в пустоту». Эта мысль лежит в основе обеих его книг. «Превзойденный Голливуд»: швейцарский студент, желая освободиться от «европейских казарм», бежит в Америку, становится контрабандистом, затем изменяет «свободе», нанявшись в качестве домашнего скульптора к нефтяным королям. Сооружение бесмысленной аллегорической статуи «Королева нефти» дает ему славу и деньги. Сандроц спохватывается и спасается от стабилизации и американского счастья на Яву. «Преступление в Сан-Франциско»: герой, осмелившийся нарушить законы американской «мужской» нравственности, приговаривается к тюремному заключению. Ненависть сограждан преследует его и по выходе на свободу. Он уходит по широкой, не-

известно куда ведущей дороге, очевидно, «в пустоту». «Город-видение»: безработные рабочие, не найдя себе места в новеньком, только что построенном, имеющем большое будущее городе, уходят в леса к «настоящим медведям» и шатрам. Та же приблизительно мысль и в рассказе «Смит Бильдинг».

Приемы, которыми разработана психологическая сторона этого сюжета, говорят о том, что целью Дюртена было остранить облик человека, обнаружить сложность его духовной организации в противовес упрощенной до бездушия социальной системе Америки. Жизненная задача Сандроца — непрерывно «увеличивать значение своей личности для себя самого». Уходя из Америки, Сандроц, поклонник философии и искусств, освобождается «от всего, что не он», «от всех видимостей», возрождается «из глубины себя самого». Человек — это звучит «сложно» для Дюртена.

«Возможно ли, — пишет он, — полностью постигнуть хотя бы одного человека... всякое существо не является ли неуловимым, несоизмеримым?». Внутренняя жизнь его героев затруднена, разражена. Чтобы сделать ощутимой всю эту сложность, Дюртен постоянно дает «спецификацию» человека, дает «человека с его руками, коленями, мозгами», любителю деталями улыбки, еле заметных движений лица, жестами, как величайшими чудесами духовной техники. Против сорокаэтажных зданий Америки — сорок этажей чувств, мыслей, побуждений одного человека. Этой выпуклой реальности противопоставляется смазанная, безликая Америка. В отрицании американской действительности Дюртен доходит до того, что вся Америка с грандиозными замыслами, банками, клубами, богатствами становится для него призрачной, существующей наполовину. Америка в целом «превзошла» искусственный, выдуманный Голливуд в том смысле, что сделалась еще более, чем он, шаткой, нереальной, готовой рушиться ежеминутно. В «Превзойденном Голливуде» город «производит смутное, как во сне, впечатление, впечатление туманного налета, похожего на тот, который возникает, если подышать на сте-

кло». В «Городе-видении» (буквально «Город, созданный видением») эта непрочность, нереальность мотивирована тем, что город Лонгвью, о котором идет здесь речь, построен в 18 месяцев, в большинстве случаев в нем еще только обозначены места, на которых будут воздвигнуты банки, отели, заводы. Американцы считаются с этой неродившейся душой города, как с реальностью. «Но, — спрашивает Дюртен, — достаточно ли наметить на дикой земле место для зданий, чтобы обеспечить им существование... сфабриковать город, бросив его в пространство, как полотнище». Герои рассказа, прибыв в этот город, долго не могут его найти, несмотря на широковещательные плакаты, утверждающие, что город действительно существует, гласящие: «Добро пожаловать в Лонгвью». «Американцы — ...алгебраичны, живут знаками: много золота — знак богатства, много законов — знак добродетели, много пушек на кораблях — знак мира». В Америке ничему нельзя верить, она — «идея, которая требует размышления».

Таково именно отношение к Америке героев Дюртена. Они хотят увидеть эту страну по-новому, «наоборот», как говорит Сандроц. Они наблюдают ее с необычной точки зрения, иногда в буквальном смысле этого слова. Ральф — («Преступление в Сан-Франциско») подымается на гору Тамальпаис, возвышающуюся над Сан-Франциско. «Ему казалось, что он покинул Америку, чтобы затем войти в нее по-новому и приобрести... более широкий взгляд, более глубокое понимание ее». Возвратившись, он ощутил другую Америку, не ту, «в которой жил всегда». Все содержание рассказа «Смит Бильдинг» (60 стр.) сводится к тому, что герой с высоты сорокаэтажного небоскреба обозревает Америку, ее запад, восток, юг и север.

Что же нового видят эти герои со своих вышек? Дюртен открывает взорам Ральфа, взорам Сандроца почвенную Америку. Америка Голливудов, городов-видений, как-будто сооруженных в кино-ателье, должна быть превзойдена Америкой «натуры» — лесов, полей, пустыни. Сандроц, отувитившись за городом, «вдали от поселений»,

«углубившись в пустыню... наконец находит немного того, что он приехал искать в Америке». Ральф на горе счастлив, что «ветер веет ему в лицо», что вокруг него «нет ничего, кроме голыи земли» и гигантских деревьев, олицетворяющих «бессмертие и плодородие». Дюртен любит обнаруживать в самом сердце американских городов остатки индейской пустыни, «среди зданий—дикие травы и кустарники», рядом с городской чертой—«равнину, такую же пустынную, как во времена Христофора Колумба». На острове Каталопии, где побывал Сандроц, некогда жили индейцы «в цветущих деревьях. Рыбаки и пастухи, украшенные сверкающими ожерельями из ракушек, с достоинством драпировались в пестрые одежды... Сегодня капиталист из Чикаго... владеет этим островом», и каждый квадратный метр застроен там виллами, купальнями и т. д. Иногда даже сорокаэтажные небоскребы кажутся Дюртену воспроизведением колоссальных столбов—тотемов индейцев. Его положительные герои в минуты душевного подъема «возвращаются к древним реальностям», к внутренней свободе, «становятся дикарями». В «Превзойденном Голливуде» есть такая сцена. Пьяный Сандроц пляшет с американской дамой, полуодетой, проигравшей ему этот отказ от костюма в карты. Товарищ Сандроца силой удерживает мистера Хикмана (мужа), возмущенного пляской. «Вопреки Голубым законам (т. е. американским законам нравственности—Б. П.) и границам конституции», возвращаясь «па три столетия назад», «американка пляшет перед взбешенным дядей Самом, отдавшись во власть» двум свободным духом «европейцам». В такую веселую примитивную пляску Дюртену хотелось бы, как Сандроцу, увлечь всю Америку. «Так,—говорит он,—танцевала бы вся Америка, если бы Америка могла на миг перестать скучать».

Герои Дюртена принадлежат к людям, которые «знают подлинный запах солнца и ночи». Они хотят жить не только под звездами американского национального знамени, но и под подлинными звездами. Ховард, страхового агента, мечтает о путешествиях потому,

что в нем живет дух великих предков, завоевателей, которые «покинули берега Атлантического океана для настоящей пустыни, огромной, неизвестной, полной опасностей». Американские пионеры были завоевателями пространства. Ныне «завоевание миль превратилось в завоевание долларов». Для Дюртена—это переход от высокого качества к низменному количеству.

Очарованный свободой молодой Америки, Дюртен ищет соответствующих «натуральных» пейзажей в Америке современной. Взор его останавливается па неграх. «Вот народ-ребенок, он доволен, все радует его взор». В этом—его «превосходство над белой расой, которая принимает всерьез игрушки, созданные паукой, и не умеет смеяться».

Любопытно, что свою «идею» Дюртен (очевидно, совершенно случайно) разделит с таким непохожим па него писателем, как Поль Моран. В рассказе «Прощай, Нью-Йорк» мысль Морана идет по тому же пути: противопоставление американскому машинизму примитива. Героиня Морана, Памела богатая американка, отдаленно происходящая из негритянского племени, во время увеселительного путешествия в Африку случайно остается там: белые спутники, узнав о ее происхождении, коварно бросают ее на Черном материке. Памела постепенно «прощается». «Цена ей уже не сто миллионов долларов, а—три быка, как прочим (т. е. негритянским—Б. П.) женщинам». Она воссоединяется с «землей предков», с неграми, для которых «отсутствие потребностей является лучшим украшением». «Бедность их украшала; чем больше они трудились, тем они становились прекраснее; всякое усилие у них превращалось в пение или пляску». Заключительная сцена: Памела, сбросив с себя европейское платье, пляшет наравне с негритянскими женщинами в глухой африканской деревне.

Моран, который в «Живом Будде» ввозит в Европу (в лице азиатского принца) восточную, древнюю цивилизацию, здесь ввозит на африканский простор примитивную негритянскую душу, заставляя ее «распрощаться» с Нью-Йорком. Моран, как известно,

не является другом негров. Если негры выступают у него в качестве якобы идеальных героев, то это потому, что для Морана Америка, очевидно, может быть превзойдена даже неграми. И Дюртен сомневается в том, чтобы «лояльный американский гражданин» мог «подняться до негра». «Ибо американской земле понадобится еще 15—20 веков культуры, чтобы создать человеческие типы, равноценные неаполитанскому Iazzaroni или парижскому зеваке».

Нетрудно видеть в какой мере «опрощенство» Дюртена представляет собой упрощение американской «проблемы». Начав с жалоб на некультурность и ограниченность янки, в доме которого нельзя найти иных предметов искусства, кроме радио и фонографа («Превзойденный Голливуд»), начав с противопоставления сорокаэтажному небоскребу индивидуалистической башни из слоновой кости (Сандроц), Дюртен приходит к тому, что «Голубые законы», обезличивающие американца, предлагает заменить «законом дикаря» и пустыни. Это значит, что автор «Голливуда» в положительной части своей американской программы недалеко ушел от Дельтейля, воспевающего в американце «спокойно дышащее животное». Дельтейль, принимая современный Новый Свет, оговаривается при этом, что ему безразлично будущее: «Да здравствует сегодняшний день!». Дюртен, предрекая этому «сегодня» гибель, не представляет себе никаких перспектив развития, социального преобразования Америки, и обращается к американскому прошлому или вообще к мыслям «о вреде наук и искусств». Непонимание социальной природы американского благополучия и благополу-

чия приводит его, если не к реакционным выводам Дельтейля, то к выводам консервативным или просто декадентским. Негритянская первобытная воля имеет для Дюртена то же социальное обаяние, что и счастливая свобода деклассированных Iazzaroni и парижской богемы.

В этих книгах лучший (по своим идейным качествам) из названных здесь писателей обнаружил такое же слабое понимание современности, как и в своей книге о Советском Союзе, в которой Дюртен, оказавшись неспособным постигнуть подлинную социальную сущность СССР, уместить его в круге «европейских» понятий, отвел нам место вне Европы, как государству столь же заманчивому, сколь и загадочному¹⁾. Свое пребывание в Советской России Дюртен не сумел отразить в художественном произведении, очевидно не найдя героя, в котором можно бы воплотить энигматический дух «Советов». Америка, естественно, ближе Дюртену. О ней он написал два романа, за которые получил во Франции премию. Однако в этом случае Дюртен ограничился кругом таких безнадежных по своему социальному облику героев (американский мещанин, деклассированный интеллигент, деклассированный рабочий), что пришел к самым беспросветным, не указывающим никакого выхода, результатам.

Современную Америку французской литературе еще предстоит открыть. Вряд ли это сумеют сделать писатели того идейного толка, который представлен Мораном, Дельтейлем или даже гуманистом Дюртенем.

¹⁾ Люк Дюртен. Иная Европа. Москва и ее вера.

7. В ТУНДРЕ

(Из воспоминаний о путешествии по Восточной Сибири)

В. Арсеньев¹⁾

В 1917 году моим спутником был тунгус Гавриил Попов—мужчина среднего роста, хорошо сложенный. Овальное лицо его, немного выгнутый нос, слегка выдающиеся скулы, темно-карие

глаза с монгольской складкой век, стриженные волосы на голове и полное

¹⁾ В. Арсеньев автор известной книги «В джунглях Уссурийского края».

отсутствие усов и бороды дадут читателю некоторое представление о его внешнем облике. Он носил русскую рубашку, черные штаны, верхний кафтан из шинельного сукна, сшитый по манчжурскому образцу, и обувь из толстой замшевой кожи, в роде унтов с ремешками ниже колена. Грловным убором ему служила самодельная меховая шапка с длинными наушниками, которые наподобие двух хвостов свободно свешивались на грудь по сторонам головы. Тунгус Попов был грамотен и свободно владел русским языком и, когда говорил медленно, с расстановкой, то как-будто немного улыбался. Он давно уже лишился оленей, с тех пор сделался пешим и жил оседло. Последнее выражение не надо понимать буквально. На р. Урми он имел маленький домик лишь для того, чтобы держать в нем свое походное снаряжение и кое-какое имущество. Мой приятель занимался охотой, немного рыбачил и мечтал вновь, как он сам выражался, «завести рогатых коней». Хотя Г. Попов и потерял оленей и сделался как бы оседлым, но, согласно прадедовских традиций, постоянно передвигался с места на место: где с попутчиками на лошадях, где на собаках, а где и просто по образу пешего хождения. Однажды, когда разговор коснулся невзгод кочевого быта, он сказал мне:

— Как это вы можете жить в городе столько лет на одном месте? И, право, не выдержал бы и года.

Спокойный, как-будто даже апатичный и ко всему равнодушный, человек этот преобразался, когда видел свежий след зверя. Тогда в нем говорила кровь предков, тогда он становился деятельным и энергичным, глаза его горели, п лицо дышало страстью. В эти минуты он забывал все: голод, усталость, и способен был переносить всяческие лишения.

Судьба столкнула меня с ним случайно. В тот год я намеревался подняться по р. Урми до ее верховьев, оттуда через хребет «Быгин-Быгинен» выйти на р. Олгон, а затем проникнуть в горную область Ян-дэ-Янге. В последнем гольдском селеении «Колдок» мне рекомендовали Г. Попова, как хорошего охотника и

переводчика. И пригласил его и — не раскаялся.

В начале января 1918 года мы выступили из якутского поселка «Талакана» на семидесяти оленях и пошли на восток. На шестые сутки мы достигли хребта «Быгин-Быгинен» и, перейдя его, спустились в истоки реки Улике, а из нее через второй водораздел вышли на р. Олгон. Здесь мы расстались с антагинскими тунгусами. Последние пошли на р. Горин, а мы с другой группой тунгусов на пятидесяти пяти оленях направились к горам Ян-дэ-Янге.

Производя маршрутную съемку, я часто останавливался для того, чтобы угломерным инструментом брать азимуты нашего пути, записывать пройденные расстояния и вычерчивать видимый ландшафт в горизонталях. Надо заметить, что северные олени идут очень быстро, при чем ни кочковатые болота, ни густые заросли в лесу не служат им препятствиями. Иногда положительно удивляешься, как эти странные животные перебираются через заломы, занесенные снегом, где лошади непременно поломали бы ноги.

Чтобы не задерживать отряд, я велел тунгусам идти своим обычным аллюром и не дожидаться меня, но условился с ними, что около полудня на месте большого привала они оставят мне кое-что поесть. Тунгусы поняли и сказали, что по ту сторону водораздела они знают место, где есть олений корм, и потому, как только спустятся с перевала, тотчас встанут биваком.

Все перечисленные выше географические названия составляют южную границу распространения северных оленей. Поэтому очень важно останавливаться на ночь там, где есть ягель¹⁾. Если корма не будет, олени убегут на старый бивак. Один раз так мы гнались за ними шестьдесят километров и потеряли два дня.

Итак, мы разделились: тунгусы с оленями пошли дальше, а я остался сзади. Заблудиться я не мог, потому что двести двадцать оленьих ног протоптали в снегу хорошую дорогу; к тому же проводник обещал встать биваком засветло.

¹⁾ и. ний мэх Cladonia-rangiferina.

Ян-дэ-Янге со стороны западной представляется в виде величественного горного хребта. Белый гребень его, увенчанный остроконечными вершинами, достигающими заоблачных высот, совершенно оголен от леса. Сразу с бивака начинался подъем медленный и заметный для глаза лишь на значительно протяжении и то, если оглянешься назад. Наш путь лежал по распадку между двумя увалами, которые дальше принимали вид горных отрогов с более или менее крутыми склонами.

Я приготовил планшет, записал отсчеты и тронулся следом за отрядом. Некоторое время между деревьями виднелись серые силуэты олепей и слышались голоса людей, а затем все стихло. Путеводной нитью мне служила дорога, протоптанная олепями. Я шел рядом с нею на лыжах. Снег был глубиной от 30 до 40 сантим. На открытых местах ветром сбило его в плотную массу, которая прекрасно выдерживала давление ноги человека, но в лесу он был настолько рыхлым, что лыжи вязли в нем, оставляя довольно глубокие следы.

С бивака хребет Ян-дэ-Янге казался ближе, чем он есть на самом деле. Я думал, что к полудню дойду до перевала. Не тут-то было! Через три часа пути он был от меня еще далеко и попрежнему величественно вздымал кверху свои снежно-белые вершины, озаренные яркими лучами полуденного солнца. Как раз к этому времени я вышел на небольшую полянку, истоптанную и людьми и животными. В стороне под елью дымился еще не успевший потухнуть костер. Здесь был привал. Тут же поблизости в один из сугробов была воткнута палка с привязанным к ней пучком голых веток, а около нее на снегу лежал кусок сырого медвежьего сала и два сухаря. Я забрал все это, сел на первую попавшуюся валежину и с аппетитом позавтракал. За неимением чая я утолил жажду снегом и пошел дальше.

Юго-западные склоны Ян-дэ-Янге, издали казавшиеся голыми, на самом деле были покрыты редким березняком; из-под снега виднелись какие-то кустарники и кедровый стланец. Только к четырем часам пополудни я до-

брался до той части хребта, которая круто поднимается кверху и по существу составляет его гребень. Подъем в гору был настолько утомителен, что принуждал меня несколько раз останавливаться и отдыхать. Самый перевал представлял из себя глубокую седловину между двумя сопками. Когда я достиг его, солнце уже совсем склонилось к горизонту. Позади на необозримое пространство расстилалась тундра, казавшаяся сверху большим белым диском «без меры в длину, без конца в ширину». Небесный свод, расцвеченный лучами заходящего солнца в пурпуровые, оранжевые и золотисто-желтые цвета, как бы опирался на ее края и казался громадной хрустальной чашей, опрокинутой над землей. День угасал... Снега, покрывавшие склоны Ян-дэ-Янге, окрасились в розоватые и нежно-фиолетовые тона. В умирании дня есть всегда что-то таинственное и грустное, как бы от сознания того, что прекрасный мир земной должен быть отдан во власть ночи, победно шествующей с востока. Я любовался природой и не особенно торопился, думая, что буду на биваке еще до наступления сумерек.

Когда солнце совсем скрылось за горизонтом, и красивая окраска снегов потускнела, я пачал спуск с хребта Ян-дэ-Янге. За перевалом сразу начался хвойный лес. Вот прошел я один километр, другой, третий, а бивака все не было. Я заметил, что местами олени бежали рысцой, значит тунгусы подгоняли их и куда-то торопились.

Тайга, чем дальше, тем становилась гуще. На местах открытых еще можно было кое-как рассмотреть следы, но под сенью хвойных деревьев ночная тьма быстро сгущалась, и потому идти становилось все труднее и труднее. Мои лыжи стали пугаться в чаще; опасаясь их сломать, я должен был уменьшить шаг и бросить с'емку. С заходом солнца температура воздуха стала быстро снижаться. В лесу воцарилась могильная тишина, изредка нарушаемая только звонким пощелкиванием деревьев от мороза. Ночь властно вступала в свои права. На потемневшем небе зажглись яркие звезды. Они как будто знали что-то касающееся меня

и перемигивались между собою. А я все шел, быть может, совсем не в том направлении, куда следовало.

Вдруг, к ужасу своему я увидел, что потерял олений след. Я достал спичку и чиркнул ею: чистый ровный снег лежал впереди меня, справа и слева...

«Вот беда-то,—подумал я.—Неужели я заблудился!».

Кому приходилось бывать зимою в тайге, тот знает, что значит заночевать в лесу без теплой одежды, без топора и без полотнища палатки, которыми можно было бы защитить себя от холода. Я остановился, чтобы передохнуть немного и обдумать свое положение, но мороз тотчас дал себя знать. Надо идти! Но куда? Я наугад пошел вправо. Как-то лыжа моя подвернулась, я упал и в это время ощущал рукою взбитый снег. Оправившись, я вторично зажег спичку. На секунду ночная тьма расступилась в стороны, и при краткой вспышке огня я успел рассмотреть оленьи следы. Спичка погасла, и мгновенно все снова утонуло во мраке ночи. Я постоял несколько минут на одном месте, пока глаза мои не освоились с темнотою. Тогда я решил идти с крайней осторожностью, нащупывая дорогу ногами. Я подвигался весьма медленно и в тех случаях, когда терял оленью тропу, возвращался назад и нередко искал ее руками. Так промаялся я до девяти часов вечера и совершенно выбился из сил. Стало совсем темно, так темно, что нельзя уже было рассмотреть даже больших предметов, находящихся в непосредственной близости. Наконец, случилось то, чего я больше всего боялся,—я совсем потерял оленьи следы, и в поисках их напрасно потратил много времени. Я принялся кричать, но лесная пустыня словно насмеялась надо мною: каждый раз эхо возвращало мои возгласы обратно. Измученный до последней крайности, я сел на какую-то колодину и, не снимая лыж, хотел отдохнуть немного, а затем развести небольшой огонь и как-нибудь пробыть до утра. Я не помню, сколько времени просидел, и как-будто стал дремать. Чувство озноба пропало. Какая-то непонятная сила сковала мои члены. Откуда-то пахнуло

теплом, и послышались странные и бессмысленные слова. Разные голоса говорили: «Не закрывай дверь! Смоди где-нибудь на столе! Зажги лампу!» и т. д.—и я не знаю, говорил ли я действительно эти фразы вслух или это было мое подсознательное мышление. Вдруг одна мысль, как молния, пронзила мой мозг: «Спать нельзя!» Я напряг все свои силы, рванулся с места и открыл глаза. Кругом было темно, как в могиле. Вверху слышался шорох—то легкий ветерок пробегал над лесом и чуть трогал вершины озябших деревьев. Я сильно прозяб: холод уже успел проникнуть под одежду; мои зубы выбивали непрерывную дробь. Я схватился руками за ствол соседнего дерева и поднялся на ноги. Первые шаги показались мне невероятно тяжелыми, потом я разошелся и тихонько побрел в ту сторону, где был какой-то просвет. Не сделал я и сотни шагов, как вдруг лес кончился, и передо мною открылась громадная равнина, озаренная слабым светом мерцающих звезд. Далеко на другом конце ее мелькал огонек. Сонливое состояние разом исчезло—я почувствовал прилив бодрости, оправил лыжи и пошел прямо на спасительный «маяк». Было поздно. Созвездие Ориона, бывшее дотеле низко над горизонтом, уже успело подняться до зенита. Великолепный Сириус блистал всеми цветами радуги. Вдруг яркий метеор беззвучно пронесся по небу, оставив за собой длинный угасающий след. Как я ни был измучен, но явление это было столь замечательно, что я долго не мог оторвать взора от неба, и только холод, знобивший мне руки, вернул меня снова к действительности. Шел я долго и медленно. Наконец, стали слышны позвонки оленей. Еще немного, и я увидел бивак. У опушки леса стояли две палатки. Несколько в стороне горел большой костер. Тысячи искр, увлекаемых жаром, поднимались вверх и огненным дождем сыпались на снег. Колеблющиеся языки пламени прыгали по веткам и пожирали сухие дрова. Неровный свет огня отражался на сугробах, на палатках, на стволах близ растущих деревьев и перекидывался в тундру.

Около костра виднелся силуэт человека, черного, как сажа, с кроваво-красными контурами то с одной, то с другой стороны, в зависимости от того, как освещал его огонь. Этот человек был Г. Попов. Он поправлял дрова и закрывал рукой лицо от жара.

Собрав последний остаток сил, я дотащился до костра и, не снимая лыж, повалился в снег. Отдышавшись немного, я спросил его, как случилось, что тунгусы, вместо того, чтобы встать на бивак тотчас за перевалом, ушли так далеко. Оказалось, что, перейдя Яндэ-Янге, они попали не в тот клочок, в который хотели. Они заметили свою ошибку тогда, когда совсем уже спустились с хребта. Им не хотелось возвращаться назад, и они решили итти до тех пор, пока не найдут олений мох.

Читателю, может быть, интересно узнать, как тунгусы находят пастбища для оленей. Днем они присматриваются к стволам старых деревьев, на которых тоже растет ягель, а ночью в темноте пускают одного оленя без педоуздки. Он раскапывает передней ногой снег и, если есть корм, начинает пастись, если же корма нет, поднимает голову и смотрит по сторонам.

Это обстоятельство заставило тунгусов долго итти по тайге, пока они не вышли на тундру. Они знали, что я запоздаю и, вероятно, заночую в лесу. С ними это так часто случается, что моему отсутствию они не придали никакого значения и со спокойной душой улеглись спать. Наоборот, они крайне удивились, узнав, что я пришел на бивак, а не остался в лесу до рассвета. Однако Г. Попов решил на всякий случай зажечь огонь, который и служил мне путеводною звездой. Не разложив ни костра, я действительно, провел бы мучительную ночь под открытым небом.

Все хорошо, что хорошо кончается! Я снял лыжи, пробрался в палатку и тотчас погрузился в глубокий сон. Утром я хотел было посоветовать на своих спутников за то, что они оставили меня в тайге, но, войдя в их психологично, просил только на будущее время не ставить меня в такое положение. Весь следующий день тунгусы простоили на месте, и потому я хорошо вы-

спался. Один из них ходил на охоту и принес двух глухарей и одного рябчика. Остальные мужчины исправляли седла и прочее походное снаряжение, а женщины починяли одежду. Около полудня я по своим следам вернулся назад, к тому месту, где бросил с'емку, и заснял весь путь до бивака. На завтра было назначено выступление с рассветом, и потому мы все рано легли спать.

Было еще темно, когда меня разбудил Г. Попов. Я оделся и вышел из палатки. Чуть брезжилось. Тундра, занесенная снегом, и старые ели в зимнем наряде, казалось, еще грезили предрассветным сном. На востоке занималась заря. Побледневшие звезды быстро гасли одна за другой. Во всем воздухе была разлита какая-то мгла, которую тунгусы называли «туманным морозом». Около палаток стояли два оленя с заиндевевшей шерстью. Я счел нужным адресоваться к инструментам. Термометр показывал —50° С. Когда взошло солнце, атмосфера немного очистилась.

После утреннего завтрака тунгусы стали разбирать палатки и выкочить оленей. В стороне был разведен большой огонь, около которого собрались все ребятишки. Часам к шести утра мы снялись с бивака и пошли дальше. Путь наш опять пролегал по тундре. С высоты птичьего полета она должна была казаться в виде темных ажурных кружев, в которых плотную ткань составляли рощи и перелески, а отверстиями были поляны, занесенные снегом. Ехавший впереди на «седловом» олене тунгус пел, и пение его было так же уныло и однообразно, как однообразна та тундра, по которой он кочевал со своими табунами. «Важенки»¹⁾ следовали за ним гуськом в порядке и не отставали. Все мужчины и женщины были верхами. Они сидели как-то странно на плечах оленей, свесив ноги вперед, на грудь животных. Малые дети были завернуты в меха и помещались в особых седлах-зыбках, привязанных к вьюкам ремнями.

После вчерашней злополучной ночи Г. Попов решил итти вместе со мною.

¹⁾ Самки оленей — матки.

Только-что мы тронулись в путь, как произошла остановка по следующему поводу. Один ребенок расплакался. Мать немного придержала своего оленя и просила другую женщину подать ей капризника. Та ловко соскочила на землю, развязала ремни и подала малютку матери. Последняя приняла его и на ходу накормила грудью, прикрывшись шубкой от мороза. Потом она стала укачивать ребенка, но он раскапризничался, брыкался и кричал во все горло. Тогда она сказала что-то тунгусу, ехавшему впереди нее, тот передал слова ее дальше, пока они не дошли до головы отряда. Проводник остановил своего оленя. Тотчас встал весь табун. Мать сошла на землю и, невзирая на мороз, стала распеленывать своего сына. Раздев маленького буяна донага, она положила его в снег и, смеясь и что-то приговаривая, стала обсыпать его еще снегом и сверху. Ребенок барахтался и надседался от крика. Я не мог понять, в чем дело, и так был поражен этим необычным зрелищем, что готов был броситься к ребенку на помощь. Такое купанье в снегу продолжалось не более одной минуты. Затем мать подняла свое дитя, нежно поцеловала его и быстро стала завертывать в рысий мех, потом уложила его в зыбку, ловко вскочила на своего оленя и крикнула проводнику, что можно идти дальше. Минуты через три ребенок успокоился и всю дорогу спал, как убитый.

— Ведь так ребенка можно простудить,—обратился я к Попову.

— Нет,—отвечал он.—От этого он не заболит. Нам часто приходится забнуть на охоте, а как придешь в юрту, завернешься в шубу и так крепко уснешь, что пробудиться не можешь.

Чем больше мы приближались к Уркану, тем снег становился глубже. Олени умерили шаг и пошли медленнее. Для нас же с Г. Поповым это не имело никакого значения. Мы были на лыжах и не только не отставали от отряда, но порой даже обгоняли его.

Нашим проводником был тунгус небольшого роста, тщедушного сложения, лет сорока пяти. В черных волосах его, росших в большом беспорядке, уже белели серебристые нити. Лицо

этого человека было самое заурядное, с загорелой кожей, немного скуластое, а глаза имели такое выражение, как будто он всегда всматривался в даль. Одет он был в черный кафтан из грубой шерсти с застежками на боку, суконные штаны какого-то неопределенного цвета и унты с голенищами в роде торбасов. Головным его убором была старая ватная шапка с меховыми наушниками, украшенными по тунгусскому обычаю красно-синими орнаментами в елочку.

Мы шли по местности донельзя однообразной. Пусть читатель представит себе большую болотистую и слабо всхолмленную равнину, покрытую снегом, где перелески чередуются с тундрами, поросшими редкостойной корявой лиственницей. Хотя бы какой-нибудь предмет, на котором можно было бы остановить свой взор и который мог бы служить ориентировочным пунктом: небольшое озеро, одинокая сопка, каменистая россыпь, голая скала... и т. п. Ничего! Пусто!.. Ни зверей, ни птиц, никаких следов, и так изо дня в день под ряд шесть суток! Это однообразие утомляло меня, я шел лениво, апатично, на планшет наносил свой ход и изредка писал одно только слово «тундра». Однако наш проводник вел себя иначе. Он часто оглядывался назад и внимательно смотрел по сторонам.

— Не сбился ли с дороги наш жога-тый?—спросил я Г. Попова.

— Почему вы так думаете?—спросил он меня в свою очередь.

— Да он все оглядывается и как будто ищет чего-то.

— А это потому,—отвечал Г. Попов,—что он идет здесь первый раз.

— Как же он ведет нас? Какой же он проводник?—невольной воскликнул я, крайне удивленный.

— Он знает дорогу,—успокоительным тоном сказал Г. Попов.—Ему старик Ингину рассказал путь на шесть дней вперед. Сегодня мы придем на условное место, где должны встретиться с другими тунгусами, которые идут с Амгуни и которым мы передадим двух женщин с детьми. Эти тунгусы уже предупреждены недели три тому назад.

Слова моего спутника озадачили меня еще больше.

Как можно запомнить дорогу в тундре, хотя бы на один день?! А ведь этот человек запомнил все со слов другого на шесть суток вперед. Очевидно, тундра для него не так уж однообразна, как это кажется мне; очевидно, от его внимания не ускользает целый ряд таких предметов, которых я вовсе не замечаю.

После разговора с Поповым мы еще часа два с половиной шли по оленьим следам. Когда ослепительное солнце прошло по небу большую часть своего пути и готовилось сесть за зубчатый гребень хребта Ян-дэ-Янге, когда от нас по снегу потянулись длинные уродливые тени, мы увидели разбитые палатки и оленей, пасущихся на воле.

— Ну вот,—сказал Попов,—мы и дошли до того места, где должна произойти встреча двух отрядов.

Я оглянулся кругом и нигде не увидел ни зимовья, ни следов кострищ, ничего такого, что указывало бы, что место это является перекрестком двух путей.

Здесь мы простояли двое суток. За это время я успел вычертить свои с'емки и сделать все, записи в дневниках. К концу третьего дня я стал беспокоиться и высказал Г. Попову опасения, что, может быть, мы попали не туда, куда следует. Как раз в это время в палатку вошел один из тунгусов и сообщил, что другой отряд приближается. Мы вышли наружу, но в тундре ничего не было видно и ничего не было слышно. Г. Попов рассеял мое недоумение.

— Взгляните на оленей, — сказал он. — Видите, они часто поднимают головы и подолгу смотрят в одну сторону.

Минут десять я простоял на морозе, и, не дождавшись гостей, вернулся в палатку. Спустя некоторое время Г. Попов снова вызвал меня наружу.

Вечерело... На западе вздымалась к небу какая-то мгла, похожая на дым. Солнце тонуло в ней, большое и красное, опять предвещая на завтра туманный мороз.

— Слушайте, — сказал мне Г. Попов.

Я насторожился, и до слуха моего донеслись звуки деревянных побрякушек, которые тунгусы, за неимением металлических позвонков, вешают на шею своих «рогатых коней». Вслед затем из перелеска выехал человек на большом седловом олене, а за ним длинной вереницей тянулись важенки и остальные вьючные животные. Увидя наши палатки, человек остановился на минуту, осмотрелся и пошел немного влево. Это были те самые тунгусы, которых мы ждали с таким нетерпением. Они расположились биваком шагах в четырехстах от нашего табора. Через час вновь прибывшие были у нас. Они привезли новости с Амгуни и говорили о каком-то охотнике, которого задрал медведь, говорили о якутах, о ярмарке и о ценах на пушнину.

Вечером, когда мы с Г. Поповым сидели у печки в палатке, разговор опять зашел о проводнике, который привел нас как раз к тому месту, где оба отряда так удачно встретились. Каково же было мое удивление, когда я услышал, что проводник только-что пришедшего отряда тоже шел впервые в этой тундре по указаниям, данным ему другими тунгусами на девять дней вперед. Геодезисты, ежедневно определяя астрономически свое местонахождение и нанося на географическую сеть свои маршруты, не смогли бы это сделать лучше. Может быть, тунгусы, эти классические скитальцы по тайге и тундре, обладают особо развитым чувством ориентировки. Это чувство есть у почтовых голубей и у всех перелетных птиц, у грызунов и у многих крупных четвероногих, совершающих ежегодные миграции осенью и весной.

Я оделся и опять вышел из палатки. На западе угасали последние отблески вечерней зари. Мгла, замеченная на горизонте, надвинулась на тундру. Сквозь нее в виде светлых матовых пятен виднелись звезды первой величины. В той стороне, где стояли амгунские тунгусы, тускло светились два огня. Несколько в стороне на поляне стояли наш проводник и Г. Попов. Они долго смотрели на небо и о чем-то говорили между собою. На

мой вопрос, в чем дело, Г. Попов сказал, что мгла сгущается, и из-за этого плохо видны созвездия на небе. Далее он объяснил мне, что они вместе с проводником каждый вечер наблюдают, как восходят звезды, и по этому узнают, правильно ли идут и какого направления надо держаться.

Я почувствовал, что прозяб, и поспешил в палатку, где было тепло и уютно. Сквозь щели дверцев камина выходил свет и слабо озарял внутренность нашего походного жилища. Он дрожал па стенах, трепетными полосами ложился на пол и освещал фигуры спящих людей. Я лег на приготовленную мне постель из хвойных веток и начал дремать. Слышно было, как снаружи ходили олени, и как в камине потрескивали горящие дрова. Трудовой день кончился, и благодатный сон не замедлил смежить мои веки.

На следующий день вновь пришедшие тунгусы дневали, а мы, передав им в качестве пассажиров двух женщин с детьми, продолжали свой маршрут на юго-восток.

Суток через двое характер тундры стал меняться, местность сделалась более исключительной, появились ручьи с высокими террасами, покрытыми хвойно-смешанным лесом. Тут было много звериных следов, между которыми преобладали лосиные и изюбриные. Один раз даже попался след тигра. Полосатый хищник шел по льду небольшой речки, стараясь сколько возможно скрыть свое присутствие под ветвями прибрежных кустарников. Осторожный и хитрый зверь! На повороте он остановился за коряжиной, вмержшей в лед, и некоторое время смотрел, не видно ли кого-нибудь на реке. Убедившись, что ни зверей, ни людей впереди нет, он прыгнул через полынью и вновь пошел под берегом.

Не доходя три-четыре километра до р. Уркана, лес сразу оборвался, и перед нами снова развернулась обширная тундра, поросшая приземистой, редкой лиственницей. Олени далеко ушли вперед. О местонахождении их можно было узнать по пару, который столбом поднимался кверху от вспотевших животных.

Мы с Г. Поповым шли потихоньку на лыжах и разговаривали между собой. Я заносил наш маршрут на планшет, а он шел довольно безучастно до тех пор, пока оленью дорогу не пересекли какие-то другие следы. Тунгус остановился, внимательно посмотрел на них, а потом, как бы раздумывая что-то, сказал:

— Два человека шли: один — высокий, молодой, другой — низенький и пожилой.

Действительно, следы были людские. Кто-то шел по снегу без лыж, при чем один пешеход раздвигал коленями снег, а другой шагал прямо через сугробы. Шаг последнего был уверенный и сильный. Маленький человек больше наступал на пятку, как это делают старики, и часто отдыхал.

— Это русские, — сказал Г. Попов. — Оба они в сапогах. Тунгусы носят обувь без каблуков с мягкими подошвами.

Вскоре он опять остановился и добавил:

— У маленького в руках была палка. Он нес ружье на ремне через левое плечо, а потом перебросил его через другое плечо.

— Это почему? — спросил я удивленно.

Вместо ответа тунгус указал мне на следы. Там, где низкий человек опустился между кочками, приклад его ружья делал отметки в снегу. Сначала эти отметины были с правой стороны, а потом стали появляться с левой.

Немного дальше Г. Попов поднял корку белого хлеба, по которой он заключил, что поблизости есть зимовье, где можно выпекать кислый хлеб. Тот, кто далеко уходит в горы, несет с собою только сухари.

Некоторое время мы шли молча, и оба внимательно рассматривали следы. В одном месте снег оказался истоптанным на пространстве четырех квадратных метров. Присмотревшись к следам, я понял, что неизвестные люди здесь отдыхали, при чем один из них стоял, а другой сидел на снегу.

— Один человек курит, а другой нет, — заметил Г. Попов, указывая на снег. — Вот тут стоял большой чело-

век и свертывал паширосу, — продолжал тунгус. — Он земного просыпал махорки, а тот, что поменьше ростом, ждал, когда товарищ его закурит. У них был обтертый коробок, и они попортили много спичек. Потом большой человек протянул маленькому руку и помог своему товарищу встать на ноги.

Действительно, этот последний, когда вставал, то не поворачивался на бок. Поднимаясь, он крепко уперся на ноги и глубоко вдавил снег каблуками.

Этот анализ чрезвычайно заинтересовал меня. Мы двинулись дальше. Вдруг Г. Попов обернулся ко мне и сказал:

— Большой человек сегодня утром ел много соленой рыбы. Его мучила жажда, и оп всю дорогу хватал снег горстями.

Следы стали забирать влево к лесу. Вдали виднелся наш караван. Тоненькой змейкой извивались олени между сугробами. Отстававшие животные казались маленькими темными точками. Мы взяли направление прямо на них и быстро пошли по занастившему снегу. Вскоре олени остановились и сбились в кучу. Когда мы подходили к ним, тунгусы развьючивали их и собирались ставить палатки.

— Пойдемте поищем людей, — предложил мне Г. Попов. — Они где-нибудь тут недалеко.

— Как это узнать? — спросил я своего приятеля.

— Они здесь прошли, — отвечал он, указывая на следы. — Без лыж по такому снегу далеко не уйдешь.

Доводы эти были вполне убедительны. Оставив тунгусов устраивать бивак, мы свернули вправо и поплыли дальше по следам, которые скоро привели нас к реке. Многочисленные порубки свидетельствовали о том, что те, кого мы ищем, стоят здесь давно и находятся где-то совсем поблизости.

— Погодите, там слышны удары топора, — сказал Г. Попов, указывая на реку.

Не успели мы сделать и двухсот шагов, как увидели дым, а затем и зи-

мовье, сложенное из бревен, крытое накатником и землею, а около него двух лошадей. От зимовья вниз по реке шла санная дорога. Когда мы подходили к жилищу, худая собака встретила нас злобным лаем. Здесь мы застали трех человек: кривоглазого старика с седою бородою, одетого в каковую-то ватную куцавейку, и двух лесорубщиков. Один из них, как Попов предполагал, был действительно высокого роста, лет тридцати, рыжий, рябым лицом; другой значительно старше и ниже ростом. Из расспросов выяснилось, что это рабочие государственного лесозаготовительного завода. Старик был караульщиком и кашеваром, а другие двое только два дня тому назад приехали из Хабаровска и вчера ходили смотреть, много ли в лесу есть кедра. Когда я сказал им, как они шли, как несли ружье, кто из них курил и кто ел соленую рыбу, они очень удивились и спросили в свою очередь, откуда я знаю такие подробности. Я указал на своего спутника и сказал, что всё это он усмотрел по следам.

— Вот диво, — воскликнул высокий парень. — Значит от них (он кивнул головою в сторону Г. Попова) никуда не скроешься. Верно говорили старики, что в лесу надо вести себя хорошо. Выходит, что в городе легче скрыться, чем в тайге.

Он долго удивлялся и несколько раз возвращался к этому вопросу.

Время близилось к сумеркам. Мы распрощались с нашими новыми знакомыми и пошли к себе на бивак. Было тихо. Точно зарево громадного пожара, пылал горизонт. При вечернем освещении тундра имела еще более унылый и безжизненный вид. На бледном небе, озаренном закатным сиянием уходящего солнца, особенно резко выделялись уродливо выродившиеся стволы лиственниц, лишенных хвой. Вдали виднелись огни нашего табора, и чуть заметно белели палатки.

На биваке мы застали полный порядок. Тунгусские женщины сварили два больших котла оленины и ждали нашего возвращения.

8. ПОПОВЩИНА И СЕКТАНТСТВО

А. Маринский

И у нас, в стране пролетарской диктатуры и воинствующего материализма, поповщина располагает днями, когда она, реакционная черная сила, открыто производит генеральный смотр своим рядам: своему активу, своему кадровому составу, своим сверхсрочникам, своим резервам. Два раза в году это бывает: на рождество и на пасху.

Одновременно нами производится, конечно, проверка и того, как привилось новое, атеистическое, революционное. Но эта проверка пока что обладает, по преимуществу, характером «отражательным»: сколько мы у «них» оторвали?

Повысилась ли клерикальная волна или понизилась? Шумнее или тише стало в церкви, что у «Николаи на Кочках»? О чем сегодня залихватски тянут поповские колокола? Пока мы высылаем комсомольских статистиков в церковь прикинуть, сколько там стариков (сверхсрочников), сколько молодежи (резервы), и ведем наступление против церкви (хорошо или неудачно, много или мало—другое дело), в эти дни поповщина вылетает на улицу па вороних.

Само собою разумеется, религия идет по наклону вниз, религия обречена, век пролетарской диктатуры не вяжется с поповским мракобесием.

... Но пока что в эти дни церковь всех разновидностей господствует над миллионными массами, законодательству в праздничном быту. Чего это одно стоит! Трудовые массы отдыхают в год широко, вольготно, исчерпывающе, без оглядки на бюджет—весьма редко. И эти дни больших праздников в большей мере монополизировала религия. Скажут—не столько религия, сколько бытовая традиция. Да, но эта традиция тесно, неразлучно связана с попом, церковью, свячеными куличами,—всем конгломератом старых общественных отношений, которые церковь окропляет затхлой, как крещенская вода к осени, идеологией смирения, богосозерцания, отрицания всего того, что толкает массы на штурм старого мира.

Традиции «бытовые», традиции старых религиозных праздников тащат на поверхность всю цепь социального угнетения в обратном порядке: от быта к идеологии, от идеологии к политике, от политики к оживлению и укреплению старых капиталистических отношений.

Она знает, рясофорная братия, свое черное дело! Она начинает с невинного соблюдения старых бытовых устоев. А где закрепляет концы она, старая, опытная лазутчица умирающего мира?

* * *

Церковники всех видов и толков не могут не учесть той новой обстановки, которую создала для их существования революция. Если бы они использовали и служили только кончающим свой исторический век осколкам старых классов, политическая опасность церкви была бы не так велика, и судьба ее была бы решена. Но церковь борется за овладение трудовыми массами. Церковь с невероятной гибкостью прилагается к революционной действительности, меняя формы и содержание своей агитационно-пропагандистской работы. Она понимает, что успешно бороться с врагом можно, лишь изучив его самого и его оружие.

Знаете ли вы, что у нас существуют в Ленинграде, в Москве, в Харькове, в Минске и в ряде других мест специальные богословские вузы (в Ленинграде их целых пять), в стенах которых десятки и сотни молодых и среднего возраста людей изучают отнюдь не одну только теологическую схоластику и церковное богослужение? Они учатся немецкому языку, изучают «этику социалистическую» и «этику христианства», в порядке практических занятий устраивают в своих стенах пробные диспуты с безбожниками.

В Ленинской библиотеке в Москве, на Моховой, в читальных залах вы встретите молчаливых молодых людей, роющихся в старинных фолиантах, тихо обменивающихся мнениями. Это—будущие поповские генштабисты. Ничего нет удивительного и в том, что попы

энергично покупают политическую и марксистскую литературу, что епархиальный съезд Тульской губернии постановляет обязать духовенство изучать... «Капитал» Маркса.

Газеты недавно обошла пашумевшая история о том, что под Владимиром, в Собиновке, на фабрике «Коммунистический Авангард», на фабричной территории поп Иевлев собрал путем бешеной агитации, не гнушаясь открытого жульничества и фальсификации, две тысячи подписей под петицией о постройке на территории фабрики новой церкви. Затея была разоблачена и ликвидирована. Интересно, какие силы имелись для этого дела у церковников. Оказывается, поп Иевлев — лишь организатор, «выдумщик» и «почтпная», известная в здешних местах фигура. Но у Иевлева имеется еще диакон. А современные диаконы отличаются не одной лишь «октавой». Диакон у Иевлева — агитпроп. Внешне крайне скромный, даже бедно одетый, отец диакон недавно окончил ленинградские богословские курсы, где проходил, по его признанию, и политграмоту. И сейчас в свободное время он изучает религию «по новейшим научным данным», изучает «историю культуры», роется в советских музеях Владимира, пишет религиозные стихи для паствы, преподает активу «тезисы к текущему моменту»...

На диспутах в Ленинграде и в других местах попы в рабочих районах выступают с доказательствами, что религия не противоречит социализму и коммунизму и даже больше того — религиозность является непрременным идеалистическим придатком, без которого социализма не построишь. В некоторых районах Донбасса попы накануне пасхи, призывая рабочих в церковь, в своих афишах так и мотивировали необходимость посещения церкви трудящимися, что «Христос был борцом за счастье трудящихся»...

* * *

Сектанты сейчас представляют собой очень опасную реакционную силу. Сектанты широким фронтом двинулись на завоевание рабочих масс, и пока что, в силу некоторых особенностей своей

агитпроповской работы и содержания деятельности своих общин, а в меньшей мере также из-за нашей беспечности и халатности в области антирелигиозной работы они, сектанты, могут похвастаться в ряде мест успехами. Сектанты широко используют свое положение при царизме, который угнетал и преследовал «отщепенцев» от официальной церкви. Сектанты широко проповедуют рабочим массам, что и они являются «революционерами», ибо иначе зачем бы их преследовал царизм, что они против какой-бы то ни было реставрации старых порядков, что они собственно — «коммунисты». Сектантство менее связано какими бы то ни было старыми традициями, как это наблюдается у тихоновской или реформированной церкви, и поэтому оно формы своей работы более гибко приспосабливает к потребностям обслуживаемых им масс, содержание работы делает более демократичным, всесторонне соприкасающимся с бытом и жизнью тех, в сердце которых сектанты работают.

Сектантство прекрасно учитывает потребности культурного отдыха «простого» человека. Рабочему или крестьянину хочется отдохнуть, побыть в спокойной обстановке мирно текущей беседы, уютного развлечения. Баптисты для этой цели устраивают беседы, конечно, религиозного содержания, но с диалогичными, с бесплатными концертами или такими же бесплатными выступлениями своих драматических кружков (Ленинград), устраивают «чай», «ужины», общинные трапезы. Они, почти свободные от ритуала, готовы перенести свою работу в рабочие клубы (бумажная фабрика в Рогани, Украина). Они организуют физкультурные площадки, кружки «затейников», частушечников, оркестры. Чтобы подчеркнуть рабочему свою «советскую» сущность, чтобы подчеркнуть рабочему, что сектантский дом, это — дом, посещение которого не идет вразрез с советскими убеждениями, сектанты исполняют свои религиозные песни на мотив не только модного фокстрота, но и «Интернационала», «Молодой гвардии», а то и... «Жирпичиков». В сектантских молитвенниках можно

найти портреты Маркса и Ленина. В некоторых молитвенных домах те- ляются лампы под портретом Лени- на (!). Таким образом, сектантство, виртуозно подкрашиваясь под совет- ские цвета, кладет в советскую форму свое реакционно-религиозное содержание.

Сектанты берут своей «душевно- стью». Они умеют нащупать больные стороны души пришедшего к ним или намеченного для обработки чело- века, умеют найти для потрясенного человека слова утешения, «убаюкать» его в своем молитвенном доме, «за- ласкать» тихо журчащей, мирной про- поведью и мелодичной песнью, создать для него тот душевный покой, кото- рого, к сожалению, мы еще не научи- лись создавать ни в наших товарище- ских взаимоотношениях, ни в наших местах отдыха (клубы, дворцы куль- туры и т. п.).

Баптисты понимают, что одними сло- вами «братства» ограничиваться нель- зя. Нужны еще и «дела». Они поэтому широко организуют благотворитель- ность, взаимопомощь. Вот у чуриков- цев, развивших большую деятельность по Ленинградской области, каждый член общины вносит 10% своего за- работка для создания фонда взаимопо- мощи, а во время отпуска обязан часть времени также отработать «для общи- ны». Сектанты вдобавок получают для поддержания членов своих общин из- вестные субсидии и от своих загранич- ных друзей. Сектанты там, где они на предприятиях имеют «своих людей» в составе технического и административ- го персонала, стараются поставить на работу своих же сектантов. Такие фак- ты наблюдаются в Новосибирске. В Днепропетровске, в паровозных ма- стерских имеются целые бригады ра- бочих, составленные из одних сектан- тов. Под Москвой (Перово, Мытищи и др.), на крупных предприятиях ма- стера из сектантов также стараются пристроить в своих бригадах безработ- ных сектантов.

В результате всех этих особенностей своей деятельности сектанты в ряде промышленных районов овладевают более или менее значительными груп- пами рабочих.

Среди сектантского актива (двадцат- ток) в Ленинграде мы наблюдаем та- кие соотношения между отдельными социальными группами: лиц «свобод- ных профессий»—1.246, служащих—680, рабочих — 765, домохозяек — 827, учащихся (!) — 73, кустарей — 175. У чуриковцев шестьдесят процентов членов общин — рабочие.

Самое опасное это то, что баптисты энергично работают среди молодежи: их «литературно-художественные вече- ра», — по существу являющиеся модер- низованной церковной службой, — при- влекают значительное количество рабо- чей молодежи. В 1927 году сектантские общины Днепропетровска росли пре- имущественно за счет молодежи. В итоге — у баптистов сейчас молодежи 30 процентов, а у евангелистов — 27. Баптисты имеют специального органи- затора молодежи — молодого челове- ка, достаточно энергичного и известно- го среди местной рабочей молодежи. Баптисты сейчас уже не ограничива- ются ловлей беспартийного молодняка, по постепенно переходят к работе и среди комсомольцев. В результате кон- статируются случаи, когда и комсо- мольцы посещают молитвенные дома баптистов и евангелистов.

Внешне якобы лояльно-советская работа не мешает сектантам при удоб- ном случае вести явную контрреволю- ционную агитацию. Мы уже не гово- рим о проповеди смпрения и отказа от обороны страны под лозунгом непрот- ивления.

Там, где в силу темноты аудитории нет надобности раскрываться в за- щитные цвета, баптисты, частично идейно побуждаемые, а частично и представляемые кулачем, агитиру- ют против засева ярового клина, ибо «через три месяца будет конец све- та» (село Рассказово Тамбовской гу- бернии), и, как-будто по одному сигна- лу, сведения об аналогичной агитации приходят и из Ленинградской области. «Большевики, как в Вавилоне, строи- ли башню и не достроили. Скоро конец света!» — проповедуют здесь бапти- сты. Мы знаем, откуда эта прочюведь, — кулаки в этом году после хлебозагото- вок ожесточенно боролись за сокраще- ние посевного ярового клина.

* * *

Религиозные настроения, привносимые в среду молодежи различными путями, в сильнейшей мере проникают через семью.

В Туле наблюдались накануне пасхи такие случаи: в семье труженика сын, фабзайченок, украсил стены антирелигиозными лозунгами. Родители требуют удаления надписей. Сын упорствует. Лозунги летят на пол. В ответ летит в угол пасха. В результате полный разрыв сына с семьей.

Решили ребята в канун пасхи поставить в клубе спектакль, так сказать, в порядке антирелигиозной кампании. В спектакле участвуют две девушки из рабочих семей. Родители категорически воспрещают играть в пасхальную ночь. Спектакль срывается. После долгой борьбы девушки тайком бегут из дому.

Поэтому как бы наша школа ни была пассивна в смысле ведения антирелигиозной борьбы, она все же является сейчас основным рычагом атеистического воспитания нового поколения. И именно поэтому советски-прогрессивная школа приходит в явное столкновение с реакционной семьей. Здесь — разрыв, ложащийся большой тяжестью на молодежь. Школа атеистична, а, между тем, в некоторых школах Московского уезда до 85—90 процентов школьников говело. В одной из школ в самой Москве, в Сокольниках, 30—35% учащихся II ступени считают себя «верующими»... В Перми был произведен анонимный опрос около 400 учащихся. Результаты: среди учащихся первых групп имеют дома иконы — 70%; носят нательные кресты — 15%; молятся богу — 28%; ходят в церковь — 27%; видели дома попов — 30%. Из учащихся четвертых групп веруют и исполняют религиозные обряды — 21%; не веруют, но исполняют обряды — 13%; не веруют и не исполняют обряды — 66%.

Эти цифры, конечно, не могут еще вселить какую бы то ни было острую тревогу. Они в известной мере совпадают и отражают общее состояние религиозного движения в стране. Но все же эти данные свидетельствуют о том,

что школа паша далеко не всегда настраивает школьников, даже старших, самостоятельных возрастов решительным образом против церкви и антиклерикальной обостренной борьбы не ведет. Семья в этом отношении (мы имеем в виду семью религиозную) занимает более решительную, наступательную позицию. Детей воспитывают в религиозном духе и соответствующей пропагандой, и использованием детских настроений, и угрозой, и поощрением «послушных».

Церковники прекрасно учитывают роль и значение школы. Они считают совершенно недостаточным то религиозное влияние, которое они могут оказать на детей через полуграмотную и не знающую «методики религиозного преподавания» семью или во время посещений детьми церкви. Надо влиять сильнее, энергичнее, сделать связь клерикалов с подрастающим поколением повседневной, развернуть свое постоянное непосредственное влияние на молодежь, семья которой к вопросам религии относится или безразлично или отрицательно.

Весьма характерно и даже показательно для степени активности поповщины решение происшедшего в конце апреля «священного собора» на Украине. «Собор» принял решение о необходимости усилить влияние на молодежь. Для этой цели съезд намечает организацию на Украине густой сети «союза братьев и сестер» (нечто в роде комсомола?) и затем приходских школ молодежи. Далее тот же «собор» постановил ходатайствовать перед правительством Украины о разрешении преподавать в советских школах закон божий. И еще «собор» ходатайствует о том, чтобы понизили ценз для вступающих в общины до 18 лет.

Это ходатайство, конечно, характерно не только со стороны оценки притязаний церкви. Оно одновременно характерно и как показатель степени активности церковников. Мы наблюдаем ряд фактов, как попы изошряются в том, чтобы так или иначе проникнуть в советскую школу. В Орловской и Тамбовской губерниях обнаружен ряд случаев, когда попы с молчаливого согласия или активного содействия учи-

телей преподавали в советских школах закон божий. В деревне Бобровке Томского округа баптисты проникли в местную школу и добились того, что дети стали разучивать баптистские молитвы и религиозные песни. Поощряют они детей гостинцами, раздают бесплатно молитвенники. Есть достаточно оснований утверждать о существовании нелегальных церковно-приходских школ.

Школа могла бы лучше выполнять свои обязанности атеистического воспитания молодежи, если бы она, во-первых, заняла более боевую, наступательную позицию в этом вопросе, и если бы, во-вторых, советское учительство не имело, к сожалению, в своих рядах немало людей старой, до-революционной формации, изумительно сочетающих преподавание в безбожной советской школе с глубоким, готовым при удобном случае активно проявить себя религиозным чувством. В школах Перми, в которых произведено было обследование учащихся с точки зрения их религиозности, обнаружены случаи, когда учителя, преподавая в школе, **проявляли** себя совершенными атеистами, а **вместе с тем** вне школы посылали в частном порядке детей-школьников к исповеди.

В польских школах на Украине учителя советских школ в свободное время преподают... в нелегальных церковно-приходских школах. Этим самым они, конечно, укрепляют клерикальную школу, гарантируя ее ученикам не только религиозное, но и общее образование, без чего многие религиозные родители воздерживались бы от посылки в такие школы своих детей.

Особенно ярко религиозность известных групп учителей проявилась во время пасхи. Кое-как еще обходилось в тех школах, где, в силу фактически занятой советской педагогикой позиции религиозной нейтральности, учителя могли сочетать свои внутренние религиозные настроения с формально присущим школе атеизмом. Но вот в некоторых школах, — скажем, Москвы, заведующие намечают план работы школы накануне и во время пасхи, и этот план направлен против церкви. Уважаемые педагоги начинают ис-

пытывать беспокойство и проявлять недовольство. Часть педагогов одной из школ в Сокольниках громко заявляла: «Это ведь безобразие! Какое «они» имеют право отнимать у нас наш праздничный отдых?»...

Вот в Туле, в клубах рабпроса в канун пасхи наметили устроить семейный вечер. Затем сорвалась: из 2000 членов союза явилось 70 человек. Зато в церковном собрании можно было видеть в молитвенных позах изрядно учителей и среди них... преподавателей... обществоведения участников кружка... исторического материализма.

Можно ли считать это явление нормальным? Нам кажется, что, не покусаясь на право каждого советского гражданина «самоопределяться» в области религии, все же какие-то коррективы в отношении учителей надо внести. В этом отношении очень показательное решение, вынесенное совещанием учителей Криворожского района (Украина). В этом решении совещание считает, что 9-й пункт профсоюзного устава, по которому членами союза могут быть лица независимо от их религиозных верований, является в отношении учителей недостаточным. Совещание устанавливает, что учитель не может и не должен исповедовать какую бы то ни было религию. Если это решение для настоящего времени может считаться кое-кем слишком радикальным, то, во всяком случае, в нем правильная принципиальная и практическая установка неоспорима.

* * *

Клерикальные журналы за последнее время стали уделять большое внимание вопросам коллективизации сельского хозяйства, практическим указаниям по организации коллективов и деятельной пропаганде идей кооперации. Из Брянска сообщают, что сектанты организуют там свои «кресткомы», через которые они оказывают материальную помощь крестьянской бедноте. Конечно, это вызывает и соответствующую тягу бедняков в секты. Руководителей сект такого рода «материальный», сугубо земной стимул не смущает: они знают, что это один из путей популяризации сектантства.

Сектанты подхватывают тягу масс к коллективизации и где только возможно эту тягу возглавляют. В этом отношении характерна организация в селе Рассказове секты «V интернационала» (?!). Секта создавалась из кустарей, которых по тем или иным причинам не сумел или же не захотел кооперировать Всекопромсоюз. Нашлись тогда ловкие люди, которые предложили недовольным, оставленным вне промысловой кооперации кустарям организовать самостоятельно под сектантской фирмой: «если Всекопромсоюз не объединяет, объединит господь-бог»...

В Москве руководитель баптистской общины Павлов организовал несколько довольно крепких промысловых кооперативов, созданных из безработных рабочих—портных и металлистов. Неквалифицированных безработных женщин он сгруппировал в артели прачек, а многих устроил в кооперативных столовых, организованных баптистами же. В Преображенско-Черкизовской чулочной артели из 230 членов—30 процентов хлыстов. Такая же приблизительно пропорция и в артели «Бауманский Вязальщик».

С неменьшим, если не с большим успехом церковники работают в области пасаждения своих лжеколхозов и лжекоммун.

Джановский «Девичий монастырь» в Тверской губ. «славился» до революции энергичной эксплуатацией окружающего крестьянского населения. Во время революции, в период изъятия церковных ценностей «девицы» из монастыря оказывали бешеное сопротивление этому акту советской власти и вели энергичную контрреволюционную агитацию в массах. Кончилась война, мужики стали расширять площадь посевов и потянулись за монастырской землицей, да так и не дотянулись. Оказывается, монастыря-то уже нет, а есть «колхоз Могилевка». Сунулись было крестьяне в уездное земельное управление (УЗУ),—говорят там: «отчаливайте, мы организуем наместо монастыря «крупное социалистическое хозяйство». Вот и существует Могилевка. По существу, это — тот же монастырь. Живут в «колхозе» те же монашки, командует колхозом «мать игуменья», с попом. По-

прежнему монашки собирают по окрестным селам натурой, записывают на «вечный помин», совершают у крестьян молебны и т. д. А между тем, УЗУ продолжает оказывать огромное внимание колхозу: Госсельбапк отпустил им 2.000 руб. на трактор; колхозу оказывают агрономическую и организационную помощь, снижают сельхозналог и даже отдали им мельницу, которую до того арендовал волкрестком.

Вот товарищество по коневодству «Ново-Израильская община». Товарищество образовалось два года тому назад. Его основное ядро—группа сектантов, возвратившаяся из Уругвая (Южная Америка) и привезшая сюда изрядно инвентаря и солидный капитал. Для этой общины, по специальному договору с Наркомземом, была выделена в Сальских степях площадь в несколько десятков тысяч десятин земли, пригодной для коневодства. Как только уругвайская группа прибыла, повонзраильтяне разослали по всему СССР делегатов, чтобы навербовать в общину дополнительно сектантов, так как сами «уругвайцы» своими силами не могли поднять всю работу: не хватало ни средств, ни людей. Таким образом, в товариществе образовалось 8 землячеств-групп (Воронежская, Харьковская и т. д.). По капиталам, вложенным в дело, уругвайская группа превосходит все остальные группы, хотя численно она вдвое меньше последних. Впрочем, это материальное первенство на первый взгляд как будто не играет роли: все перед богом равны,—говорят члены общины.

Но на деле «братство братством, а табачок врозь». Внесшим полный пай (510 руб.) выдается мука, сахар, чай и прочие продукты. Не внесшим—только мука. А последних в общине—большинство. А так как из певпесших значительная часть отдала свои скудные сбережения на пополнение своего пая, то они сидят впроголодь, питаются одной мукой.

* * *

Обозревая состояние церковного движения, мы, конечно, меньше всего имеем данных говорить о сколько-нибудь значительном подъеме религиозной волны. Церковь лишь сумела удержать

некоторые свои позиции. Но в условиях пролетарской диктатуры и советского культурного строительства это тоже успех.

Успех этот можно в основном приписать тому оживлению капиталистических классовых сил и социально-враждебных пролетарской диктатуре, идейным оружием которых являются церковь. Однако именно эта историческая обстановка должна была бы нас вынудить к решительной и настойчивой борьбе с клерикализмом. Между тем, на безбожном фронте мы безбожно слабы и пассивны в сравнении с тем, что представляет собою наш враг и что он выдвигает против нас.

То, что мы создали организацию «безбожников», конечно, дело очень полезное и похвальное. Но беда в том, что это общество, во-первых, в значительной мере пользуется нашей лишь формальной поддержкой. Оно включает далеко не всех тех, кто является атеистом, в то время как церковь старается взять в свои организационные рамки все религиозное. В результате в организациях безбожников имеется всего 123.000 членов, в то время как у церковников один актив достигает двух миллионов людей. На Украине против значительного религиозного движения имеются только 27.000 безбожников. Или Иваново-Вознесенск: на 660 религиозных общин с 2.000 актива имеется... 13 кружков безбожников с 200 членов.

Слабая сторона организации безбожников сказывается и в другом. Создав специальную, «надлежащую» организацию по борьбе с попами, мы, все остальные атеисты, как бы считаем, что можем оставаться спокойными и бездействующими. Существование специальной организации пока что как-то усыпляет внимание широкой пролетарской общественности. Это, конечно, ни в коей мере не значит, что надо упразднить организацию безбожников. Задача состоит в том, чтобы активизировать эту организацию, влить в нее новые партийные силы и не только партийные, но и беспартийные!

Наш, быть может, крупный недостаток в антирелигиозной работе, что мы еще в недостаточной мере используем

беспартийных рабочих, особенно из тех, которые при помощи нашей пропаганды или вследствие личного разочарования порвали с религией. Это прекрасный по своим антирелигиозным качествам «боевой материал».

К церковникам часто идет хороший пролетарский материал, но малокультурный, битый с толку, не охватывающий нашим влиянием, не нашедший приложения своих сил в нашей общественности. Мы за эти силы должны ожесточенно биться, чтобы сделать из них наиболее активных безбожников. Эти люди ожесточены разочарованием, озлоблены против обманщиков, знают врага, его приемы и часто умеют разговаривать с массами получше наших официальных антирелигиозных докладчиков. Надо только этих людей подковать необходимыми знаниями.

К скудости и пассивности людских сил, которые мы бросали против попов, следовало бы добавить и крайне ничтожное, позорно ничтожное количество литературы, бросаемое нами на антирелигиозный фронт. Наша атеистическая литература не всегда высокого качества. Тут следует подчеркнуть, что поповщине, лишенной государственной поддержки, формально блокируемой, удается в пролетарском государстве, в руках которого огромные технические возможности, удается, используя типографии и бумагу наших государственных фабрик, печатать литературу в количестве или превосходящем (Украина) или же способном солидно конкурировать с антирелигиозными изданиями.

Фактически ведем мы антирелигиозную работу более или менее широко только два раза в году: на рождество и на пасху, в порядке неожиданно свалившейся кампании. А церковь ведет свою работу целый год. Естественно, что эта «ударность» отражается и на характере даже нашей праздничной антирелигиозной деятельности. Подготовка наспех, нет необходимых лекторских сил, которые могли бы коротко, но красочно, завлекательно, зная и понимая свое дело, рассказать массам, что такое религия, почему не надо верить в бога и почему надо бороться

против этой веры и обслуживающих ее организаций.

В школе мы антирелигиозной пропаганды почти не ведем. Конечно, воспитание подрастающего поколения в духе материализма является также и антирелигиозной работой. Но дело в том, что это воспитание (временами тоже достаточно слабое) сталкивается с активным религиозным воздействием семьи. Напористая семья в таком случае часто коверкает и калечит детей и молодежь, с мыкает порой влияние школы, а мы этому противопоставляем... пассивное отношение к религии. В школе у нас воспитание не антирелигиозное, а безрелигиозное. Школа обходит вопросы религии, между тем, как она должна была бы стать центром организации боевого наступления молодежи против затхлой религиозной семьи. На этом участке у нас неблагополучно.

Особенное значение в борьбе с религиозными настроениями в среде рабочего класса приобретает культурно-просветительная деятельность профсоюзов. Но и здесь работа вялая, не отличается повседневностью и энергичностью, а скорее всего и вовсе не проводится. На совещании при лекционном бюро ВЦСПС накануне пасхи один из товарищей, объезжавший в течение месяца Иваново-Вознесенские рабочие районы, рассказывал, что на Шуйско-Новинской фабрике, в 22 верстах от Шуи, в течение шести лет не было ни одного антирелигиозного выступления. В других рабочих клубах Иваново-Вознесенской губернии оказалось, что ни в одном из них в течение истекших шести месяцев не было ни одного антирелигиозного доклада. Как правило, очень редко найдешь хотя бы один кружок безбожников на предприятии, а там, где они имеются, эти кружки поражают своей бездеятельностью. И это — в Иваново-Вознесенской губернии, где на одних попов и церкви уходит в год до трех миллионов рублей.

Такие сведения о бездеятельности профсоюзов в области антирелигиозной пропаганды прибывают из многих мест. Еще хуже, когда это недопустимо прохладное отношение к атеистической культурной работе начинает «обосновываться»

соображениями «принципиального» характера. А их — этих профсоюзных чудаков, «принципиально-либеральствующих» в отношении к религии, — развелось, повидимому, довольно много. Владимирские профсоюзники (те самые, что прозевали постройку церкви на фабрике «Коммунистический Авангард») заявляют: «Профсоюзам заниматься антирелигиозной пропагандой политически неудобно». Сбоку подсади владимирские теоретики, подводящие под сей тезис принципиальную базу: «Если отпускать профсоюзам деньги на антирелигиозную пропаганду, то надо отпускать и на религиозную пропаганду, ибо профсоюзы объединяют рабочих верующих и атеистов». Вы видите: мы находимся под риском очутиться в положении, когда сии «принципиальные» и ужасно либеральные профдурки сумеют потребовать у профсоюзов «во имя справедливости» субсидии для попов и — чего хорошего — зачислят их еще в штат профаппарата.

* * *

Из всех приведенных здесь фактов видно, что наша общественность недооценивает активности и серьезности классового врага, которого мы имеем перед собой в лице клерикализма, перевооружающегося применительно к советским условиям и цепко хватающего все то, что поддается его влиянию. Мы не учитываем, что этот враг ведет энергичное наступление (и порой не без успеха) за завоевание рабочих и трудовых крестьянских масс, что он покушается и на нашу молодежь и на наших детей.

Мы не усвоили себе достаточно ясно, что клерикализм является одной из важных составных частей классово-враждебной нам системы отживающих и временно оживающих капиталистических сил в нашей стране. Бить по кулаку, бить по нэпману, по частнику — это значит бить одновременно и по их агитпропу, по их центру организационного и политического влияния на массы — по церкви всех разновидностей.

Мы не можем бить здесь административным путем, — церковь у нас легальна, — надо бить агитацией, пропаган-

дой, организованной общественной блокадой.

У нас есть «общество безбожников». Это — хорошо. Но его надо сделать боевым авангардом наступающей против поповщины советской общественности. Надо туда дать людей, материальные средства, а, главное, поддержать общество сочувствием и активной поддержкой партии и профсоюзов.

Надо перестать добродушничать, перестать держаться позиции либеральной терпимости в вопросах религии, от-

бросить в сторону «нейтральное» отношение к клерикализму, — отношение, от которого несет гораздо больше социал-масонством, чем боевой большевистской нетерпимостью.

Надо сплоченными рядами двинуться в агитационно-пропагандистский поход против поповщины, против всех ее разновидностей и проявлений, чтобы вырвать из ее лап заблудших рабочих и крестьян, чтобы у этой напманско-кулацкой агентуры выдрать ее клыки и когти.

ГИНЧВИШСКИЙ ЛЕС

Г. Гаузнер

Я ехал из Сухума в направлении Клухорского перевала. Целью моего путешествия была Верхняя Сванетия,—остров на материке, страна, отделенная от мира пропастями, птицами и горами. Утром 25 июля я остановил коня на главной и единственной улице горного селения Цибельда, улице, составленной из одних только духанов за красными занавесками. Присев за стол из дуба, я отдыхал от седла и наблюдал, поставив на стол стакан вина, мексиканские нравы горных кавказских селений. Подняв коня на дыбы, лопоухий мингрелец выпятил тугое его голое брюхо, хвастаясь в буре пыли перед зеваками. Толстый сванет, сидя на табурете и зевая, мирно и флегматически обстреливал повешенный над духаном печатный плакат «Кредит портит отношения». Он бил в белые кружки букв «р», «о» и «я». На выстрелы прискакал председатель сельсовета, вытаскивая на скаку из чехла ружье; поглядев с седла на целившегося и зевавшего сванета, он повернул назад. Веселая компания за противоположным столом дружно выпила за мое здоровье, подняв вверх семь блещущих стаканов. Я улыбулся и приподнял свой стакан с волнующимся в нем вином. Красноязыкий духанщик подал мне на лопнувшей гарелке огненное харчо,—варево из курятины, приправленное пылающим перцем. Громяхая по камням, вкатила линейка из Сухума. Уса-

тый линейчик, прижав левой рукой к расплющившимся губам медный рожок, в который он неукротимо трубил, правой рукой напряг кожаные вожжи, как три струны, готовые загудеть в тон рожку. За его синей спиной дрожало от бега здание абхазской линейки, блестя зеркальной колоннадой медных столбиков с прибитым к ним полосатым тиковым пологом.

Это — восточный Дальний Запад Советской Америки, далекий от энергической жизни столиц, от спортивных парадов на квадратах стадионов, спартанской суровости наших газет, от цифр и знамен Республики. Это дикый Восток, и ленивые жители его губят свою молодость, тратят свою зрелость и коротают свою старость за одним и тем же однообразным развлечением — игрой в нарды.

Позавтракав, я расплатился и выехал из Цибельды. Необозримый горный пейзаж развертывался, обрушивался и круглился всюду. Удивительная природа горной страны: карликовые купы тонких деревьев на дне глубоких долин, пышные горы, внизу — девственные пастбища, облоковье — змеевидные лианы, сетями оплетающие деревья, вдали — клокочущие и летящие, как из брандспойта, реки, переполненные зеленой водой. Планетарно громадная гора, как обломок луны, воздвигала слева от меня свое пирамидальное тело.

Через час я вступил на Клухорскую тропу. Вечером я был в Латах. Здесь я переночевал. Днем 22-го я в'ехал на территорию Абхазской Сванетии, страны зобатых скотоводов. 27-го я проехал Чхалты и Ажара, среди каменистого ландшафта, отчетливого, резкого и звонкого, как в стеклянном стакане. До Гинчвиша, последнего селения перед снегами Клухорского перевала, оставалось верст двадцать. К вечеру я встретил двух верховых сванетов, косматых и безруких, в бурках, волочащихся, как плащи, по крупам коней. Я спросил, где тут можно переночевать. Сванеты поглядели друг на друга.

— В пауха Исмаил Гвачлиани, две верста вперед, на гора, — помедлив, сказал один из них, такой высокий, что стремяна его, казалось, волочились по земле: Другой, с головой, наискось повязанной полосатым платком, смотрел на меня страшно внимательно. Он нагнулся с седла и рассматривал мои пятки и мои штаны, он наклонял голову и заглядывал в зубы моему коню, хотя я его ему и не дарил. Вдруг быстрым движением он похлопал меня по карманам и сейчас же, весело оскалившись, похлопал меня по плечу. Улыбаясь и хлопая меня по коленке, он старался показать, что это была шутка. Конь его рванул, и я увидел, что левый сапог его забрызган кровью.

— Шюдебиц! — крикнул он и помчался. — Не забывай: два верста вперед, на гора!

Сванеты скрылись, размахивая нагайками, за поворотом скалистой дороги.

Я поглядел им вслед и погнался коня, состязаясь с падавшим солнцем, которому оставался всего аршин пути до волнистой линии гор. И все-таки я прискакал первым. Я поднялся, ведя коня в поводу сквозь стаи кустарников к вершине холма. На темя холма была нахлобучена бревенчатая пауха—первобытный дом абхазских сванов. Тут я привязал коня к дереву и постучал в дверь. Мне никто не ответил. Я постучал громче, в паухе шаркнули шаги, и вдруг я услышал

скверный звук щелкнувшего затвора винтовки.

— Отоприте, — сказал я, недоумевая. — Путешественник просит гостеприимства, — сказал я по-сванетски.

В ответ щелкнула вторая винтовка и вслед за ней третья. Молчание продолжалось. Мне очень хотелось спать. Я поднял острый камень и застучал им в дверь, бормоча:

— Пустите меня переночевать! Пустите меня переночевать! Пустите! Меня! Переночевать!

Я удивлялся сквозь сон трусости хозяина и барабанил в дверь, и долбил и дырявил ее камнем, понимая, что меня принимают за кого-то другого. Наконец, в дверь застучали изнутри кулаком, как стучат в гневные люди кулаком об стол, и страстный голос за дверью прокричал:

— Ты будешь ночевать в сырой могила, Джоджия! Ты хочешь говорить русский, келепен халх мичигар, я тоже эзер говорить русский!

— Я — русский, хозяин, — ответил я по-сванетски.

В паухе томительно посовещались. Вероятно, мое сванетское произношение, с его неумелым клохтаньем, убедило Гвачлиани. Щеколда упала, дверь медленно приотворилась. Она распахнулась, и я увидел первую сцену трагедии. Заколыхавшееся медное пламя лучины, воткнутой в земляной пол у порога, осветило снизу, в упор, старика, прицелившегося в меня из винтовки. Тень от его носа треугольно падала на лоб. Рослая девушка, в конической войлочной шляпе, неподвижно стояла позади него, целясь в меня, как и старик Мальчик, лежавший на полу, вытаращил на меня глаза, оперев винтовку на сиденье дубового стула. Все трое передергивались и менялись в бурном свете прыгавшего от ветра пламени лучины, то разрубавшего ножом света и тени старика надвое, то отделявшего светящееся дуло винтовки от ложа, то заставлявшего тени стоявших садиться, перегибая их между стеной и полом. Я отступил, пробормотав: я — русский! — потом улыбнулся и шагнул через порог. Сейчас же старик, опустив

ружье, захлопнул дверь и вложил щеколду. Прислонив ружье к стене, он кланяющимся движением руки указал мне на стул, говоря:

— Ческу!

Ческу по-сванетски значит «садитесь». По обычаю, хозяин прежде всего должен предложить гостю сесть. Гость должен отказаться. Я остался стоять и указал на стул старику. Мы толкали друг друга к стулу, соблюдая смешные приличия этой нищей паухи, пока старик не повторил:

— Ческу!

Я присел на край стула, вертя шляпу в руках. Старик сел на дубовую скамью, девушка села рядом с ним, положив ружье на пол и поставив на него ногу в рваном башмаке. Они сидели прямо, как деревянные куклы. В них была та искренняя величественность, которая свойственна только прирожденной нищете. Мальчик теперь лежал у ножек моего стула, зарывшись в какие-то лохмотья.

— Ты из Москвы? — спросил старик, помолчавши.

— Я из Москвы, — ответил я, вертя в руках шляпу.

Мы опять помолчали. Украдкой я то и дело взглядывал на девушку. Ее дикие косы, из-под высокой конической шляпы брошенные на плечи, мужественно переплетались прядями. Очертания ее лица были строги и девственны. В коричневых глазах ее светилась и мелькала глупость... Одну руку она прекрасным движением опустила на могучее колено, другой царственно ковыряла в носу.

Вдруг я вспомнил о своей нерасседланной лошади и шагнул к двери. Старик вскочил и загородил мне дверь.

— Зачем идешь? — сказал он, опираясь на ружье.

— Расседлать коня, — ответил я, сбернулся и увидел, что девушка, подняв свое ружье с полу, положила его на колени. Она смотрела на меня, разинув рот.

— Ходить нельзя, — сказал старик, прислонившись спиной к двери и отталкивая мои ступни ложем винтовки. — Оставь ходить, лошадь пропал.

— Глупости! — сказал я, смеясь. — Лошадь пропала! Что ты врешь, ста-

рик! — Я снова, смеясь, попытался отпихнуть старика.

— Сут! — крикнула девушка за моей спиной.

Обернувшись, я увидел, что она целится в меня.

— Зачем ходить? — повторил старик равнодушно. — Лошадь пропал. Его берет Джоджия. Я буду тебе рассказывать. Садись.

Я сел на дубовый стул и выслушал удивительную историю старика. Вот она.

Двадцать лет назад тысяча сванетов спустились с ледников и облаков своей небесной родины на плодородные абхазские горы. Здесь они, люди каменных замков, срубили себе бревенчатые паухи. Так была основана Абхазская Сванетия. Двое из первых поселенцев, главы огромных семейств, Гвачлиани и Джинджия, поспорили из-за места. Гвачлиани зарезал Джинджия и бежал на родину. Тогда брат Джинджия зарезал сына Гвачлиани. Второй сын Гвачлиани застрелил дядю Джинджия. Второй брат Джинджия столкнул в пропасть племянника Гвачлиани. Третий сын Гвачлиани убил его из-за угла и был сам убит зятем Джинджия. Четвертый сын убил пятерых Джинджия и был застрелен в спину. Его вдова отравила убийцу, ее уличили и отдали под суд. Трое Джинджия подстерегли в засаде пятерых Гвачлиани и выбили из седел четверых из них. За это пятый сжег их в собственной паухе. Дважды Джинджия и Гвачлиани сходились в лесу на открытый бой. В первый раз было убито четверо и ранено шестеро, во второй раз убито пятеро и ранено двое. Четырежды Джинджия делали ночные нападения на Гвачлиани и уезжали, отмеченные кровью. Четырежды Гвачлиани отвечали тем же. После всего этого Григорий Джинджия зарезал Миху Гвачлиани, Исмаил Гвачлиани застрелил Эдина Джинджия, Зурб Гвачлиани был убит Джоджией Джинджия. В живых остались из Гвачлиани только Исмаил и его дети, а из Джинджия — Джоджия и его брат Коста. Последние убийства были при советской власти. Борьба с обычаем кровной мести велась повсю-

ду. Исмаила простили, отобрав оружие. Джоджия и Коста бежали и были объявлены вне закона. Теперь они снова появились в округе. Услышав про это, Исмаил купил три винтовки и заперся в паухе. Он не отпирал дверь три дня. Сегодня мальчик пошел за водой и ему из-за куста прострелили руку.

Вот история, которую мне рассказал старый убийца Гвачлиани, и я не пожалел его. Он рассказывал на своей трагической смеси сванетского и русского, дочь его слушала и громко смеялась непонятному языку. Мальчик охал под своими лохмотьями. Я взглянул на часы: они показывали одиннадцать. Конь за дверью не ржал, не щелкали обрываемые им с деревьев листья, вероятно, его уже увели. Для этого и направили меня к Гвачлиани храбрые разбойники, побоявшиеся ограбить меня на дороге. Я решил возвратиться утром в Ажара, взять милиционеров и арестовать Джинджия. Пока что нужно было выспаться. Я бросил на пол свою бурку, старик дал мне под голову седло, и я лег рядом с мальчиком. Он поднял голову, чтобы взглянуть на меня. Я увидел, что он зобат. Крохотная голова с выкатившимися глазами сидела на треугольной распухшей шее, толстой, как брюхо. Девушка порылась в углу и принесла мне ужин: ломоть желтой, сухой мамалыги и стакан мерзкой арака—мутного самогона из бузины. Я с'ел мамалыгу, закутался в бурку и заснул.

Я проснулся, наткнувшись щекой на шляпку гвоздя в седле. Проведя ладонью по лицу, я нащупал пушистые края длинной царпины. Сон покинул меня, я приподнялся на локте. Старик все еще сидел на скамье, опершись на винтовку и вода губами по краю дула. У него был вид человека, на которого никто не смотрит. То он кусал дуло, то плевал себе на ладонь, то высывал язык и косил глаза на его острый кончик, таща бороду вверх. Так он развлекался этими прирожденными человеку простейшими развлечениями. Девушка спала на полу у его ног, хляп и спрятав лицо в локоть. По ее голым ногам девиственницы ползали муравьи. Дым лучины тремя ветвями

вырастал в отверстие крыши, как туманное растение, пробившее потолок. Эти люди слишком лениво готовились к смерти. Скучный фатализм их злил меня. Я молод, и мне не противно убийство. То, что я не успел принять участия в гражданской войне, всегда меня томило. Я обойден, революцию сделали без меня. Старшие сделали свое дело, а мне предложили работать, слушаться и ждать социализма.

Капли первобытного дождя упали на мое лицо. Я сел и ударил старика по плечу.

— Скажи Москва,— произнес он сейчас же, оглянувшись на меня без удивления, тоном продолжающего разговор.— Скажи, пожалуйста, Москва, что Джинджия убил Гвачлиани.

— Оставь, старик,— сказал я бодро.— Оставь, кто тебя тронет?

— Тебя тоже убил,— пробормотал он совершенно равнодушно. Он засыпал и тыкался лбом в дуло винтовки.— Тебя тоже убил, человек Москва.

Я зло вскочил.— Слушай, старик! У тебя, верно, есть конь? Я с'езжу в Ажара за милицией.

— Тебя убить на дорога,— Гвачлиани все-таки разлепил глаза.

— Давай коня,— сказал я решительно.— И винтовку дай.

— Ажара ехать худо. Десять верст вперед Гинчвиш. Там фершал есть, большой голова. Он два коня есть, два винтовка есть. Его пауха Миха есть. Миха большой голова. Гони фершал сюда, Миха сюда, Джинджия стрелять будем. Ехать будешь— первый дом фершал дом.

Мне все равно было, куда ехать. Я предпочитал риск уверенности, что меня сожгут в паухе. Исмаил отворил бревенчатую дверь в стене, вошел в темное помещение и вывел оттуда в пауху коня. Конь щелкнул хвостом по стене и чуть не раздавил копытом стакан, валявшийся на полу. Я разбудил девушку и мальчика. В паухе уже стало светло, лучина погасла. Конь стоял смирно, пока Исмаил седлал его: это было действительно домашнее животное. Заседлав коня, Исмаил дал мне свою винтовку.

— А ты как будешь?— спросил я больше из вежливости.

Гвачлиани повернулся ко мне спиной и стал рыться в тряпье, кучами лежавшем в углу. Из-под первой кучи он вытащил две бутылки арака и мешок кукурузной муки. Из-под второй кучи он выволок мешок пороху и мешок патронов. Из-под третьей кучи, раскидав тряпки, он выгреб деревянный ящик, обернутый зеленым бешметом. Я пробрался между огромной в этой каморке лошадей, отведя ладонью ее морду, и стеной паухи, чтобы взглянуть на то, что я считал новым ружьем. Исмаил, кряхтя, снял крышку. В ящике лежал похожий своим изгибом на губу — лук из ясеня, отполированный до того, что сквозь него, казалось, можно было смотреть, с тетивой — я удивленно потрогал ее — твердой, как палка.

Исмаил вложил стрелу и стал оттягивать тетиву лука. Я отступил, прислонился к лошади, она переступила, я чуть не упал. Исмаил вынул из ящика пук стрел. Мальчик, завтракавший в углу водой и мамалыгой, потянулся за стрелой и стал чертить ею по земляному полу. Девушка хозяйственно отняла у него стрелу и отдала отцу.

— Лиамечу, — сказал Гвачлиани, показывая мне на лук. — Джинджия стрелять буду, — сказал он свирепо, пробуя щекой наконечник двуперой стрелы.

— Ехай, — сказал Гвачлиани и сделал знак детям. Те подняли свои винтовки. Девушка проверила у мальчика затвор, сунула ему обратно винтовку, они прицелились в дверь. Я сжал ружье, — оно стало в моей руке влажным. За дверью могли ждать дула ружей Джинджия.

— Сут, — сказал Гвачлиани, подводя коня к двери. Я сжал зубы. Мальчик щелкнул затвором.

— Тише, — сказал я, полуобернувшись к нему. — Тише, — сказал я и, обернувшись, уронил скамью. Она дубово загремела. — Тише, — заорал я в отчаянии.

Гвачлиани решительно отодвинул щеколду, распахнул дверь и схватился за лук. Я дернул коня за недоуздок и выбежал на простор. Дверь захлопнулась. Джинджия не было. Я прыгнул

коленами в седло, гикнул и уже на скаку стал доставать стремяна.

Туманный лес расступился перед конем, прыгавшим вперед под плетью и шпорами. Конь перепрыгивал пни. Винтовка била меня по спине. Копыта разбивали плотный песок.

Погони сзади не было слышно. Чтобы прислушаться, я сменил галоп на рысь. Спина лошади дышала подо мной. Стука копыт не было слышно вдали. До сих пор я видел только бешеную гриву и холку коня, да еще скачущие куски леса перед конской мордой. Теперь я оглянулся. Туман поднимался всюду, он был жив, он рос из земли. Я поверил, что у него деревянные корни. Голубые деревья тумана двигали ветвями, и их оплетали прозрачные лианы тумана. Хлопья тумана летали вверх, как бесформенные птицы. Молочный воздух был видим для глаз. Я медленно ехал по этому заколдованному лесу, боясь, что от скачки рассеюсь по воздуху. Вдруг луч солнца упал на одно из деревьев впереди. Невидимый днем, он сейчас сверкнул оглушительно, электрический, как молния. Еще три луча пробили туман. Молчаливая утренняя гроза разразилась над лесом. Солнечные молнии вонзались в деревья. Подул ветер. Туман улетел вверх. Естественные деревья, толстые, как башни, встали во весь рост в ясной глыбе прозрачного воздуха. Дыхание природы ворошило их яркие вершины. Пузырьки кислорода шипели по краям их глянцевиных листьев. Их кора была выпукла и изрублена трещинами. Со сны выбрасывали длинные ветви, по ним была разбросана хвоя, светящиеся пучки синего солнца. Ощутимый мир деревьев из дышащей древесины и крепких листьев из зеленого хлорофилла ударил меня по глазам. Я опустил поводья, дал шпоры, дал хлыста, дал галоп.

Скоро я выехал из лесу на плоскогорье. Вдали был виден дом. Это был Гинчвиш, это был дом фельдшера. Я проскакал плоскогорье и осадил коня перед домом. Над дверью была прибита вывеска — «Медицинский пункт» и пониже другая — «Миха учить детей».

В огороде женщина полола траву. Я окликнул ее.

— Никак русский? — закричала она, уронив стебли. — Да как же тебя занесло сюда, родимый?

Я наскоро рассказал ей все и спросил фельдшера.

— А фельдшер поехал бандитов ловить, — сказала она просто, разглядывая меня из-под ладони.

Я не удивился. Я привык к фельдшерам, охотящимся за бандитами, к неграмотным учителям с наганом на поясе, ко всем этим полудиким пионерам цивилизации.

— Намедни бандиты у Зуребьяни быка угнали, — сказала баба.

— Те самые, наверно, и есть. Фельдшер да Миха-учитель ловить их поехали. Я фельдшера жена, родимый.

Баба улыбнулась лошади, протянувшей к ней шею, шлепнула ее по вислым губам, сунула ей пук травы. Мне приходилось ждать. Я спрыгнул и помог бабе полоть. Мы работали дружно и дышали по-очереди. Скоро застучали копыта. Два всадника остановились у плетня.

— Фельдшер вернулся, — сказала баба, выбегая навстречу.

— Тут приезжий ждет, — закричала она на бегу. Ухватившись за стремя фельдшера и подманивая меня рукой, она стала шумно рассказывать мою историю.

Фельдшер обернул ко мне румяные щеки.

— Петров, — сказал он, хитро улынувшись и сняв шапку. — Рад познакомиться.

Я назвал себя.

— Очень рад. Так не станем задерживаться, может быть, на Гвачлиани уже напали. Едем.

— Едем, — сказал фельдшер, тронув поводья. — А ты, Миха, ехай в Латы окольной тропой, вызывай милицию. Мы, в случае чего, вдвоем на двое справимся.

Миха очень медленно повернул к нам брезгливое и презрительное лицо старого сванета, медлительно пожевал губами, вдруг взмахнул плетью и сразу ускакал.

Мы поскакали вслед мимо роши, где березовая поросль била вверх зелеными

фонтанами листьев. Гинчвишский лес вытянул над нами ветви. Фельдшер то ехал рядом со мной — и тогда я видел его толстые щеки, курносый профиль, то заезжал вперед — и я видел лукавый затылок с белой щетиной на розовой коже, то поворачивался ко мне — и мне открывалось его хитрое лицо ловкача и весельчака.

— Скорей, а то на свадьбу опоздаем, — кричал он, нахлестывая.

Мы разговаривали на скаку. То я кончал фразу, обращаясь к его спине, то он отвечал крупу моей лошади. Он расспрашивал меня о Москве и о том, что занесло меня сюда, на край света. Я отвечал, как мог. На свадьбу мы опоздали. Верстах в двух от паухи Гвачлиани мы услышали выстрелы. Мы переглянулись, привстали в стременах и вlepили плети под брюхо коням. Кони прыгнули вперед через пни и кусты.

Выстрелы стучали ближе с каждым прыжком. В просвете мы увидели горящую пауху Гвачлиани. Перед паухой, за бревном лежали Гвачлиани и его дочь. Пониже, за своими конями, оперев на седла винтовки, лежали Джинджия.

Мы выпалили в воздух.

— Стой! — закричал фельдшер. — Келепен Джинджия!

Один из Джинджия испуганно оглянулся, и в это время девушка, выставив длинную винтовку, выстрелила. Оглянувшийся упал, волосами к нам. Его брат выстрелил, и девушка, закричав от боли, уронила ружье. Тогда старик Гвачлиани, встав из-за бревна, медленно и сильно натянул лук. По его лицу ползла кровь. Мы, спешившись, взбирались на холм сквозь стаи кустарников. Джинджия торопливо выстрелил и промахнулся. Стрела проколола его горло. Гвачлиани закричал, побежал к убитым, остановился, схватился за голову и упал.

Фельдшер вскарабкался первым. Он остановился около Джинджия и с ученым видом потолкал их ногами.

— Константирую смерть. Поражены в череп и горло, — сказал он и пошел дальше. Исмаила Гвачлиани он приподнял за плечо и констатировал смерть — поражение в височную

кость. У Нины Гвачлиани он разорвал кофту и констатировал смерть—поражение в область сердца. Я шел за ним, пораженный в самое сердце, останавливаясь около каждого убитого, но угрюмо смотря на фельдшера в спину. Мальчика мы нашли на пороге паухи. Он крепко держал в мертвом кулачке синее дуло винтовки, а ложе ее и его ступни уже дымилась.

Фельдшер поднял коней Джинджия и привязал их к дереву, к которому уже был привязан мой украденный конь.

Мы вырыли могилу и похоронили в ней вместе Джинджия и Гвачлиани. Я воткнул пернатую стрелу в насыпь могилы. Фельдшер снял шапку, смял

ее в руках, переступил с ноги на ногу, подумал и сказал надгробное слово:

— Спите, дурни! — так сказал он и пошел отвязывать коней. Мы пожали друг другу руки, с'езжаясь и раз'езжаясь на пляшущих конях. Фельдшер поскакал в Латы, ведя за собой трех лошадей, потерявших хозяев. Я посмотрел ему вслед и поехал медленно вперед, в направлении Клухорского перевала, где меня ждала Верхняя Сванетия — таинственная страна, а потом Москва и служба по одиннадцатому разряду семнадцатирядной тарифной сетки.

1927 г.

Книжное обозрение

1. П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК. „Дикое поле“ И. Машбиц-Ворова.—2. А. ЗОРИЧ. „Рыво в четыре С. Пакентрейгера.—3. П. ЛЬВОН-МАРСИАНИН. „Победа“ И.к. Богослоснско'о—4. КОНСТ. ВАГИНОВ. „Козиня песнь“ И. Сергиевского.—5. ПЕТР ОРЕШИН. „Жизнь учиг“ Анны Шафир.—6. ПЕТР ОРДШИН. „Отроревенняя лира“ В. Шишова.—7. ПАВЕЛ ДРУЖИНИН. „Черный хлб“ в. Шишова.—8. В. КИРИЛЛОВ. „Вечерние ритмы“ Мих Рудермана.—9. Э. БАРРИНГТО. „Сердце поэта“ Я. Фрида.

П. Логинов-Лесняк. — «Дикое поле». Роман. Изд. «Моск. Рабочий». 1928. Стр. 190. Ц. 1 р. 50 к. Серия «Новинки Пролетарской Литературы».

Дикое поле—это символ. Он знаменует наше бескультурье, варварство, нищенство, разруху, дикость, безверье, идеологическое расхлябье, хулиганство. Короче — все, что идет против эпохи, против строительства и революции. Показать пути борьбы с этой дикостью, показать творческих, целеустремленных людей, строящих на «диких полях» наших радостную и мощную новую жизнь—такова была, очевидно, задача автора. К сожалению, Логинов-Лесняк с этой трудной задачей не справился.

В отношении человеческого материала логиновское «дикое поле» образуется из трех социальных прослоек: из наиболее отсталых, разложившихся за годы голода и безработицы, бывших рабочих (Егорка Савин, Васька Шиллов, Митька Шахов); из выдержанно-индивидуалистической и просто безпутной интеллигенции; наконец, —из «бывших людей». Лучшее всего Логинову удалась фигура учителя Серапиона и Жданова.

Однако не интеллигентные и буржуазные представители «дикого поля» образуют центр романа. Главное внимание автора посвящено разложившимся рабочим, их судьбе и психологии. Здесь и кроется основной идеологический провал Логинова.

Дело в том, что, рисуя бывших рабочих, сделавшихся профессиональ-

ными ворами, бандитами и хулиганами, автор все время неизменно их идеализирует. Ему, очевидно, представляется, что за этим хулиганством и бандитизмом скрывается великая неразгаданная сила, духовная мощь, не нашедшая путей. Вот почему на протяжении всего романа Егорка, Васька и Митька представлены как люди гордые, смелые, настойчивые, как «принципальные» бунтари.

Что Логинову всерьез чудится великая скрытая сила в бунтарстве,— об этом красноречиво свидетельствуют его «положительные» персонажи. В противовес «дикому полю» представлен коммунист Роман Симонов—организатор и директор восстановленного завода, настойчивый и верный работник. И вот оказывается, что этот Симонов в глубочайшем существе своем оказывается таким же точно бунтарем. Сухой и непривлекательный во время напряженной государственной «плановой» стройки, Симонов делается многосторонним, чутким и интересным человеком, лишь разочаровавшись в «плановости». Так круг замыкается. Затеяв борьбу с «диким полем», Логинов сам стал идеализировать один из элементов этой дикости (анархическое бунтарство), в котором ему почему-то чудится великая сила.

Надо еще сказать о формальной стороне романа. «Дикое поле»—и в общей своей композиции, и в частности—настойчивое подражание «Вору» Леонова. Здесь сам собой напрашивается ряд параллелей: писатель

Фирсов («Вор») и писатель Придрогин («Дикое Поле»), Митька Векшин и Митька Шахов, Доломанова и Завьялова («страшные красавицы»), Манюкин и Жданов, и т. д. Как и у Леонова, весь роман «Дикое поле» написан с ударением на языковую (лексико-синтаксическую) структуру, с подчеркиванием моментов борьбы за уязвленное самолюбие (по Достоевскому), и с тихим и грустным сочувствием к маленьким, задавленным людям.

И. Машбиц-Веров.

А. Зорич.—«Ровно в четыре». ГИЗ. Стр. 188. Цена 1 руб. 25 коп.

Зорич не только фельетонист, но и прекрасный рассказчик. Он умеет построить прозрачную сюжетную художественную миниатюру, обращенную к гражданским чувствам читателя. Он хорошо владеет умением найти характерную юмористическую деталь, направить лучи лирического света на бытовое уродство, чтобы в свете этих лучей обнажить драму.

Большинство его фельетонов поэтому перерастают в сжатые, концентрированные рассказы. Его занимает не голый факт, хотя бы самый неожиданный и из ряда вон выходящий. Его занимает человек, его работа, его жертвы, психические и физические издержки человеческой энергии, ценой которых покупается, а иногда и извращается, общественное дело.

Основная мысль, проникающая большинство его миниатюр, сводится к тому, что извращения и издержки эти у нас иногда очень велики. Расточительная трата человеческой энергии вызывается не только нашими культурными противоречиями, но и очень часто неумеренным административным фетишизмом, административной пылкостью и восторгом.

Учительница, вызванная в уоно за 25 верст для дачи «совершенно секретных сведений» о размерах школьного огорода («Не забывайте»), «пленарное обсуждение гвоздя», вызвавшее командировочные расходы, «на которые можно бы целый цех оборудовать двухтактными машинами Сименса» («О чем рассказал бухгалтер»), заточение в ДОПР бабки Деминой из Прохорова,

«нарушившей НКПС» («Буква закона»), хождение по мукам двух крестьян, не знавших как разделаться с волокитой по поводу украденных яиц («Суд») — все это достаточно убедительно иллюстрирует не только расточение общественных сил, но и общественных средств.

Обнажая атактистические черты, порой уродующие нашу общественную и государственную жизнь, Зорич умеет также находить согретые любовью и чутким вниманием слова и образы для изображения неприметных строителей, отдающих без остатка все свои пробужденные революцией силы расцвету и обогащению страны (рассказ «Черная оспа»).

Зорич умеет соизмерять свои силы и вкладывать в свои миниатюры максимум художественного напряжения. Речь его опрятна, медлительна, естественна, насыщена непринужденным юмором. Многим нашим писателям-сатирикам есть чему поучиться на миниатюрах Зорича.

С. Пакентрейгер.

П. Львов-Марсианин.—«Победа». Роман из эпохи революции. М.-Л. Госиздат. 1928. Стр. 228. Ц. 1 р. 50 к.

«Победа» Львова-Марсианина носит скромный подзаголовок: «Роман из эпохи революции», хотя, по сути дела, «эпох» в этом романе уйма: тут Февраль, Октябрь, гражданская война, нэл, эпоха социалистического строительства и пр. Львов-Марсианин с комичной расторопностью берется писать о чем угодно. В романе действуют «люди всех положений и состояний». Букет из великосветской знати (не менее десяти человек), интеллигенция (трудовая и саботирующая), социал-демократы всех оттенков, эмигранты-белогвардейцы, казаки, лавочники, монахи, спекулянты, обыватели, крестьяне, рабочие, красноармейцы, партийные работники — от низовых и до вождей включительно! Событиям и лицам несть конца! Но, не довольствуясь бесчисленной армией срочно мобилизованных для романа «персонажей», Львов-Марсианин привлекает к участию в нем и «широкие массы». В «Победе» никак не меньше дюжины митингов и

собраний, которые каждый раз старательно и подробно живописуются Марсианином.

«Народ лавою бурлили на площади»... «Лавою хлынул во двор»... «На трибуну ринулись, как лава, ораторы от советов»...

Ошеломленный читатель не успевает «пережить» одну революцию, как за нею следует другая, затем война, разруха, голод, далее вдруг неуловимый переход к нэпу, мигом начатая борьба с частником, электрификация, победы на всех фронтах!

Коротенькие главки романа изобилуют всевозможными «ужасами» (растрелы, заговоры) и пикантными ситуациями («роковая любовь» большевика к генеральше; княжна Лили и дочь фабриканта Лиза, «перешагнув классовую пропасть», бестрепетно идут в ряды комсомола и пр.). Чего только нет в этом романе!

Стиль Марсианина как нельзя лучше соответствует общему духу его произведения. Это какая-то чудовищная смесь наихудшего вида газетной речи с традициями бульварной литературы.

«Невыносимой сделалась мысль, что буржуазные партии оттеснили пролетариат за борт жизни, на отдаленные задворки событий». «Революционные волны поднимались все выше и нещадно хлестали временное правительство».

Это из плохой газеты. А вот и бульварщина.

«Целый ад ненависти бушевал в нем, и одновременно кипела бессильная ревность»... «На его лице, как зарево, полыхало злорадство».

Пока автор пользуется готовыми трафаретами из двух указанных источников, в романе еще царит относительное благополучие. Но, как только Марсианин пытается проявить свою самостоятельность, начинается нечто невообразимое:

«Он всю ночь мыкался по городу, напихал полную тюрьму буржуазией». «Борода игумена вместе с ее обладателем шархнула в чащу леса». «Топорщил вперед рыжую бороду за ступом, словно норовил ею ковырнуть спертую духоту». «Озабоченное лицо было окаймлено разбившимися волосами». «Щербатов выжал на лице

искусственную улыбку, чтобы заслонить от дочери страдание». «Вдумчивое лицо было небрито».

Но мы рискуем переписать добрую треть этого инопланетного романа, если будем продолжать наши цитаты.

Характерная мелочь: Львов-Марсианин записался до того, что один из героев—Гречанников—превратился у него потом в Гречишника...

Ник. Богословский.

Константин Вагинов. — «Козлиная песнь». Роман. Изд. «Прибой». Л. 1928. Стр. 197. Цена 2 р. Тир. 3.000 экз.

Основная тема вагиновского романа—тема умирающего Петербурга, Петербурга времен военного коммунизма—сама по себе не отличается ни особой оригинальностью, ни особой новизной. Своеобразная экзотика поросших травой мостовых и полуразрушенных зданий давно уже волновала наших беллетристов; пещерный быт последних обитателей имперской столицы давно привлекал их своей красочностью и необычностью: сколько замысловатых узоров можно вырисовать на таком благодатном фоне!

В разработке этой довольно-таки потрепанной темы Вагинов идет, однако, своим особым путем, с самого же начала переключая ее в некий философско-исторический план и, тем самым, превращая роман в своего рода поэтический трактат о гибели последнего поколения дореволюционной петербургской интеллигенции.

Такая трактатная установка сказывается уже в самой структуре романа. Отсюда, прежде всего, его чрезвычайная статичность, максимальная ослабленность его фабульного остова. Лежащая в основе романа повествовательная схема движется, в сущности говоря, не столько поступками и действиями его героев, сколько их высказываниями и размышлениями на тему о закате гуманизма, о падении культуры и т. д.

Их внешнее поведение интересует автора лишь постольку, поскольку оно как-то аккомпанирует их идеологической деградации, и поэтому входит в роман в виде отдельных, более или менее ярких мазков, не образующих сколько-нибудь законченной повествовательной нити.

Отсюда фрагментарность романа, не вполне изживаемая даже в финальной его части, когда описываемый идеологический кризис подходит уже к концу. Превращение одного героя—эстетического молодого человека—в зубного врача, другого—философа и принципиального девственника—в управдома и доброго мужа, третьего—тоже эстетического молодого человека—в служащего при аукционе,—все это—события, в фабульном отношении абсолютно обособленные. Некоторую сюжетную цельность приобретают они лишь при соответствующем философско-историческом осмыслении, как свидетельство об окончательном банкротстве последних гуманистов, носителей «высокой культуры».

Соответствующим же образом идеологизирован быт; иногда в духе иронически окрашенной символики (башня развалившейся купеческой дачи, как жилище одного из героев и как последний приют последних гуманистов среди обступившего их догматического моря); иногда более тонко—в духе заостренной социальной сатиры (коллекционирование одним из героев всяческой безвкусицы, как высший предел эстетической утонченности).

Как видно из сказанного, в большом литературном интересе вагиновскому роману отказать, во всяком случае, нельзя. И больше того: нельзя отказать и в большой литературной злободневности. Его подчеркнутая трактатность—не только лабораторный эксперимент высококвалифицированного мастера, но и определенный этап на пути к овладению трудным жанром идеологического романа, который давно уже стоит в порядке дня нашего литературного сегодня. До сих пор Вагинов был известен нам исключительно как поэт, при этом—как поэт, настроенный чрезвычайно пессимистично, для которого история литературы заканчивалась мандельштамовским акмеизмом. «Козлиная песнь» дает основания, как от прозаика, ждать от него гораздо большего.

И. Сергиевский.

Петр Орешин.—«Жизнь учит». Повесть. ГИЗ. 1928 г. Стр. 243. Цена 2 руб. Повесть Орешина «Жизнь учит»—

продолжение вышедшей года два тому назад автобиографической повести «Ничего не было». Читатель опять встречается с тем же героем, но из шустрого сорванца Владимир превращается в подростка, и с загородной улицы и простора волжских берегов переходит за прилавок мануфактурного магазина.

В первой повести тонкий лиризм хорошо сочетался с романтическим характером детских воспоминаний, и яркая образность Орешина-поэта сливалась с непосредственностью детского восприятия. Эти достоинства заставляли забывать о композиционной неслаженности повести.

По-другому приходится оценивать вторую книгу. Внутренний мир подростка-приказчика, каким его рисует автор, слишком несложен и неглубок, чтобы удержать внимание читателя; в обрисовке социальных явлений автор не поднялся над восприятием своего героя; бытовая фон, в сущности, тот же, что и в первой повести (жизнь приказчиков и купечества), оказался не настолько широким, чтобы он мог дать материал и для второй книги; это заставляет автора повторяться, а иногда вставлять самостоятельные, композиционно несвязанные с сюжетом отрывки («Цыганка» и др.). Он пускается часто в лирические отступления и вводит характеристики (купец Курамшин), неудачно подражая в них оголевской манере. Небрежность, с какой составлена из разных отрывков книга, называется как на композиции, так иногда и на языке.

Дидактический тон книги действует неприятно. Чему может научить она? Разве только тому, что не так просто, оказывается, менять «стихов пленительную сладость» на суровую прозу. Художественная проза предъявляет свои требования, и своенравное перо лирика не может с ними не считаться.

Анна Шафир.

Петр Орешин.—«Откровенная лира». Том четвертый. М. Изд. «Федерация». 1928. Стр. 148. Цена 1 р. 50 к.

П. Орешин в «Откровенной лире» сознательно замыкается в узком круге личных переживаний или наблюдений

природы, рассматриваемой притом в традиционно-эстетическом разрезе. Он даже защищает узость своей тематики, делая ее своего рода программой «крестьянской» поэзии:

А мы, лесные запевалы,
А мы, степные петухи,
Полям и лесу, как бывало,
Поем и песни и стихи.

Характер творчества Орешина не оправдывается, однако, своеобразием ему одному принадлежащей, однажды выработанной поэтики, преодолеть которую бывает не под силу часто даже большим дарованиям, и не искупается особенностями твердо сложившегося миропонимания. Напротив, Орешину приходится нередко брать для сюжетной организации своих произведений готовую литературную формулу у своих предшественников (чаще всего — символистов).

Бездеятельно созерцательному отношению к окружающему соответствует случайность и произвольность творчества, защищаемая поэтом:

Будем жить без трагедии,
Медленно, спроста,
Мне стихи и сказки
Падают с куста.

Наиболее часто пользуется П. Орешин приемом, который можно назвать приемом лирического пейзажа, в котором образы природы служат как бы обрамлением или даже внешним побуждением для личных сентенций. О новизне этих последних можно судить хотя бы по следующим стихам:

И кто нас разгадает?
Всему свой час и срок.
Не даром увядает
По осени цветок.

Те вещи, в которых поэту удается порвать с тем, что уже давно стало «заветным хламом витий», являются наиболее удачными и убедительными в сборнике («Челкашу», «Светлая земля», «Почтальон», «Красный флаг»). Наиболее слабое место в книге — стихи, посвященные Крыму, в которых «курортное» восприятие юга решительно заслоняет поэтическое. В «Откровенной лире» к стихам последних лет присоединены стихи 1915—1917 гг. и 1919—1920 гг. Наиболее удачные из них («Над избушкой красно, зелено», «Вспыхнуло

красное пламя», «Емельян-разбойник») дают возможность судить о том, как далеко уклонился поэт от своего первоначального пути, другие вызывают недоумение по поводу включения их в сборник своей неумелостью выполнения («Набат», «Месяц»).

В заключение следует отметить, что П. Орешин в «Откровенной лире», за немногими исключениями, не использует новейших достижений нашего стиха, предпочитая пользоваться наиболее обиходными размерами, строфикой и рифмами.

В. Шишов.

Павел Дружинин. — «Черный хлеб». Стихи. М. Изд. «Федерация». 1928 г. Стр. 104. Цена 1 р. 25 к.

Основной пафос стихов Дружинина заключается в изображении деревни, как самостоятельной, замкнутой в себя стихии, и в противопоставлении ее городу.

Деревня Дружинина вся в прошлом, и ее быту посвящено большинство стихотворений сборника. В ней по-прежнему девушки выдаются замуж за немилых, несмотря ни на какие слезы и уговоры (поэма «Бабья доля»); пестры и разгульно-шумны ярмарки («Ярмарка»). Новое входит в старый уклад в стихах Дружинина лишь внешне, декоративно.

Над тремя отделами книг и в особенности над первым — «Мужиковье» — тяготеет явное влияние Клюева и Есенина, у которого Дружинин заимствует как построение образа, так и лирическую настроенность. «Сыновнее» — вариант «Письма к матери» Есенина. В традициях соответствующих мест из «Руси Советской» изображена грусть поэта, вернувшегося на родину и чувствующего свою разобщенность с односельчанами:

Все бывшее бывшем поросло,
Зарастают последние были:
Не узнал я родное село,
Где меня берегли и любили.

Изобразительные средства Дружинина несложны и новы. Его образы частью (как и у его предшественников) астрального порядка (луна — петушиный гребень, звездный горох), частью определены литературной привычкой (жизнь — тройка). Вся изощренность

Нам не нужен такой убогий Байрон, каким показала его Э. Баррингтон. «Великосветский мерзавец» — тип довольно распространенный; скептиков в этом может убедить хотя бы кино. Но не каждый талантливый сумасброд и умный развратник в состоянии подняться до синтеза и пафоса «Каина». Книга Баррингтон не дает возможности понять, почувствовать, что герой этой книги — второразрядный Дориан Грей, фатоватый, трусливый дон-Жуан — был гениальным поэтом; читая, не веришь, что он был формовщиком настроений целого поколения.

Следует отметить, что, «перемыывая косточки Байрона», Э. Баррингтон стремилась к пересмотру общественной традиционной репутации Байрона (гордый поэт, затравленный лицемерной аристократической толпой). Фактический материал, привлеченный писательницей, ценен. Но нужно было рассматривать его в плоскости социальных отношений, а Баррингтон, напротив, все притягивает к этому мате-

риалу, переключает в плоскость личных, семейных отношений и творчество поэта и его судьбу (писательница не заметила даже социального смысла политической деятельности Байрона, и в этой области он только жуир).

Жалкий конец Байрона, его раскаяние, предсмертные призывы к домашнему очагу — какой поучительный эпизод дамского «семейного романа»!

Предисловие к книге поднимается над обычным уровнем предисловий к переводным романам. Перевод не может похвастать тем же: «В его беспокойном мозгу шевелилась мысль», «мать бесчестила бежавшую в ее жилах кровь», «он надеялся, что в минуты своей моральной слабости она подержит его», «Вильям знал определенно...», «это факт» — корявые обороты различных видов...

На титульном листе не указано, с какого языка книга переведена. Заголовок, помещенный на обороте титула, написан по-французски.

Я. Фрид.